1973

4

Молодая гвардия

СССР

НЕ
ТОЙ

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал ЦК ВЛКСМ

Молодая гвардия

1973
4

Основан в 1922 году

В НОМЕРЕ:

Анатолий ПОПЕРЕЧНЫЙ. **Лодка, уходящая в Разлив.** Стихи 3

Владимир ФИРСОВ. **Версты России. Земные звезды. Старики. «Река Ока впадает в Волгу...». «Во поле выйдешь...». После грозы. «Ты, осуждая, говоришь порой...». «Мы гадать на ромашках не будем...». На вечерней заре. «В селе Богородском...». «Смоленщина!..».** Стихи 6

Вадим КОЖЕВНИКОВ. **В полдень на солнечной стороне.** Роман (окончание) 18

Виктор БОКОВ. **Трава. Зимний сад. «Что-то женское живет в березе белой...».** Стихи 125

Вячеслав КУЗНЕЦОВ. **О политруках. «Я скажу парням увлеченным...». «Я улетал не на день — на года...».** Стихи 127

Светлана БЕЛЬЧЕНКО. **Три века юности** 130

Иван САВЕЛЬЕВ. **«Сделаю, о чем бы ни просила...». «Хочу представить...». Стихи о фактах. «Опять о несбывшемся чуде...». «Мечта моя!..».** Стихи 187

Алексей МЕНЬКОВ. **«В Брянском лесу...». «Холодна еще земля, холодна...».** Стихи 191

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

«Товарищ» 193

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Ало ХОДЖАЕВ, секретарь ЦК ЛКСМ Узбекистана. **Фестиваль в рабочей спецовке** 225

Людмила АТРАШЕНКО. **Юность строит города** 233

ИСКУССТВО

Валентина ТЕРСКАЯ. **Сквозь песенное бездорожье** 245

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Борис ЛЕОНОВ. **Свидетельство великой правоты** (О пятитомнике Анатолия СОФРОНОВА) 256

Анатолий НИКУЛЬКОВ. **Молодая литература Сибири** (окончание) 265

Алла ТАРАСОВА, народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда. **Принадлежит вечности** (К 150-летию со дня рождения А. Н. Островского) 282

Жизнеутверждение (К 60-летию со дня рождения С. В. Михалкова) 287

НАШЕ ОБОЗРЕНИЕ

Профессор В. МУШТУКОВ. **Тем, кто учится коммунизму.** Вал. КУРБАТОВ. **И мир опять предстанет новым.** Ю. ГАЛКИН. **Свежий взгляд, живой голос.** А. ВЕРБИНСКИЙ. **Певучая душа.** В. ПРОКУШЕВ. **Люди белой страны** 289

КРУГ ЧТЕНИЯ

А. МИЛОВСКИЙ. В. Песков, **Отечество.** Алла СТАНЬКОВА. Валентин Солоухин, **Заповедная тропа.** И. МОТЯШОВ. Константин Поздняев, **Товарищи мои.** Ю. АНТРОПОВ. И. Краснобрыжий, **Аленкин клад.** Федор УЗУНКОЛЕВ. Ульмас Умарбеков, **Зеленая звезда.** Михаил ЛЬВОВ. Ф. Чуев, **Соколиная песня крыла. Минута молчания. Отечество.** Г. АТАНОВ. Анатолий Ткаченко, **Открытые берега.** Михаил МИНОКИН. Л. Гладковская, **Всеволод Иванов.** Ю. СЕЛЕЗНЕВ. Эдуард Балашов, **Гонец.** В. САМАРКИН. Юрий Медведев, **Капитан звездного океана.** Сергей ЛИСИЦКИЙ. Ю. Прокушев, **Сергей Есенин** 307

Наш адрес:

Москва, А-30, Сущевская, 21, редакция журнала «Молодая гвардия». Коммутатор: 251-15-00; отдел прозы — доб. 2-40; отдел поэзии — доб. 4-13; отдел очерка и публицистики — доб. 4-26; секретариат — доб. 4-16; отдел критики — доб. 4-14; отдел «Товарищ» — доб. 3-66.

Анатолий ПОПЕРЕЧНЫЙ

ЛОДКА, УХОДЯЩАЯ В РАЗЛИВ

Время еще вздыбится волною...
А пока, сквозь дымку, чуть взгрустив,
Вижу я под финскою луною
Лодку, уходящую в Разлив.

Вижу весла в журавлином взмахе,
Трепетно сверкнувшие вдали,
Силуэт, мелькнувший в полумраке,
И гребца, чуть видного с земли;
И простор, охваченный туманом,
На песке прибрежном — топкий след...
Вижу я значительное в малом,
В полутьме — рождающийся свет...

Свет, чуть озаряющий шалашик,
Где, внакидку легкое пальто,
Он сидит и пишет, словно пашет,
Словно рельс кладет на полотно,

Чтоб прошла потом, в огне по пояс,
В пулеметных лентах и в дыму,
Революция, как бронепоезд...
Ленин пишет — значит, быть тому!..

А пока что тьма прикрыла плотно
Тишину, и, еле различив,
Вижу я сквозь дымку эту лодку,
Лодку, уходящую в Разлив...

В час, когда в сарае грузный плотник,
Лодку приподняв над верстаком,
Соразмерив формы, как работник,
Вдруг себя представил рыбаком —

В этой лодке в штиль и непогоду,
В час, когда, прикинув все на глаз,
Он пустил ее, как рыбу в воду,
Чтоб плыла навстречу утру,
В час,
В миг такой, когда запело древо,
Засветилась ранняя звезда,
Руки к чуду женщина воздела,
Это чудо к солнцу вознесла.

В час, когда окончились печали
И подули ветры от реки,
Лодка оттолкнулась от причала,
Колыбель — от маминой руки...
Женщина смеялась и грустила.
Женщина не ведала о том,
Что копилась в ее сыне сила,
Зрела мысль неслыханная в нем.

Русь заводы, фабрики вздымала,
Трубами кучнела...
Но ему
Гибельная сущность капитала
Виделась сквозь призрачность и тьму.
Видел далеко и неохватно.
Рано зрелость угнездилась в нем.
Прозвучало коротко и сжато:
«Мы пойдем совсем иным путем!..»

Мы пойдем. Возмездие свершится.
Словно цепи тяжкие разбив,
Русь,
Не ты ли это —
Сквозь зарницы —
Лодка, уходящая в Разлив...

Ветер забивает трубам глотку.
Океан российский вновь бурлив.
Но гребец уже садится в лодку,
В лодку, уходящую в Разлив.

Он, крестьянин с виду, коренастый,
Он похож на финского косца.
Выдавал его лишь лоб глыбастый,
Взгляд титаноборца и бойца.

Лодка шла.
Все далее к восходу.
Оставались где-то позади
Преданные якобы народу
Временные — на сезон — «вожди».
Тявкали ищейки, как собаки,
Сбившиеся явно со следа...
Лодка шла.
И чудилось во мраке —
В небе прорезается звезда.

Ленин мыслил.
Наступают сроки,
Выждав, подниматься нам опять,
Ибо Революции уроки
Учат нас не только наступать.

Лодка шла. Туман стелился хмуро.
Русь ждала в преддверии атак.
Пролетариата диктатура.
Ленин во главе.
И только так!..

Многое дано тому, кто смеет.
Многое дано тому, кто смел.
Ложь тогда пред истиной немеет,
Отступает перед жизнью смерть...
Он умел и смел.
На грани рока,
В страшный миг, на страшном рубеже,
Человек с прозрением пророка
И с великой нежностью в душе...

Ленин...
Далеко звучит.
И близко,
Словно Волга, русская река,
Разлилась от бывшего Симбирска,
Города Ульяновска, в века...

Время в берег бьет волной с налету.
И сквозь дымку, чуточку взгрустив,
Вижу я на горизонте лодку,
Лодку, уходящую в Разлив.

Владимир ФИРСОВ

ВЕРСТЫ РОССИИ

Уезжать не впервые!
Путь до дому не близкий...

Как столбы верстовые,
Вдоль дороги
Стоят обелиски.

Белизна их сродни
Осветленным весною березам.
Часто видят они
Неутешные слезы.

Перед ними
Встают
Старики на колени.
Им салют отдают
Поколение
За поколением.

Их дожди омывают,
Снега их зимой укрывают.
Им спокойно бывает,
Когда мы их
Не забываем...

Все леса да подлески.
Путь до дома не близкий.

От Москвы до Смоленска
Не счесть обелисков,
Как не счесть деревень,
Что в лихие годины
Не стало...

Вновь над Родиной
День
Занимается ало.
Небо розово-сине,
Обелиски мелькают, как вехи.

Это версты России
Середины двадцатого века.

ЗЕМНЫЕ ЗВЕЗДЫ

Как много память удержала!
Не отдалила
От земли,
Где в роднике вода дышала,
Где льны загадочно цвели;
Где голавли пером багровым
Чертили воду в омутах
И запах, неподвластный слову,
Дремал в картофельных цветах.

Луна с небес
Лила спокойно
Тепло холодное свое.
Осеннею порою
Кони
Роняли тени на жнивье.

Все было близким,
Все под боком:
Покой полей, лесная тишь.
И ты, Москва, была далекой,
Как нынче Лондон и Париж...
А время за меня решало.

У каждой жизни свой закон.
И главный Кремль моей державы
Мне нынче виден из окон.

Как далека страна лесная!
И сын, родившийся в Москве,
Живет и лишь по книгам знает
О родниковой синеве.

Есть телевизор. Есть транзистор...
Но есть еще и тишина,
И след коней в лугах росистых,
И речка, что до дна ясна.
Есть ширь полей,
Гроза и ветер,
Скрип коростелей,
Скрип крыльца...
Но главное, что есть на свете,
Так это родничок отца.

Он в сердце матери-России,
В начале моего пути.
И вот к нему
Я должен сына,
Пока не поздно, повезти.

Он никогда не затухает,
Даря тепло родной реке.
И, словно звездочки,
Мигают
Песчинки в этом роднике.
Там жив еще
Конек над крышей
И печка русская жива.
Там травы — выше,
Дали — ближе
И звонче вечная листва.

Там сын увидит тех героев,
Что скромно подвиг свой вершат.
Там цвета солнца
За горою
Колосья на ветру шуршат...
И станет сыну

Всех роднее
Мир родниковой синевы
И башня Спасская
Виднее,
Чем с Красной площади Москвы.

СТАРИКИ

На скрипучем стареньком крылечке
Старики
Курили поутру.
Самокруток сизые колечки
Быстро исчезали на ветру.
Воробьи сновали по оградам,
Шли коровы с ревом из ворот,
Превращаясь в медленное стадо,
Что, пыля,
Ушло за поворот.
Лихо бригадирская двуколка
Пролетела —
Только пыль вдали.
В беленьких платочках
На прополку
Вслед за стадом
Женщины прошли.
Петухи забористо кричали,
Солнце пролилось на ивняки.
Старики курили
И молчали,
Кашляя до хрипа в кулаки.
Слабость в теле.
И глаза слезятся.
Мир как бы туманом занесло.
И за дело стало трудно браться,
И сидеть без дела тяжело.
Да и смерть их не пугает вроде.
Дед Антон мне говорил вчера:
— Горько оттого,
Что не приходит,
А ведь ей давно прийти пора.

Руки, брат, и ноги приустали.
А когда бы
Вспаханное мной
В борозду одним рядком составить,
Был бы перепахан шар земной.
Покосил
В лугах и перелесках.
И когда бы всё в стога смели,
Ты по ним
Дошел бы до Смоленска,
Не касаясь матушки-земли.
Все умел.
Одних печей поставил
Столько,
Что от их тепла зимой
Могут все снега в районе стаять,
Что — в районе, в области самой!
Словом, пожил.
Умирать не страшно.
Три войны, считай, провоевал.
Шел со смертью рядом в рукопашный.
Громче всех в походах запевал...
Дед приободрился как-то сразу.
Но потом
В молчании сидел
И уже усталым тусклым глазом,
Отвернувшись, в сторону глядел.
Одинок старик.
Сыны и внуки
Разбрелись по городам земли.
Правнуки его
В большой науке
Имена сегодня обрели.
Пишут в письмах,
Что гордятся дедом,
Жизнью, что он прожил ни за так.
Только вот который год не едут,
Деньги высылают
На табак...
Старики сидят, в дыму седея,
На приступках старого крыльца,
Вот не станет их,
И оскудеет
Край, что мне достался от отца.

Поживите, милые, родные,
Свет земли и солнца не зачах.
Вы же всю историю России
Бережно держали на плечах.
Тяжко было,
Но не уронили!
Ибо даже в горькие года
Вы и в мыслях
Ей не изменили,
Верными остались навсегда...
На крылечке
Жарко, как на печке.
Солнышко пригрело стариков.
Ветер стих.
И сизые колечки
Стали подниматься высоко...

* * *

Река Ока впадает в Волгу
И, став великою рекой,
Она, однако, долго-долго
Все чувствует себя Окой.

И в ясный день,
И в непогоду,
И в темень,
И под светом звезд
Текут, не смешивая воды,
Ока и Волга
Много верст.

Лишь после,
Слившись воедино,
Они текут из века в век,
Сметая грязь,
Ломая льдины
И помня верность малых рек...

Как реки
Сходятся и люди.
Но мне увидеть довелось:

Иные вроде бы и любят
И рядом, кажется,
А врозь.

Пройдут по жизни —
Посмеются,
Поплачут,
Погрустят слегка.
Пройдут, да так и не сольются,
Как с Волгою слилась Ока.

* * *

Во поле выйдешь —
Песню поешь.
Очень негромкую.
Звезды
Ночами падают в рожь,
Утром
Дрожат жаворонками.

Сколько упало,
Столько взошло.
Стало под небом песенно.
И на душе не случайно светло.
И не случайно весело.

Чистое поле —
Небо и рожь.
И кажется, нету края
Дороге, которою ты идешь,
Которую не выбирают.

Она, как наследство, всегда твоя,
Тебе ее в детстве дали.
В какие бы ты ни заехал края,
Забудешь ее едва ли.

Этой дороге
Нельзя изменить,
Как соли, воде и хлебу.
Она тебя будет вечно манить
Звездною песней неба.

И снова пройдешь
По дорожной пыли
Тихою стороною,
И снова поймешь притяженье земли,
Нежное и родное.

В сумерках
Перепел прокричит,
Коршун пройдет сторонкой.
И яркими звездами станут в ночи
Полуденные жаворонки.

ПОСЛЕ ГРОЗЫ

Дуб,
На поляну рухнувший,
Горел!
По рукоять в нем молния торчала.
И, как ни странно,
Все вокруг молчало,
Никто о смерти той не сожалел.

Светило солнце празднично в лесу,
Веселые березы зеленели.
И птицы вдруг раздольно зазвенели,
Всей силой славя
Вешнюю грозу!

Звучал природы праздничный хорал,
Во все века
Одной лишь ей послушный.

Была ль природа
Так же равнодушна,
Когда
Последний мамонт умирал?

Уверен я,
Вот так же птицы пели,
Вставало солнце радостно, светло.
Шумели реки и ручьи звенели
И было по-весеннему тепло.

* * *

Ты, осуждая, говоришь порой,
Что о любви пишу прискорбно мало.
А ведь писал.
Писал и я, бывало,
О том, чего и не было со мной.

Не знал любви,
Но было много слов.
И так легко писалось, словно пелось.
А вот сегодня наступила зрелость
И есть любовь,
Да нет о ней стихов.

Ты верь, я о любви не промолчу.
И в том, что нет о ней стихов,
Не каюсь.
Как некогда писал,
Так не хочу.
А как хочу,
Так не могу покамест.

И осуждать меня не торопись.
У слов любви нелегкая дорога.
Они еще на свет не родились,
Их даже в русском языке
Немного.

* * *

Мы гадать на ромашках не будем,
Пусть другие их трепетно рвут,
Ведь живем мы и любим как люди —
Жаль,
Что нелюди
Рядом живут.
И, жестокое время сверяя,
На закате холодного дня
Ждут,
Когда я тебя потеряю
Или ты
Потеряешь меня.

НА ВЕЧЕРНЕЙ ЗАРЕ

Под елями еще снежок не стаял.
Но вальдшнеп звучно тянет на заре.
И высоки гусей летящих стаи
В холодном и закатном серебре.

Последний дрозд кричит
И затихает.
Уже заметно вызвездило даль.
И лес, от зимней стужи отдыхая,
Еще хранит неясную печаль.

Светлы и холодны в лесу
Березы.
Скользит неслышно черная сова.
Прихваченная легоньким морозом
Хрустит, белея, старая трава.

Мерцают лужи — звездные оконца.
Луна
Сквозь ветви медленно плывет.
И высоко,
Еще задетый солнцем,
Как искорка,
Мигает самолет.

* * *

М. В. Исаковскому

В селе Богородском
Медведи —
Попробуй найти веселей!
Один генералом проедет
На тройке гривастых коней.

Другой, не боясь, без утайки
Очистит на пасеке мед.
А третий тряхнет балалайкой
И в пляс, озоруя, пойдет...

Давно обещал я сынишке,
Что к Новому году
К нему
На тройке пожалует Мишка,
Останется в нашем дому.

Ему мы построим избушку,
Пускай себе мирно живет!
И меда огромную кружку
Сынишка медведю нальет...

Но к нам косолапый не едет,
Хотя его трепетно ждут.
Резьбы богородской медведи
Теперь за границу идут.

Они покидают Россию,
Малинники в диких лесах.
И я замечаю у сына
Недетскую горечь в глазах.

Уходят медведи гурьбою,
Их участь давно решена...
«Но я остаюся с тобою,
Родная моя сторона!»

* * *

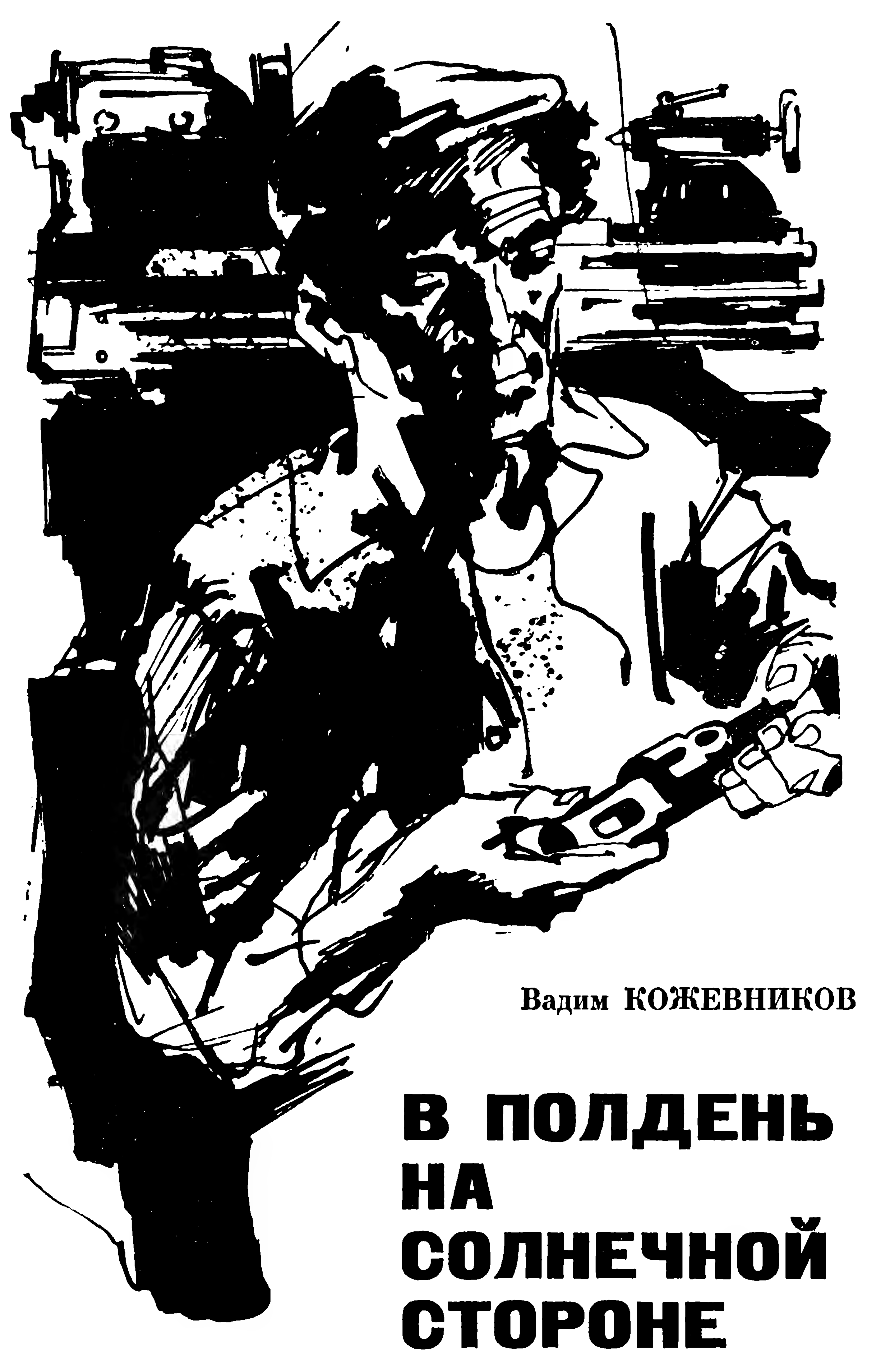
Смоленщина!
Тепло твоих колодцев
Зимой напоминает о весне.
Не потому ль спокойно сердце бьется,
Что я — в тебе,
Что ты — всегда во мне.

Во мне —
Твоих ручьев сердцебиенье,
Твоих частушек частый перебор
И льна голубоватое свеченье,
Плывущее ко мне со всех сторон.
Туман в низинах.
Рожь.

Луна над нею.
И — светлая земная тишина...

Ну что на свете может быть роднее
Тебя,
Моя родная сторона?

И что бы я ни делал,
Все во имя
Твоих людей,
Кому обязан я
Стихами откровенными своими,
Пришедшими в родимые края...



Вадим КОЖЕВНИКОВ

В ПОЛДЕНЬ НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ

РОМАН

Рис. Г. НОВОЖИЛОВА
и А. БАБАНОВСКОГО

28

На фронте Петухову проще было угадывать характеры людей — и потому, что все всегда вместе, и потому, что в бою ярко вспыхивает все скрытое, не замеченное доселе в человеке. В бою — все наружу: и низшее, и высшее, и такое наивысшее, чему нет меры.

Вплотную, один на один, со смертью в человеке гибнет любое притворство, и он становится таким, каким себя даже не знал, и другие тоже его таким не знали.

Мера человека была — поведение в бою.

А здесь, на заводе, на первый взгляд все было каждодневно, однообразно, как и сам труд.

После работы у людей начиналась другая, своя жизнь — дома. Малоизвестная Петухову в силу того, что, приходя домой, оставаясь вдвоем с Соней, он всегда ощущал это, как ежедневный праздник, — быть с Соней.

И бытовые трудности, которые испытывали все семейные, проходили мимо Петухова и казались не трудностями, а вполне нормальными условиями жизни, потому что другой жизни он не знал, кроме армейской, и сравнивать мог только с армейской, где властвовал равноправный порядок, нарушаемый только боевой обстановкой.

Но вот что стал замечать Петухов. Приходя в цех, самые сварливые и строптивые, раздраженно высказывающие всяческие, справедливые и несправедливые, неудоволь-

---

Окончание. Начало в № 1, 2 и 3.

ствия и во время перекура ядовито поносящие заводские непорядки и ближайшее свое начальство, — эти люди, как только становились к станку или к слесарному верстаку, делались совсем иными. Лица обретали умиротворенное выражение и то самоуглубленное, сосредоточенное спокойствие, исполненное воли, решительности, которое обычно ищут скульпторы, чтобы запечатлеть самовластное величие творца, присущее какому-нибудь великому деятелю, а если оно неприсуще, то стремятся придать ему такое для убедительности в его исключительности.

Но это было всеобщим во время труда выражением людей, тонко владеющих своей профессией, открывающих в ней своим мастерством столько потаенного, что их всех следовало считать личностями незаурядными. И поэтому, как бы ни были они неудобны своими колючими характерами, относились к ним всегда терпеливо и даже с некоторым благоговением из уважительности к их мастерству.

Когда они собирались кучкой вместе, вся колючесть, строптивость исчезали бесследно.

Они становились чрезвычайно благовоспитанными, тщательно вежливыми, взаимопочтительными. О политике рассуждали серьезно — как политики. О неполадках заводских и жизненных судили соразмерно с теми трудностями, которые переживает в послевоенное время страна. И в таких беседах равных с равными считалось неприличным сетовать на собственные неурядицы.

Инженерно-технический руководящий состав они делили на две категории. Одни хорошо разбираются в технике, любят и понимают ее, но слабо понимают людей и плохо их организуют. Другие, напротив, и организаторы, и с людьми в контакте, но не любопытны к технике и боятся ее трогать чем-нибудь новым, лишь бы она работала согласно приложенной заводом, ее изготовителем, инструкции.

Поэтому кадровые рабочие проницательно знали, о чем следует толково говорить и что спрашивать с того или иного руководителя цеха.

И, зная их плюсы и минусы, могли того руководителя, который хуже разбирается в технике, поставить своими вопросами в тупик, а того, кто хорошо разбирается только в технике, но не в людях, справедливо упрекнуть в

неправильной расстановке рабочей силы, в неуменье подметить вовремя, что тот или иной уже превосходит работой свой сегодняшний разряд.

И, чтобы войти в доверие к таким высоким мастерам, нужно было на их уровне постигнуть свое дело.

Петухов слышал, как однажды Клочков сказал молодому конструктору:

— Важнейшее свойство внимания: концентрация и устойчивость, способность отключить сознание от всего несущественного и сосредоточить на главном.

Вот это свойство внимания он видел воплощенным в работе таких мастеров, как Зубриков, Золотухин, и других, им подобных.

Когда их застигал в работе обеденный перерыв или даже конец смены, умиротворенное, самоуглубленное выражение сменялось другим. Словно очнувшись, они сначала озирались недовольно и недоумевающе: чем, мол, вызвана машинная тишина, почему суета в цехе, разговоры? Подобное недовольство Петухов замечал в клубе, если спектакль был хороший, увлекший людей, и вдруг — антракт.

Отходили от станков не сразу. Чего-то прибирали, а перед самым уходом быстрым ласкающим движением ладоней касались обработанных деталей, не то пересчитывая их, не то испытывая странную жалость, расставаясь с ними.

Такое же выражение он видел, когда подсобники забирали у них готовые изделия.

Приносили заготовку сложного профиля и к ней чертежи, и сам технолог, зябко поеживаясь, говорил сердито:

— Конструкторы навыдумывают черт знает какую конфигурацию, а как ее резцом взять, на нас взваливают.

— Ладно, — заявлял Золотухин, — поколдую! — Долго смотрел на чертежи, говорил решительно: — Бумага! — И, медленно ворочая деталь, ощупывал ее пальцами внимательно, чутко, словно слепец. Собирал инструменты заново, по-своему затачивал. Долго налаживал станок. Потом снова щупал деталь, и на лице его при этом сменялось множество выражений: горечи, недоумения, подозрительности, радости, сомнения и, наконец, высокомерной самоуверенности, после чего он устанавливал деталь. Впервые осторожно касался ее режущей кромкой специально подобранного инструмента. Такую же быструю и

богатую смену чувств и мыслей Петухов запомнил на лице хирурга Ивана Яковлевича Селезнева, когда тот тщательно обследовал ранение, прежде чем приказать сестре подать нужный инструмент.

Когда Золотухину поручали обработку сложной и ответственной детали, обедал он наскоро. С тем же озабоченным выражением лица поспешно возвращался в цех, ни с кем по пути не разговаривал, становился нелюдимым. Прежде чем стать к станку, с такой же тщательностью, как хирург Иван Яковлевич, мыл руки, и весь станок его был особенно чисто прибран.

И каждый раз после перерыва он вынимал уже полуобработанную деталь, снова ее ощупывал и закреплял заново, будто кто-то в его отсутствие мог потревожить ее центровку.

И если закуривал, то не у станка во время работы. Остановив станок, отходил в сторону, курил, глядел на станок и на блестящую в нем деталь и все думал о ней, жадно куря.

Закончив обработку, он не позволял забирать деталь, а сам после смены относил ее в кладовую и тревожно следил, как кладовщик кладет ее на стеллаж, предупреждая: «Я тебе ее стукну!» — и показывал увесистый кулак. После этого лицо его обретало потерянное, унылое, скучающее выражение, словно кто-то его обидел или кто-то из близких уехал из дому, а он о нем тоскует.

И никакие похвалы и обещания премии за исполненную работу не могли его сразу вывести из такого удрученного состояния, потому что никто, кроме него самого, не мог понять, сколько душевного тщания он отдал этому изделию. Но когда равные ему по мастерству замечали кратко: «Глядели твой кроссворд, хитро справился», — скулы Золотухина розовели, поперхнувшись, он долго откашливался, замечал смущенно:

— Помудровал маленько! — И, чтобы сделать приятное похвалившему, протягивал кисет, предлагал: — Из моего сверни, сам из листа нарезал. А то от махры глаза щиплет. При тонкой работе глаз и без того от напряжения слезой заливает. Курю тогда такой, который помягче.

— А ты чего сегодня не в сапогах, а в тапочках?

— Ногам упорнее.

— А в майке? Не лето же!

— В спецовке рукава длинные, широкие, подвернул, манжет получился толстый, рукам свободы нет.

— Со своим мылом ходишь?

— Казенным вымоешь, а рука все равно сальная. Цепкость не та.

— Это правильно.

Получая потом рядовую работу, Золотухин долго не расставался со скучающим выражением на лице. Он никогда не вносил по надлежащей официальной форме свои рационализаторские предложения, но новых приспособлений придумал немало. Говорил небрежно тем, кто в таком приспособлении нуждался:

— Возьми у меня из шкафчика хреновинку, вставишь — кромку разом обрежешь и канавку проточишь, — и отходил, будто так, между прочим, только закурить предложил из своей пачки.

Петухову он объяснил довольно своеобразно, почему рабочий человек должен не только тем, что для него придумали, пользоваться, но и по-своему, по-рабочему свое придумывать.

— Технолог, он в целом процесс мыслит — по правилам науки и техники и их возможностей. А лишний труд кто любит? Только дурак бессмысленный. Если ты не дурак бессмысленный, избавляйся от лишнего труда, когда свой труд чтишь, уважаешь. А как? Если ты на работе каждое свое шевеление осмысливаешь, значит, дойдешь — зачем тебе лишний раз резец сменять, когда можно их несколько в оправку вставить? Повернул — и все. И мерный инструмент — какой способней? Такой, конечно, которым можно деталь в процессе обработки замерить сразу по нескольким параметрам, — комбинированный. Вот ты и время выигрываешь, и свое спокойствие сберегаешь, что лишней поверхности не снимешь, на тонкой бояться не будешь, что запорешь, и лишний, зряшный раз не утруждаешься. Каждым новым станком инженер чего хочет? Старый превзойти. А человек за станком чего хочет? Себя сберечь на самое нужное, а ненужное своей придумкой устранить. Только и всего.

Добавил наставительно:

— Если каждый день на работе про свою работу думаешь, то они, эти дни, получаются пестрые, разные, если, конечно, что-нибудь эдакое от себя в них присунешь, свое собственное, тогда интерес, азарт. — Помедлил. — И дру-

гих тоже приятно обставить. Работа, конечно, это тебе не физкультура. Труд! Но тоже можно себя показать, на что ты способен каждый день, а не по праздникам.

Сказал задумчиво:

— В годы войны на всех горе висело. И сейчас тоже немало осиротевших. Войдут в цех, лица нет, губы обкусанные, глаза, как ямы, проваленные. А встанут к станкам, как в забытье окунутся, вникают как все. Кончится смена, еле ноги волокут, понурые, снова в горе свое кидаются.

Для настоящего рабочего труд — это, конечно, не развлекательное удовольствие. Но полное удовлетворение — чувствовать себя на земле существенным человеком, без которого ничего не будет, только одно запустение. И что на ней — твое собственноручное изделие и всех таких, как ты, которые есть и которые были. — Заметил строго: — И на войне без рабочего умения, сознания, мастерства тоже много не навоюешь. Кидали вам технику, понимали — кому даем, старались, чтобы было получше, безотказнее, прочнее, вкладывали ей ума...

Петухов помнил, как на приданной его батальону батарее бойцы орудийных расчетов, получив новые системы, тщательно обследовали их, восхищались меньшим весом, но при этом увеличенной дальнобойностью и полуавтоматическими заряжающими устройствами.

— Вот это нам угодили! — ликовали солдаты. — С такими воевать — красота, удобство, сила! Совсем безотказная пушечка. Бей, как из винтовки, с одного прицела, очередями. А ведь — орудие! Поглядишь со стороны — любование!

И когда на этой батарее сначала разбомбили стоявшие в капонирах тягачи, а потом на нее пошли танки, сопровождаемые автоматчиками, Петухов повел свою роту на выручку и в страшном рукопашном бою отбил батарею. Полуживые, израненные, истекающие кровью артиллеристы, обессиленные, изнемогающие, переругивались слабыми голосами с санинструкторами, подползали к орудиям, чтобы осмотреть повреждения, и сердито осведомлялись:

— Где орудийный мастер? Почему не привели? А то отвезут на ремонтный завод — жди, когда свое обратно получишь. Могут и в другую часть сдать. Надо бы «летучку» вызвать, чтобы на месте восстановить.

А то, что подорвали два фашистских танка и они почти

нависли над огневой позицией, — этот свой подвиг они не считали особым подвигом. Их волновало, что у одного из орудий ствол почернел, окраска спеклась. Было видно, как раскаленный ствол источает прозрачные струи горячего воздуха, и, хотя замок был открыт для остужения и на стволе висели, как мокрые тряпки, облитые водой гимнастерки, солдаты беспокоились, не повредился ли орудийный ствол из-за чрезмерного количества выпущенных за столь короткое время снарядов, и виновато объясняли:

— Позабылись, уж очень удобно было с полуавтоматом заряжающего устройства работать. Лупим и лупим! А может, по инструкции так нельзя, без передыха? Любой металл, он тоже строгую возможность имеет.

И говорили, горячась, о таких тонкостях, которые доступны лишь пониманию тех, кто мог сам сработать такое оружие, и, значит, в подобном рабочем мастерстве они были сами достаточно сильны еще до войны...

Понятие овеществленного труда у прочно кадровых рабочих жило глубоко и широкоохватно. Они уважали в металле не только сработанные из него собственноручно изделия, но и сам металл как таковой, весь тот изначальный, вложенный в него труд добытчиками, доменщиками, сталеварами, прокатчиками, литейщиками, кузнецами, штамповщиками и всем множеством людей разных профессий, имеющих соприкосновение с металлом.

Тяжесть металла они ощущали как весомость вложенного в него труда. Беря заготовку, считали себя как бы доверенными восприемниками всех, кто вложил в заготовки долю своего труда и, значит, какую-то частицу своей жизни. И вовсе не потому, что плакаты и газеты призывали к бережливости, к экономии металла, они были благоговейно скаредны на каждый излишний расход его.

Они уважали и ценили металл как нечто очеловеченное, как вещество, исполненное тяжести труда, в него вложенного. И новоприбывшие на завод не сразу постигали, почему пожилой, солидный рабочий высшей квалификации, увенчанный орденами, вдруг багровеет до синевы и орет в гневе и ярости на новоприбывшего, который, запоров копеечную заготовку, чтобы не подвергаться сраму, исподтишка забрасывает ее под инструментальный шкафчик.

Кадровые рабочие не брезговали копаться в металло-

ломе для мартенов, как мусорщики. Обнаружив еще годную шестеренку, втулку, обломок легированной стали, приносили в цех и отдавали ремонтникам, чтобы те по своему усмотрению приспособили найденное.

Они вели давнишний бой с излишними припусками в заготовках. Собирая стружку после обработки детали в бумажный сверток, клали его на весы против обработанной детали, вызывали технолога, конструктора, спрашивали зловеще:

— У вас совесть есть? Вот выписать бы вам всем только полполучки, чтобы почувствовали, если по-другому не доходит.

Обучающимся внушали рыдающими голосами:

— Ты заготовку не грызи, не долби резцом, а стругай ее, ну как карандашик ножичком затачивают. Не дери стружку, а снимай ее осторожно, не на силу бери, а от души. Чувствуй поверхность, как кожу свою чувствуешь. Металл, он на грубость, на силу не поддается. Он отвечает на мягкое обращение, с пониманием.

Хорошие мастера, получив в кладовой режущий инструмент, заново по-своему его затачивали, доводя углы до той геометрической точности, которая подвластна только лекальщикам.

После тягостных сомнений, подобрав наконец себе сменщика, такой мастер не только привередливо принимал после работы у него станок, но и, задерживаясь после своей смены, искоса мнительно откуда-нибудь со стороны наблюдал, как сменщик справляется.

Движение скоростников, поддержанное администрацией завода, было вначале холодно встречено самыми опытными мастерами. Зубриков говорил:

— Если с умением — можно, а без умения, на одном энтузиазме, — это только станки раздолбать. Значит, что? Прежде чем на публике обязательство брать, под хлопки ладошками, докажи сначала, что умеешь. Тогда поверю, что можешь. Допускать на скоростную обработку надо после проверки на устойчивое понимание техники. А то за месяц такой рабочий весь сок из себя выжмет. Удивит сверхнормами, а потом сникнет. Станок, допустим, выдержит. А ты при нем выдержишь, своя пружина не ослабнет? Вызывающий должен соображать: если берем повышенный темп, значит, не как на временную пробежку. На все время себе такую скорость заказываем, как узаконенную норму. А не просто — порыв, на «ура»!

И опытные мастера добились, чтобы переходу на скоростные методы обработки предшествовали и сопутствовали курсы повышения квалификации, руководимые практиками.

Это были самые влиятельные люди на заводе. Избранники заводского коллектива не только на почетные места разного рода президиумов, но и на ответственное положение в партийных, общественных и государственных организациях. По существу, это была власть завода, хотя и без персональных кабинетов, без табличек с именованием звания и высокой должности. Потому что должность оставалась при всех обстоятельствах неизменной — рабочий.

29

Если Игнат Степанович Клочков, создав новую конструкцию и получив одобрение сверху, терзался тревожным беспокойством до тех пор, пока знатоки своего дела не разберутся с рабочими чертежами нового изделия и не проверят, не испытают в металле и не одобрят их, то Алексей Сидорович Глухов, получив сверху категорическую директиву на быстрейшее и сверхсрочное увеличение выпуска той или иной продукции, прежде чем обнародовать столь же категорический приказ об этом уже за своей подписью, строго, поодиночке, расспрашивал лучших мастеров об их собственных соображениях по этому поводу.

Вооружившись такими высказанными ему соображениями, Глухов выступал на общезаводском совещании самоуверенно, властно, уже не опасаясь того, что его обстреляют разного рода сомнениями и критическими замечаниями. И он мог сам неотразимо критиковать других, опираясь на критические замечания, предварительно высказанные ему в интимных, как будто так, между прочим, возникших доверительных беседах с глазу на глаз.

Этот метод упрочения своего авторитета Глухов никому не раскрывал, но пользовался им добычливо. Вслух приписывал благотворные его результаты якобы особым качествам своей личности, себе как руководителю и не прочь был иногда именовать рабочий коллектив массой.

Что касается самих рабочих советчиков, то они не

обладали авторским самолюбием, и когда Глухов пересказывал их советы директивным тоном, придавая им форму приказующую, от своего имени, рабочие одобряли и директора, и грозный, повелительно командующий его голос, потому что считали, что это полезно для внушения всем и каждому и, значит, для безоговорочного исполнения.

Они знали, что дисциплина в труде — это как правдивость в человеческом характере: составляет основу его прочности, надежности. И поэтому считали, что повелительность руководителя необходима для упрочения коллектива, словно металла под высоким давлением, не подозревая того, что, когда они сами казнили презрением недисциплинированных, подвергнуться такой ковке на летучках люди опасались больше, чем любых приказов администрации о взысканиях.

Ответственность возвышает человека, а так как они себя чувствовали ответственными за все на заводе, они были его костяком, опорой. Тем, что в архитектуре называют несущими колоннами.

О человеке они в первую очередь судили по его работе. Поэтому Петухов вначале чувствовал себя в цехе как пополненец среди обстрелянных, опытных фронтовиков.

Во всяком случае, ему легче давались знания на заочном отделении института, чем безграничные тонкости профессионального рабочего мастерства, которым нет предела.

Он с бо́льшим удовольствием показывал Соне зачетную книжку с отличными отметками, чем трудовую книжку, в которой стояло: слесарь второго разряда.

Саид Нугманов, сияя глазами цвета бронзы, рассказывал Петухову:

— Пришел с фронта, спрашивают: «Кем был?» — «Старший сержант в огневом взводе противотанковой батареи». — «Иди тогда в горячий цех». — «Почему?» — «Туда все фронтовики идут». Пришел, понимаешь, — страшно. Все равно как на огнемет со штыком. — Спросил Петухова: — У тебя национальное чувство есть? Мы что тут производили — хлопок, рис, хлеб, фрукты. И еще скотоводством занимались. А тут — сталь! Было когда-нибудь? Не было. Ты русский, ты этого не понимаешь. Приезжаю домой, на том месте, где я баранов пас, — завод! Был чабаном, стал сталеваром. Это как у вас такое чувство называется?

— Ну, стал рабочим, — сказал Петухов.

— Не «ну»! У нас сталеваров не было. Такого завода не было. Там, где я со своим отцом овец пас, завод стоит. Понимаешь теперь мои чувства?

Свод печи как-то осел. Получился выброс металла. Это все равно как по тебе прямой наводкой — огонь! Я растерялся, обмер. Старший сталевар Сережа Попов с разбегу меня отшвырнул от печи. Его расплавленным металлом задело, а меня нет.

Вернулся он из больницы. Пришел к нему с женой, детьми, родственниками — благодарить, на плов звать, чтобы уже при всех соседях, на виду у всей улицы еще раз поблагодарить. А что мне Сережа сказал? «Ты, Саид, не суетись. Ничего такого особого не было. Вот если б я, как старший сталевар, зазевался, то на всю б свою жизнь рабочую человеческую честь потерял. Ты с этой стороны к случаю подойди, потому что под твоим началом тоже сначала малоопытные работать будут, и ты за них обязан своим здоровьем отвечать, пока не научатся».

А почему он со своей, лучшей печи на другую ушел? Мне место уступил! «Зачем, — говорю, — Сережа, бригаду на меня бросаешь? Я еще несамостоятельный». «Так будешь! — он сказал и объяснил, почему надо: — Мы, русские, сталь давно варим, еще с тех пор, как вы плов начали варить, — значит, надо вам быстрее обзаводиться своими мастерами-сталеварами. Как без плова сытым не будешь, так и без стали сильным. Котел-то у нас всеобщий. Ну вот и надо, чтобы со всех сторон сталь в него текла».

И он мне нашим же старым изречением свету прибавил. «У вас, — сказал он, — в народе говорят: люди, соединившие судьбу, — это крылья одной птицы. Если оба крыла одинаково сильны, птица может летать высоко. — Потом улыбнулся. — Ну как, прозрел, каким способом нам всем в гору идти?»

Саид помолчал, произнес задумчиво:

— А улыбаться ему было больно, лицо не зажило после ожогов, когда металл из печи выбросило, а он улыбался, довольный, что я старшим сталеваром на его печи становлюсь. Ты меня понимаешь? Как я должен работать?

— А чего тут такого? — сказал Петухов. — И на фронте взаимная выручка была, и тоже на командирские

должности за способности выдвигали. А кто из каких мест, какой национальности, только для наградного листа или для «похоронки» выясняли. Главное — кто как воевал, а теперь — кто как работает. По этому и место человеку определяется.

— Ты хладнокровный, — заметил Саид. — Весь мой род чабаны, а я первый из всех сталевар!

— Мой отец тоже до завода коров пас, — сказал Петухов. — А я, возможно, инженером буду. И ничего тут особенного. Был молодым рабочим, стану пожилым инженером.

Саида жаловалась Соне:

— Саид на войне воевал, ночи не спала. Теперь тоже не сплю, была у него в цехе, очень там страшно. Я ему говорю: «Учись на бухгалтера, будь отцом своим детям». А он в металлургический техникум поступил, чтобы больше стали варить. Опять со страшным огнем возиться будет. Приходит домой, весь железом пахнет, на спецовке дыры прожженные. Ночью я его к себе зову, а он учебник учит. Разве от этого дети будут?

— Так у вас и так трое.

— Моя мать двенадцать вырастила, и только две девочки. А у меня одни девочки. У нас же родных много, надо и с их мнением считаться. А он шутит: «Теперь надо не количеством детей гордиться, а их качеством». Говорит, что на фронте целый авиаполк из девушек был, и почти все Героев получили. Это правда?

— Правда, — сказала Соня.

— Значит, по-твоему, женщина должна еще и летать, и воевать, как мужчина?

— Было такое время на земле — «матриархат» называется, когда мы над мужчинами властвовали.

— А почему кончилось?

— Они все наши женские слабости изучили, ими воспользовались и верх над нами взяли. И мы можем теперь про них говорить — обабились! — рассмеялась Соня. — Теперь же мы их недостатки и слабости изучим и над ними власть заберем обратно.

— Не надо! — сказала Саида. — Пусть такими, какие они есть, живут. Зачем пугать? Им и так достается от другого начальства.

Когда Соня рассказала Петухову об этом разговоре с Саидой, Петухов встревожился.

— Тебе, что же, захотелось надо мной старшей быть, командовать? — спросил он обидчиво.

— А я и так командую, только тактично, не так, как ты мной.

На фронте Петухов пребывал в двух разных плоскостях в своих армейских взаимоотношениях. Одна плоскость: он старший над подчиненными ему. Умнее он их или глупее, хуже или лучше по всем статьям человеческим, но он обязан во что бы то ни стало при всех обстоятельствах всегда и во всем высоко тянуться чтобы оправдано было его командирское звание.

Поэтому он никогда не имел права давать волю своим чувствам, мыслям, выпускать себя из-под собственного контроля, памятуя о том, как четко у подчиненного складывается облик начальствующего над ним, доверие, уважение и как необратимо можно это утратить небрежностью, роняя самого себя даже в мелочах.

И, поступая так или иначе, он обязан был прежде всего думать не о том, лучше ему от этого или хуже, а о том, как такое будет воспринято его подчиненными. Уронит это его в их глазах или подымет. А поскольку командирское звание уже само по себе ставит начальствующего над подчиненным, то для того, чтобы пользоваться им полноправно, чтобы соответствовать своему высокому званию, командир должен зорко следить за собой, не давая себе душевного отдыха.

Допустим: стужа, и все солдаты зябко ежатся скорчившись, но ты, хоть и застыл до костей, должен сдвинуть ушанку на затылок, руки не держать в карманах или за пазухой, ходить статно и улыбаться, хоть ты и чувствуешь, как от этого мороженая кожа скрипит на скулах и словно трескается. Можно и пошутить, что раны, мол, на морозе никогда не гноятся, — значит, воевать в мороз гигиеничнее, лучше, не так опасно для жизни. А если начнется рукопашный, тогда жарко всем станет. Можно также перед боем, как будто между прочим, взять у какого-нибудь солдата винтовку, вынуть из нее затвор, разобрать, протереть, сложить заново, но так, чтобы это выглядело не проверкой солдата, а будто проверкой качества масла для смазки в зимних условиях, хотя пальцы от этого у тебя деревенеют и болят от соприкосновения с леденяще обжигающим металлом.

И на марше, хоть такое в ногах, словно ты ступаешь на обнаженные свои кости, нужно идти то в голове колон-

ны, то вернуться в ее хвост, то снова появиться во главе, — таким образом вдвое нашагаешься больше, чем солдат, но обязан выглядеть бодрее его и отбивать свой шаг четко, хоть и испытываешь при этом, будто тебя ударяют по ступням палкой при каждом соприкосновении с землей.

И на привале не ложиться, как все, в изнеможении, а снова ходить между солдатами, спрашивать, как они себя чувствуют. Всем своим видом подчеркивать, что самочувствие должно быть у всех непременно хорошее, как у тебя самого, у командира.

И с каким бы вопросом ни обратился к тебе солдат, ты должен быть на высоте. Не знаешь, как сразу ответить, скажи — некогда, но потом, обдумав, обязательно найди этого солдата, напомни, о чем он спрашивал, и разговорись уже «на полную катушку». В этом твое уважение к подчиненному, и подчиненный будет тебя уважать. Бывает, что ты и младше подчиненного по возрасту, и по делам жизни не имеешь такого, как он, опыта, — все равно вникай проникновенно в то, что он тебе рассказывает, не отмахивайся от того, что тебе чуждо и не постигнуто твоей жизнью, слушая, переживай, как будто то или иное с тобой лично случилось. Не поможешь советом, так облегчишь сочувствием.

Тогда солдат ближе к тебе становится, и человеческое к тебе его доверие оборачивается в бою солдатским рвением, уверенностью в том, что командир его в бою по-человечески тоже помнит и ему сочувствует.

Словом, все твои помыслы, все поведение должны быть подчинены солдатам, только тогда они ответно с полной осознанностью подчинятся твоей воле командира.

Другая плоскость армейских взаимоотношений — это когда Петухов сам был подчиненным у старшего по званию и ощущал, как лучшее в командире укрепляло его уверенностью и тайной жаждой походить на него. И подчинение воле такого командира было вовсе не покорностью, а горящей страстью выполнить наилучшим образом его приказ.

И армейский закон о том, что приказы не обсуждают, а выполняют, зиждился на полной вере в командира. И чем крепче была эта вера, тем инициативней и неотвратимей выполнялся приказ при любых условиях, даже тогда, когда и не было условий для его выполнения.

Поэтому Петухов, пренебрегая некоторыми сторонами характера комбата Пугачева, так жадно и благоговейно схватывал его лучшие черты командира.

Каждый бой неповторим. И как бы он тщательно ни планировался по минутам, ни укладывался в уставные правила и инструкции, согласно военной науке каждый бой — поединок, длящийся с переменным успехом. И исход его решает не только огневой перевес, но и самоощущение бойца в бою. И здесь проницательное видение командира в должный момент способно открыть в суматохе боя ту долгожданную точку его, где обозначается доля успеха, и дерзновенно, слаженно, массированно сосредоточить тут все силы и совершить прорыв, то есть выиграть бой.

Пугачев обладал хладнокровной выдержкой, волей, чтобы, наблюдая со своего НП за ходом боя, терпеливо, тактично не вмешиваться в то, как руководят своими подразделениями их командиры, давая им полную волю врасти в бой при полной их самостоятельности, внушая им уверенность своим невмешательством. Наблюдал, словно бы посторонний, только иногда досадливо морщась или просветленно улыбаясь. И только на лбу его от скрытого переживания выступали капли пота, которые он смахивал ладонью. И курил беспрестанно, прикуривая одну папиросу от другой.

Во время боя Пугачев словно раздваивался, как бы со стороны противника руководя боем немецких подразделений. И когда тактика их действий совпадала с тем, что он мысленно им приказывал, лицо его обретало властное, самоуверенное, торжествующее выражение. И только уверившись в том, что открыл и понимает замыслы противника, он рассылал связных с приказаниями командирам подразделений и брался за полевой телефон, то есть уже вмешивался во все дальнейшие этапы руководства боем.

Он верно и точно угадывал критический момент, наступивший в ходе боя. И тогда группировал огонь и солдат в направлении наметившейся скважины в обороне врага и бросался туда с бойцами на прорыв.

И благодаря этому сочетанию дерзостной личной отваги с хитростью, продуманной терпеливостью, как бы временным отстранением себя от руководства боем, с точной угаданностью того момента, когда он своим присутствием должен внушить людям, что победа уже в руках, хотя исход боя еще колеблется и достаточно незначительного

перевеса, чтобы одолеть врага, обнаружив ту точку, где противник ослабел именно в данный момент, Пугачев никогда не упускал такого момента.

И хотя кое-кому «позерство» Пугачева не нравилось, Петухов понимал, что в этом внешнем, показном — проявление глубоко рассчитанной комбатом своей тактики поведения в бою и руководства боем. И вовсе это не показное, не для начальства, — в этом проявляется уверенность Пугачева в своих командирах, а в том, что он вначале не вмешивался в их руководство своими подразделениями, выражается то необходимое доверие, без которого командиры не способны проявить свою собственную инициативу, смекалку.

С другой стороны, когда Пугачев в критический момент брал все на себя, это и было воплощением того высокого единоначалия и единоподчинения воле одного, которое не должно суетно на всех и всегда распространяться, а, как бережно хранимая, решающая и объединяющая сила, вступать полностью именно в решающий момент.

В перерывах между боями Пугачев уклонялся от того, чтобы делать солдатам замечания о всякого рода нарушениях, но строго спрашивал с командиров, обнаруживая при этом привередливую мелочность и даже строптивость.

Он говорил:

— У хорошего командира все солдаты хорошие. У плохого — он сам себе только хорош. За проступок солдата, если по правде говорить, надо взыскивать не только с самого солдата, а с его командира в первую очередь. — Повторял сердито: — Только у плохого командира солдат нехорош. Хороший командир не собой хвалится, а своим солдатом.

Вместе с тем Пугачев как-то щепетильно-затаенно относился к своей славе отважного, умелого командира.

И, когда старшие военачальники отмечали его лично, он выкидывал что-нибудь недозволенное.

Вручают орден. Поблагодарит по форме, потом нагло ухмыльнется, спросит:

— Это что, один на всех? Разрешите тогда носить его всем бойцам моего батальона поочередно.

Как-то на разбор удачно сложившегося боя своего батальона Пугачев явился в штаб дивизии в сопровождении сержанта Лазарева — командира противотанкового орудия. Когда дали слово Пугачеву, он приказал Лазареву:

— Доложи. — И пояснил: — Сержант Лазарев три танка подбил лично. Этим бой и выиграли. А я в бинокль глядел — как зритель!

За все эти выходки Пугачев кое у кого из военачальников более чем не пользовался почетом. Но комдив Лядов, хотя и неоднократно взыскивал с него за подобное, угадал в нем для многих еще скрытое дарование, заметив искры командирского таланта, искусство смело находить и применять всегда новые приемы боя именно в тот момент, когда они решали исход. И он, неведомо для Пугачева, поддерживал его вопреки мнению некоторых военачальников.

И у Петухова на всю жизнь остались в памяти сердца слова Пугачева:

— Я старше тебя по званию и должности, и ты мне подчиненный, так же как в твоей роте все тебе подчиняются. Но как ты от бойцов своей роты зависим, так и я от тебя, старший командир, завишу. Какие у нас люди, такие и мы. Оторвешься от такого сознания, припишешь хоть чуть себе лично от бойцов геройство, как командиру тебе крышка. Не ты людей собой возвышаешь, а они тебя собой возвышают. Наше дело содействовать во всем их возвышению, тогда ты как командир на высоте. Значит, на виду у всех, со всех сторон, во всем заметен! Для примера, допустим, пуговица у тебя одна на гимнастерке не застегнута, а у бойца заметишь — вся грудь нараспашку. Станешь замечание делать, а он на твою пуговицу смотрит. И не уважает. Так во всем может быть. Поэтому и сказал тебе про пуговку, что такое для нас, командиров, опасно — и, с ухмылкой протянув руку, застегнул клапан кармашка на гимнастерке Петухова. А потом все же опустил глаза и опасливо осмотрел и свою гимнастерку.

Может, в этом стыдно и неловко признаться, но на фронте Петухов при всем другом главном для него с Соней хоть и втайне, но снисходительно сознавал свое превосходство в том, что, кроме всего прочего, он все-таки офицер, а она — рядовой боец второго эшелона. Он каждодневно подвергается смертельной опасности, а она — нет. И во время каждого боя она о нем тревожится, а не он о ней. И в словах ее любви к нему всегда была доля волнения за него и гордость им, когда он отличался в бою.

И сама смерть уже не казалась ему такой страшной. И в бою он уже думал не только о том, как видят его сол-

даты, а как бы чувствовал присутствие Сони. Старался позаметнее выделиться там, где всего опаснее, хотя не всегда в этом была строгая необходимость. Но в расчете, что кто-нибудь об этом скажет Соне, он стал, как пренебрежительно говорил Пугачев, «выпендриваться». И когда Соня потом жалобно упрекала его, что он, не щадя себя, не щадит ее саму, он выслушивал такие слова с удовольствием, видя в этом душевную зависимость Сони от него.

После войны все это отпало, исчезло. Петухов должен был как бы заново, с нуля, начинать обосновывать соотношение своего «я» с Сониным. И тут все было уже не так ясно и просто, как на фронте. Понадобилось выучиваться в мирной жизни тому, от чего на фронте он был избавлен, и он был совсем не осведомлен, что нужно для жизни вдвоем и без чего она может не получиться.

Убедившись в бытовой беспомощности Петухова и даже растерянности, Соня властно взялась за их жизнеустройство, обнаружив в этом волю, ум, энергию, сноровку.

Петухов стал ее подчиненным, причем малоспособным.

— Тебя твоя мать избаловала! — упрекала Соня. — Ничего не умеешь!

Поскольку это было справедливо, Петухов покорялся приказаниям Сони, чувствуя в ее семейных заботах нечто такое, что нисходило на него раньше, дома, от матери.

И в любви к Соне у него прибавилось такое, что испытывал благоговейно к своей матери.

И Соня, оставаясь Соней, приобрела новое во власти над ним, более глубокое, сильное, цельное, безраздельное: она вобрала его в свою жизнь, ставшую его жизнью, в той поглощающей полноте, когда сознание его все более наполнялось тем, что было присуще и Сониному самосознанию.

Все более проницательно и полно узнавая друг друга, дивясь своим открытиям, радуясь, а иногда и огорчаясь ими, они познавали в себе то, что доселе для них самих было скрыто или казалось незначительным, но в совместной жизни оказалось очень важным.

Они прилаживались друг к другу своими характерами, вкусами не бесконфликтно, но взгляды и привычки у них давно были общие.

Человек уверен в том, что он сам лично пережил.

Познания заводской техники у Петухова были еще весьма ограничены. Но, беседуя с фронтовиками, он уловил то, что жило и в его мыслях.

В последние годы войны армия получала не только все больше и больше техники. Но и техника эта становилась все лучше, совершеннее, мощнее.

Что касается бронетанковых сил, авиации, то с получением новых, все более совершенных образцов экипажам надо было периодически проходить вроде бы курсы повышения квалификации, чтобы полностью овладеть новшествами.

Техника мощно и всесторонне вторгалась в армию.

Хромированные каналы стволов стрелкового оружия значительно облегчали их чистку после боя.

Электроминоискатели вместо шомпольных щупов позволяли быстрее, легче и на большей площади за меньшее время обезвреживать минные полосы. С помощью сложных звукометрических и радиометрических устройств стало возможным мгновенно засекать орудийные позиции противника.

На высокий уровень поднялась инженерная обеспеченность войск.

Вся армия встала на колеса. Маневренность обрела такую скорость, что целые соединения перемещались за день на такие расстояния, преодолеть которые раньше можно было лишь за многие сутки пути. Плотность огня достигла такой мощи, что после артиллерийского и авиационного наступления пехота передвигалась по развалинам, по горячей взрытой земле, усеянной осколками, так что казалось — люди идут по земле, покрытой металлической раскаленной щебенкой.

И всю эту совершенную технику давал тыл неимоверным трудом, равным воинскому подвигу.

Но тот самый оборонный завод, который в изобилии производил высокую военную технику, переключившись на мирную, выпускал ее нынче такую же, какой она была до войны. И они, бывшие фронтовики, участвуя в ее производстве, зная по войне, как превосходство в технике решает исход боя, давали сейчас стране продукцию не лучшую, чем до войны.

Конечно, станки износились, квалифицированных рабо-

чих не хватало, завод перестраивался на мирную продукцию, и многим приходилось переучиваться, а другим вообще надо было еще овладевать рабочей профессией.

Когда люди работали, чтобы победить в войне, их самоотверженность и одержимость, пренебрежение своими горестями, бедами, трудностями не знали предела. И это было самой высокой и повелительной мерой отношения человека к человеку.

Сейчас же к трудовому подвигу должно было взывать иное, то, что может тоже высоко поднять трудовое рвение людей. Но о том, что́ это должно быть, бывшие фронтовики высказываться стеснялись. И, конечно, Петухов тоже.

Мирная жизнь казалась ему прекрасной!

Прежде всего потому, что никто никого не убивает. Что касается быта — скажем, жилья, — то тем, кто жил столько времени в окопах, в землянках, общежитие и койка в нем — чертог и шикарное ложе. Обмундирование не изношено, значит, и еще можно в нем походить. Семейным возвращение отца, сына, брата с фронта — высшее счастье, радость, перед которыми меркнут все жизненные лишения. Питание? Вещснабжение? Так все по карточкам, пайки почти как по армейской норме. Жить можно!

Поэтому бывшим фронтовикам было неловко говорить о послевоенной трудности жизни.

А то, что на заводе некоторые стали слабее работать и уже не та дисциплина, относили к неумелости гражданской администрации твердо, властно командовать. Но вместе с тем не поддерживали тех, кто по методу вчерашнего дня грозно отдавал приказы, щедр был на взыскания, скуп на похвалы, сообразуясь только с сегодняшним днем и не чуя, каков он должен быть, день завтрашний.

К сожалению, и секретарь обкома Камиль Нуралиев, хотя и любил говорить: «Партийная работа — это люди», вынужден был преимущественно заниматься всеми хозяйственными, промышленными делами в таком объеме, словно работал по совместительству содиректором множества предприятий и отвечал, как тогда водилось, наравне с директорами больше за их производственные планы, чем за жизнеустройство, настроение коллективов людей, выполняющих или не выполняющих эти планы.

Глухов высоко чтил партийную организацию своего завода за то, что она всегда выручала его, и он все больше беззастенчиво пользовался ее силой, взваливая на нее зна-

чительную часть того бремени, которое должны нести хозяйственники, администраторы, отнимая у партийной организации время и силы от работы с людьми, прося, например, чтобы коммунисты взяли на себя заботу о хорошем освещении рабочих мест, но забывая то, что коммунисты должны освещать людям и все рабочее пространство страны, чтобы все всегда ясно чувствовали, понимали, как их работа сливается со всеми деяниями народа, направленными на всеобщую цель, и что, кроме дня текущего, есть еще и день грядущий.

А между тем историческое самосознание людей-победителей, потребности их духа и жизни властно жаждали начертаний дня грядущего и точной меры исторической весомости дня текущего.

Трудности завода были общепонятны. Солдату, вернувшемуся с фронта, нужно было и в труде себя показать по прежней своей специальности, и семье дома жизнь наладить, то есть делать то, чем занималась сейчас вся страна.

Но некоторые администраторы неохотно расставались с упрощенными способами управления военных лет, подобными армейским, целесообразными для военного времени и не отвечающими задачам послевоенного.

Получить приказ свыше и отдать приказ о его выполнении вовсе не означает, что только таким способом можно его выполнить.

Директор завода Алексей Сидорович Глухов, если так можно выразиться, метался сегодня между днем вчерашним и днем завтрашним.

С одной стороны, ему не хотелось расставаться с привычно сложившимися методами руководства: не случайно же ему дали звание генерал-майор. С другой стороны, он начинал чувствовать, что пьедестал, воздвигнутый ему в годы войны, сейчас не служит средством возвышения над людьми.

Но люди сознавали историческую весомость текущего дня, то есть то, что все они сейчас, как и Советская Армия, принесшая освобождение странам Европы и Азии, совершают такой же подвиг своим трудом, способствуя становлению там социалистического строя, и, значит, соучаствуют в революционном преобразовании, как прежде отцы, деды участвовали в революционном преобразовании на одной шестой ее территории, свершив Великую Октябрьскую социалистическую революцию.

И ныне наша страна обретает социалистическое брат-

ство многих стран мира. Значит, наша победа в войне ознаменовалась и победой свободы, справедливости в ряде стран мира. И благодаря трудовой помощи нашей страны этим странам капитализм отбрасывается подальше на запад с освоенной им арены.

Поэтому подвиг советского рабочего класса, крестьянства не только в том, чтобы в короткие сроки восстановить все разрушенное войной на своей земле, но также и в том, чтобы помочь в этом своим новым братьям по социализму.

И если в первые годы Советской власти империалистические страны пытались задушить нашу революцию интервенцией, так и теперь они будут пытаться задушить новый строй в странах, ставших на путь социализма.

И если б не наша непреоборимая военная мощь, империалисты сразу же попытались бы это сделать. Значит, нужен такой трудовой подвиг, чтобы наша страна быстрейшим образом приобрела новое всесилие, нацеленное на благо людей.

Наш народ-победитель готов был перетерпеть свои собственные нужды, но, как всегда, во имя ясных и великих целей.

И он сознавал эти цели.

31

После фронта условия жизни, в которых оказались Петуховы, казались им исключительно благополучными и благоприятными. В армии они привыкли всегда и везде быть со всеми. Покидая армию, вначале пугались своего одиночества в штатской жизни. Но, оставшись вдвоем, открывали друг в друге новое, неизведанное, все более привлекательное и неожиданное; и им иногда казалось, что их не двое, а много — они сами, но все время разные, потому что все время обнаруживали друг в друге различные грани характеров, оттенки чувств и множество всяческих мыслей по существенному поводу и без всяких поводов, мыслей, в которых важно и интересно было разбираться.

И поскольку их взгляды, вкусы, опыт жизни сложились на фронте, все, ныне окружающее их, они соотносили с прежней своей фронтовой жизнью.

Поэтому частенько многотрудности послевоенной жизни ускользали от их понимания.

Теперь Петухов никем не командовал, а как в армии начал путь с рядового, необученного, так и здесь, на заводе. И если на фронте последние годы чувствовал себя вполне зрелым, многоопытным и дольше других прожившим, то на заводе он как бы вернулся к своему послешкольному положению. Надо было самостоятельно осваивать жизнь и находить в ней свое место, в то время как заводские, те, кто моложе его, уже занимали прочные командные места.

В армии для того, чтобы тебя приметили, достаточно первого боя, ибо в бою человек выявляется полностью.

Повседневность рабочего труда, постижение всех его тонкостей требуют от человека терпеливого, тщательного, последовательного накопления опыта, овладения не только рабочими приемами, навыками, знаниями, но и своей волей, вниманием, душевным настроем, чтобы затем обрести свободную увлеченность своим трудом и со временем так овладеть им, чтобы самому властно вносить в способы и приемы труда от себя нечто новое, первооткрытое.

Именно тогда человек в неизменном звании рабочего обретает почтительность к себе, громкое имя, целые рабочие дивизии последователей своего мастерства, приемы которого называются по всей стране его именем.

С благословения и при опеке Золотухина Петухов получил разрешение несколько увеличить режим резания при обработке втулки. И чтобы дать возможность Петухову «насобачиться», как выразился Золотухин, на этой простейшей детали, он забрал у других наряды на нее и отдал их Петухову, вручив ему запас своих резцов, самолично заточенных, и подготовив для этого весь инструментарий, положенный Петухову, а также дал несколько своих хитроумных оправок, значительно облегчавших и ускорявших операции по смене инструмента.

И получилось так, что Петухов своим усердием не только оправдал доверие Золотухина. В конце одной из смен вдруг обнаружилось, что он за смену выполнил два плановых задания. Поскольку завод не всегда укладывался в план по производству продукции, это, конечно, волновало и удручало всех. Хотя втулки и не лимитировали производства и их имелся изрядный запас, директор завода, исходя, как он выразился, из принципиальных соображений, придал данному факту не только общезаводское значение.

Выходя из цеха, Петухов ошеломленно увидел свою увеличенную до огромных размеров физиономию на фотографии, вывешенной на заводской Доске почета. Затем о нем напечатали в многотиражке, а вслед за ней в городской и областной газетах. К нему стали обращаться с просьбами поделиться своим новаторским опытом. Его фамилию стали называть, когда избирался состав президиума разного рода собраний.

Петухов вначале совестился всего этого, говорил Золотухину, конфузясь:

— Ну чего они, в самом деле? Это же все не мое, а от вас нахватал — ваше!

На что Золотухин отвечал пренебрежительно:

— Ты меня со втулками не касайся и даже не упоминай. Шимпанзе за сахар такому обучить можно, не то что человека. — Советовал: — А ты пока терпи — воодушевляйся! Овладевай простой работой, на ней постепенно набирайся ума на более ответственную заготовку. Это тебе пока все равно: будто в лес с ружьем пошел, а вместо зверя и дичи в лукошко грибы собираешь. Пока ружьем не овладел, грибы брать тоже правильно и полезно.

Соня сказала сияя:

— Я уже думаю, не пойти ли нам с тобой снова в загс?

— Это зачем? — встревожился Петухов.

— Ну, когда мы с тобой регистрировались, я свою фамилию оставила, думала — «Петухова» смешно звучит. А сейчас: «Петухов! Петухов! Выдающийся ударник! Заводская слава!» — Добавила смущенно: — Даже в клубе: узнали, что я Петухова, сменили билет на первый ряд, где все лучшие сидят.

Прижимаясь, водя своими теплыми губами по его лицу, с полузакрытыми глазами, с манящими тенями от ресниц, она говорила шепотом:

— Я так рада! Ты теперь снова не просто так, а как раньше — лейтенант, а я самая рядовая, и ты меня любишь, хоть я и рядовая.

Петухов спросил обеспокоенно:

— Так ты что?.. И на фронте только за то, что я лейтенант был? За это?

— Когда я не жена была, кто ты был, не имело значения, а вот жена — это совсем другое. Все, что в тебе есть, мое тоже. Понимаешь?

Но когда Соня пытливо и увлеченно расспрашивала,

как он сумел работать лучше всех, Петухов мямлил, бормотал неопределенно и невнятно.

И Соня воспринимала это как проявление скромности, застенчивости — не говорить о пережитом, сокровенном, как это бывало на фронте, после боя, когда он уклонялся рассказывать о перенесенном им лично, но охотно хвалился своими бойцами.

Но вот получилось так, что обработанных Петуховым втулок хватило для многомесячного запаса, и больше нарядов на них не поступило.

Золотухин дал Петухову другие заготовки, более усложненной конфигурации, сообщил с удовольствием:

— Ну, Григорий, теперь шевели мозгой! Штуковина хоть с малой загадкой, но все-таки для работы приятная.

Петухов с трудом вытянул за смену норму, а две заготовки запорол. И дальше у него шло не лучше.

Известно, что изготовить деталь в абсолютно точном соответствии с чертежом практически невозможно. Точность ее изготовления характеризуется тем, насколько каждый действительный размер отличается от расчетного размера. Поэтому существуют нормы допустимых отклонений действительных размеров деталей от указанных на чертеже, при которых обеспечиваются взаимозаменяемость и нормальная работа деталей в машине. В пределах этих допустимых отклонений и надо изготовлять детали.

Значит, точность их обработки в какой-то степени бывает выше или ниже по приближении к расчетной.

ОТК принимает, завод оплачивает изготовленную деталь в пределах допустимых норм. Но в тонкости и точности ее обработки и выражается в высшей степени не только мастерство ее изготовившего, но и все высокие духовные, нравственные качества, присущие ее создателю.

И в степени приближения к недосягаемому абсолюту точности явственно выступает бескорыстие, воодушевление своим трудом человека, покоряющего самое изощренно сложное, трудное и рискованное не для заработка, а во имя торжества рабочего искусства и даже упоения им.

Вообще же, когда в сборочном цехе обнаруживался дефицит какой-нибудь детали и начиналась за ней гонка, ОТК ослаблял к ней свою требовательность, и сборщики, в интересах дела, брали на себя ее доводку, подгонку и даже сами дополнительно обрабатывали ее, до-

водя параметры до должного типа-размера. В такой обстановке не осуждали, что изготовлены эти детали в пределах низших норм точности, а не высших.

Поэтому Петухов не слышал ни от кого укоризненных слов.

Обрабатываемая им деталь была дефицитной, и он избавлялся этим от риска в последних проходках резцом приближаться к той границе, за малейшим пределом которой деталь могла оказаться запоротой.

И если на фронте он прочно научился преодолевать боязнь, трусость, то здесь, у станка, испытывал и то и другое по мере того, как резец приближался к заповедной поверхности, за тончайшими пределами которой таилось его поражение — брак.

У Петухова от волнения потели ноги, багровели уши и, самое скверное, увлажнялись руки. Мерный инструмент скользил в пальцах, а риски на нем зловеще предупреждали о той опасности, которой он подвергает деталь, приближаясь к еще далекому и непостижимому абсолюту точности, недосягаемому для его рук.

Хотя Петухов и сошел со своих высоких показателей на втулках, он одержимо пытался достичь хороших показателей на новой, несколько усложненной детали. И пока в ней был дефицит, справлялся с нормативами, не отставал. Но уходил после работы обессиленный не тяжестью ее, а своим нервозным перенапряжением, сопровождаемым изнуряющим страхом и волнением — как бы не запороть деталь — и чувством неудовлетворенности от своей работы. Отчетливо сознавая, что преодолеть барьер на пути к высокой точности ему пока невмоготу.

Золотухин, чутко понимая душевное состояние своего подопечного, говорил так, словно такому его состоянию радовался:

— Это в тебе, Григорий, рабочая косточка лезет, как зуб мудрости. Вначале болит, но что это означает? Зрелость! Сознаешь: не на ОТК работаешь. Он-то пропустит. Но своя совесть строже! Значит, доходит! На себя работаешь. На удовольствие, чтобы достичь того, что и по учебнику считается недостижимым! Отсюда льгота — допуски. А если ты их преодолел? Что значит? Высоту взял! Машине долголетие обеспечил. Во всех случаях детали, тобой сработанной, нет износу. Значит, твоя работа дольше других живет в этой самой детали.

Качественный человек чем приятный? Он, конечно,

своей работой болеет. Сам болеет. Но другим от его труда удовольствие! Болеть от расстройства плохой вещью не будут. Вот как оно получается, если по всей дальности рассуждать. Хорошо сработанное изделие всех людей воспитывает. Тянет других хорошо самим работать, а плохое на плохой труд поощряет. Прощает им их плохой труд. Вред от плохого изделия большой. Развращает людей, я так прямо заявляю. Губит в людях уважение к труду и на свой труд с малой меркой смотреть позволяет. И нет такого рубля, чтобы им измерить, где ты от себя ту стружку снял, которая тебя самого к самому недосягаемому приблизила.

Признался доверительно:

— Когда меня впервые поставили на обработку канала ствола скорострельного авиационного орудия, я стопками валерьянку пил, успокоительные порошки в медпункте выпросил. Сплю дома, а канал ствола снится. Будто он весь от моей фрезы в бороздах и я в него, как лилипут, влез и воровато шабровкой борозды снимаю, а наверху, как на заводской трубе, люди стоят и на меня сверху с презрением взирают.

Переживал? А как же без этого? Начинал свою жизнь, как и ты, со втулки, а до чего дошел — до самого высшего, нарезки канала орудийного ствола. Это, если считать по-рабочему, вершина — значит, достиг! А вот дают новую заготовку и не так, чтобы очень сверхсложную, всегда волнуюсь, чтобы поинтересней ее сработать, половчее, по-новому. Я биографию одного актера читал: признается, тысячу раз выходит на публику, а все равно волнуется, переживает. А мы не на публику выходим, а на весь народ. Как же не переживать такое? Пошибче, чем этот артист, переживаем. Только ему сразу в ладошки хлопают, а мы чем обходимся? Признал тебя коллектив, доверяет, значит, самые понимающие тебя ценят, а не просто публика, которая не все тонкости в актерском деле смыслит, а все равно хлопает, особо если у артиста имя громкое...

Соня пытливо заметила происшедшую в Петухове перемену. Он стал как бы стесняться, когда она расспрашивала его о работе. Портрет Петухова, однако, не снимали с Доски почета, но не по забывчивости. Неоднократно Глухов сердито и раздраженно упрекал руководителей цеха в том, что они не умеют и якобы не хотят создать должную обстановку для передовика.

— Это даже политическое недомыслие! — гневался Глухов. — На заводе трудности. Была возможность примером доказать: нет таких трудностей, которых бы не мог преодолеть передовик труда!

— Он по своему разряду потолка только на втулках достиг, на новой детали едва тянет.

— Упрощаете вопрос! — рассердился директор. — Не успели ударника поднять, как мы его в глазах общественности роняем. В интересах завода, чтобы передовик был передовиком, примером! Прошу вас этим руководствоваться и доложить мне лично, какими оргмероприятиями можно обеспечить труд рабочего, имя которого стало известно и за пределами завода.

Соня чутко и страдальчески улавливала тревожное беспокойство в бегающих глазах Петухова, когда она заговаривала с ним о заводских делах, и то, что он стал плохо спать, сторониться Саида Нугманова, когда тот сообщал ему радостно, как его бригада одолевает скоростные тяжеловесные плавки по методу, заимствованному из опыта сталеплавильщиков Магнитки.

И когда Соня однажды сказала, что, соскучившись, специально идет на заводской двор, чтобы посмотреть на портрет Петухова на Доске почета, он ответил ей резко и брюзгливо:

— Значит, тебе только мой парадный портрет нравится, а не обычная моя физиономия, какой я есть на самом деле?

И в ответ на скорбное восклицание Сони понуро признался, как ему сейчас трудно.

— Понимаешь, — сипло говорил Петухов, — зашел в сборочный, а там мои детали доводят до норматива. Никто не говорил, не упрекал, а вот получается, вроде я их тайный иждивенец, что ли. А мастер их даже похвалил. «Молодец, — говорит. — Фронтовик, опыта у тебя нет, а справляешься».

— Откуда он знает, что ты фронтовик?

— Так газета... — промямлил Петухов. — Пришел из редакции парень. Чего ему про втулки рассказывать? «Ремесленники, — говорю, — не хуже выполняют, работа простая, ума большого не требует». Ну он спросил про войну, я думал, для своего личного интереса. А он все это в газету, да со всякими словами красивыми! Прочел, так неловко себя чувствовал, будто своровал.

— Так там все правда, — заметила Соня.

— Нет, не правда! — возмутился Петухов. — Получается, будто я один такой, а не все. Из моей же роты были получше, а он ни Лазарева, ни Сковородкина, ни Атыка Кегамова не упомянул. Вот и вышла брехня, самохвальство. — Сказал потерянно и жалобно: — Но ведь я такого не хотел.

— Знаю, — сказала Соня. — Я тебя такого, какой ты есть на самом деле, на фронте полюбила и сейчас люблю, и лучше всех я тебя знаю, какой ты вовсе не хвастливый, а даже очень правдивый.

— А ты больше меня правдивая. Я иногда не решаюсь тебе какую-нибудь нехорошую правду о себе сказать, — признался Петухов, — а ты всегда о себе говоришь мне все сразу.

— Чего же мне бояться? — рассудительно заявила Соня. — Мне даже нравится: я скажу о себе плохое, а ты радуешься, что я тебе такое без твоего спроса скажу. Тогда никаких тайн у нас с тобой друг о друге нет. — Произнесла даже вызывающе: — Когда ничего про себя не стыдишься сказать, как самой себе, тебе признаюсь, и даже получается, что от этого ты мне еще ближе, что ты такой единственный, который про меня все знает, что я сама знаю, переживаю, чувствую. — Сказала задумчиво: — Я даже не думала, какой откровенной с тобой стану. — Спросила тревожно: — А может, это неправильно, что я такая сейчас? И ты все плохое во мне запомнишь, а хорошее во мне когда-нибудь позабудешь?

— Нет уж! — возразил Петухов решительно. — Если по-честному, так вот это в тебе такое, что, может быть, превыше всего! — Помолчал, буркнул: — И самое в тебе красивое.

— Значит, сама по себе я тебе уже не очень? — лукаво осведомилась Соня.

32

Однажды, когда Петухов пришел в цех, начальник пролета отвел его к новому станку-полуавтомату, предназначенному для обработки сложных деталей. Сказал: «Вот, осваивай».

Несколько дней он сам обучал Петухова обращению со сложным станком. Но когда Петухов смог самостоятельно справляться, ему дали чугунные муфты, по простоте обработки не отличающиеся от втулок.

В этот станок можно было закладывать для одновременной проходки сразу несколько таких муфт, и Петухов снова начал превышать нормы, существовавшие для таких деталей на обычных станках. И снова его имя зашумело. На его примере начали призывать, указывать, как надо работать и перевыполнять нормы.

Золотухин ни разу не подошел к Петухову, когда он работал за этим станком, и вообще стал избегать его.

Станок был оборудован различными контрольными автоматическими устройствами, в том числе мерительными, поэтому Петухов быстро достиг и высокого класса точности обработки деталей. В институте преподаватели помогли ему разобраться во всех тонкостях механики станка, в его автоматике, и Петухов уже сознательно и безбоязненно переходил на предельные скоростные режимы, получив ко всему прочему набор самозатачивающихся резцов, созданных новатором, московским токарем-скоростником Павлом Быковым. Но когда Петухов просил дать ему наряд на более сложные детали, начальник пролета говорил:

— Обожди! Ты, может, станок и освоил, но ему надо дать время для обкатки, для притирки — для обживания, словом.

И поспешно отходил от Петухова.

И вот, когда его имя опять зашумело, Петухов стал ощущать вокруг себя какую-то пустоту в цехе. И хотя ему никто даже и намеком не высказывал причину такого от него отстранения, постепенно он понял, отчего это произошло.

Сначала он с горечью и обидой жаловался Соне, пытаясь объяснить это даже завистью. Но не встретил у Сони сочувствия. Она не спрашивала, а, как казалось Петухову, пытливо допрашивала его, грустно напоминала, что, когда рота получила первое противотанковое орудие с полуавтоматическим заряжающим устройством, он, Петухов, долго и тщательно выспрашивал огневиков, кого бы они сами считали подходящими для расчета к этому орудию. И когда все единодушно назвали Лазарева, он обрадовался, потому что сам так думал. И Лазарев, получив приказание командовать расчетом новой пушки, ска-

зал не как положено при этом: «Служу Советскому Союзу!», а обведя всех счастливыми глазами, объявил сдавленным от волнения голосом:

— Ну, спасибо за такую доверчивость ко мне. За то, что так наградили!

И все считали, что такое орудие артиллеристу равно высшей награде.

Петухов сказал тогда Лазареву:

— Ты не забудь на орудийный щит звезды перерисовать со старой пушки — сколько танков врага всего уничтожил.

— Зачем же? — обидчиво отозвался Лазарев. — То ее добыча. Зачем я с нее обирать, со старой, буду? Я на новую соберу еще и побольше. Она сама себя покажет!

И об этом напомнила сейчас Соня, не забыв, как Петухов тогда радовался Лазареву, его бойцовской высокой щепетильной чести.

Соня, потупив глаза, словно пряча их от Петухова, вполголоса сказала:

— Если станок такой уж очень хороший, значит, им тоже награждают за что-нибудь особенное. А ты сам говорил — муфты обрабатываешь, а они вроде втулок. Значит, это все равно что из противотанкового орудия по пехоте кумулятивным снарядом стрелять. Неправильно!

Она подняла глаза, посмотрела пристально на Петухова, спросила сочувственно:

— Может, тут какая-нибудь неправда есть? Ты вдумайся! Я знаю, ты, как больной сейчас, переживаешь. Мы ведь неправды между собой не боимся, зачем же перед другими ее бояться?

— Отказаться, значит? — спросил Петухов.

— Если уверен — полноправно дали, тогда не надо. Сомневаешься — откажись!..

— Ты же новую технику компрометируешь, — упрекнул начальник цеха, — движение скоростников мараешь. Как люди тебя поймут?

— Поймут правильно, — сказал Петухов.

— Ну-ну, валяй в самоотставку!

И поставил Петухова к старому, изношенному станку, назначенному к списанию.

Петухов промучился на нем всю смену, не выполнив нормы. Но когда он пришел на следующий день, то увидел, что за его станком копошатся Золотухин и Зубриков. Они прогнали наладчика и собственноручно занялись наладкой станка.

И когда Петухов стал работать, Золотухин и Зубриков частенько подходили к нему, давали советы с той прежней своей озабоченностью о нем, какой он давно не чувствовал от них. И снова они, как прежде, говорили с ним о самом сокровенном, что постигли в своем труде, и уже не как старшие с младшим, а как с равным себе, понимающим душой все тонкости дела, которые доступны только тому, кто способен постигать их, эти тонкости, как самую главную цель своей жизни, как призвание, как радость открытия тайн мастерства.

Петухов приходил теперь домой бодрый, хотя его портрет и убрали с Доски почета. Но высшей радостью для него в эти дни было то, что из цеха сборки пришел мастер и сказал:

— Вот что, Петухов, признаюсь тебе. Приволокли после тебя детали. Ну, я говорю, как всегда, ребятам: «Замеряй!» Стали замерять, а это вовсе и не требовалось. Все тютелька в тютельку, без доводки, притирки, как птенчики в гнезде, в полном аккурате вмещаются. — Твердо пожал руку, произнес почтительно: — Спасибо за внимательность к нам. — Развел руками. — А то сам знаешь: шабришь-шабришь, а дело стоит. Не сборка получается, а одна доводка. Бежать в механический с вами, станочниками, ругаться, время на такое тратить жалко. Все внутри кипит, но собственноручно дотягиваешь до законного параметра. А вот когда деталь сама ложится, словно ее магнитом в положенное ей место из твоих рук втягивает, настрой души — хоть пой, хоть пляши. Не работа — музыка! Все как по нотам получается!..

Директор вызвал к себе Петухова, посмотрел на него щурясь, словно сквозь прицельную рамку, спросил:

— Ну?

Петухов молчал, ожидая дальнейшего.

— Все вы народ штучный, — сказал со вздохом директор, — экземпляры! — Махнул сердито рукой, не давая ответить. — Таких, как ты, на заводе больше чем поло-

вина. Вот и надо им внушить надежду, уверенность на твоем примере! Схитрил, думаешь? Ну и схитрил! Конечно, такие, как Золотухин, Зубриков, все могут! Но это же уникумы, профессора своего дела! Какое же движение на их примере может получиться, раз они — уникумы? Не будет массовости. Это все равно что чемпиона мира привести на заводской стадион и сказать нашим физкультурникам: «Вот вам! Делайте теперь все как он! И все у вас получится!» — Пожевал губами. — Хоть ты меня и подвел, но факт получился, в общем, полезный для воспитательных целей. Выходит, я садминистрировал. И осекся! — Спросил сердито: — Чего молчишь?

— А я с вами согласен, — сказал, защищаясь добродушной улыбкой, Петухов.

33

Дома Соня сказала озабоченно:

— Золотухины нас на вечеринку позвали. Брюки твои глаженые на столе лежат, не трогай. Я чемодан на попá поставила, на нем поешь. Только смотри немного, в гости же пойдем.

Соня, чтобы не мять новое платье, ходила по комнате в одних трусах и лифчике, но уже причесанная, напудренная, наодеколоненная.

Петухов осторожно поцеловал Соню сначала в шею, где у нее виднелся белесый шрам, потом в щеку, но, когда он стал искать губами ее губы, она только вздрогнула, попросила жалобно и покорно гаснущим голосом:

— Не приставай!

Вдруг рассердилась и сильно отшлепала его по рукам.

Когда Соня стала завязывать на Петухове галстук, он закрыл глаза и принял позу как бы приговоренного к казни через повешение. Открыл глаза, оглядел Соню, сказал огорченно:

— Не платье на тебе, а просто как купальный костюм, все заметно!

Соня усмехнулась и ничего не ответила.

— Интересно, — сказал Петухов, — почему ты, уходя из дому, пудришься, а приходя домой, не пудришься,

если считаешь — напудренная лучше? Так почему для меня не пудришься?

— Ты у меня умненький, — сказала Соня. — Все глубоко осмысливаешь!

Глядя на туфли на высоких каблуках, красиво и статно приподнявшие Соню, Петухов мрачно заметил:

— Тоже обманное приспособление. И чулки для чего такие? Чтобы конечности как голые выглядели?

Соня внимательно и недоверчиво разглядывала себя в зеркало, которое держала перед собой в левой руке, послюнявила палец, разгладила брови, облизнула подмазанные губы, чтобы помада легла ровно, и удовлетворенно сказала:

— Ну пошли, феодал!

— Идем, — покорно подчинился Петухов, стараясь не смотреть на Соню.

Она выглядела обольстительно, и Петухов всему на свете предпочел бы остаться с ней сейчас вдвоем дома.

Он плелся за ней по улице. И когда прохожие оглядывались на Соню, он тоже на них оглядывался свирепо.

Золотухин встречал гостей у калитки. Он был при полном параде, в орденах, в черной тройке, светлом галстуке. Кивая на красивую, несколько полноватую женщину со строгим, гордым лицом, говорил почтительно:

— Моя персональная супруга!

И та его осаживала:

— Тоже мне остряк!

Гости чопорно и благовоспитанно толпились подальше от накрытых во дворе столов.

От летней кухни доносились упоительные ароматы борща, шашлыка, плова.

Петухов сразу не узнавал заводских: приодетые, они выглядели все как высокое начальство.

Пожилой мастер сборочного цеха Голиков, бывший ленинградец, говорил степенно:

— А что Трумэн? Он их старую жвачку, как верблюд, жует и обратно отрыгивает. Президент Вудро Вильсон еще в 1902 году заявлял: Америка в силах управлять экономическими судьбами мира. А как начался мировой кризис, стали с небоскребов вниз башкой кидаться. Мало, что ли, безработных тогда приехало к нам работу искать? На «Большевике» я с американцами работал, рабочий человек он и есть рабочий.

— И я с немцами в это же время на Донбассе работал, а вот полезли же! — подхватил сталевар Гарбузов.

— В эту войну, — продолжал Голиков, приглаживая ладонью волосы, зачесанные поперек лысины, — не только фашистская Германия поражение потерпела, но и капитализм в целом, поскольку из его системы отпало столько стран.

— Значит, он теперь злее будет, — заявил Гарбузов.

— Не отрицаю, — вежливо согласился Голиков. — Поэтому такой курьез. Бывший наш союзник по войне бывших своих противников на войне обнадеживает, что они могут стать теперь его союзниками.

— А пока он их обирает, — ухмыльнулся Гарбузов.

— Государства побежденные — да! — сказал Голиков. — А частный капитал они не трогают. Тем более что у них со многими фирмами общий пай.

— Свой интернационал, значит.

— А как же — капиталистический.

Бывший летчик, фрезеровщик Алимов с лицом, слепленным, словно мозаика, из кусочков кожи, заявил раздраженно и гневно:

— Армия наша наступала по Европе — мы населенные пункты не бомбим, а союзники по заводским, по рабочим районам все свои бомбы сваливали!

— В этом и свой классовый расчет с рабочим классом! — сказал Голиков.

Поскольку разговор шел о том, о чем и так все знали, для разгона в веселье формовщик Бутиков, тоже фронтовик, спросил бодро:

— Вы лучше мне скажите: почему в цивилизованных странах крышки гробов на шурупах, а у нас на гвоздях? Это что — отсталость?

— Ну вот, еще не хватало, про покойников заговорил! — запротестовала супруга Бутикова.

— Тогда вот случай! — не смущаясь, продолжал Бутиков. — Поставили меня по ранению лагерь военнопленных сторожить. Комиссар нашего лагеря выявил и обличил пленного немецкого генерала в том, что тот скрывает свое звание и для такой маскировки поселился в солдатском бараке. Так что вы думаете? Генерал признался в обмане, но потребовал выплатить ему за все время разницу между содержанием генерала и солдата!

И все рассмеялись не столько по поводу рассказанного, сколько из понимания того, что Бутиков старается настроить гостей более легкомысленно, что и на дипломатических приемах воспринимается благосклонно, как находчивость собеседника.

Ах, какая это была ночь! Великолепная, в мягком и теплом мраке. Какая обширность самоосвещенного небесного пространства, благоустроенного луной и звездным миром, свидетельствующим о том, что, кроме нас самих, существует еще довольно-таки порядочная вселенная, где каждая планета для нас пока только приятный осветительный прибор.

И все эти бесчисленные планеты вселенной вращаются, движутся в бесконечном пространстве согласно строгим повелительным законам механики, открытым челове-

ком, законам, в которых разбирались собравшиеся здесь, во дворе, под звездным небом, люди, считавшие механику главной своей наукой, ибо они сами создавали разного рода механизмы, машины, расчеты движения, которые исходили из той же подчиненности законам механики, по которым работает и весь механизм вселенной.

Но сейчас вселенная служила лишь украшением небесного пространства, была его убранством, создавала своей красотой приятное настроение гостям Золотухина. Каждый из них любовался звездным чистым небом. Впрочем, в своих разговорах они озабоченно и деловито касались и тех вопросов, которые были и не совсем чужды «небесной механике».

Бутиков говорил убежденно, держа перед собой вытянутый указательный палец, словно свечу:

— А отчего раковины, пузырьки в металле и, значит, в литье — брак? — Заявил требовательно: — Вот ты мне металл в вакууме выдай, вроде из центрифуги герметической, подвергни его вращению, дай высокое давление при разливке, и я тебе за это выдам заготовки по расчетным параметрам, тютелька в тютельку. Никакой потом холодной обработки не потребуется, одна только нежная шлифовка, притирка на пасте.

Механизируй мне литейную, чтобы я свою толкушку выбросил и формы набивал, штамповал на станке. Чтобы я со своего места не сходил. Бункерами педалью командовал, сколько в какую форму отсыпать, и сушил струей из приспособленных шлангов. Вот брак и сгинет. И люди обнаружатся лишние в литейном, и у вас в механическом, и заготовка обретет повышенную точность согласно заказанной по чертежу. — Сказал обидчиво: — А то всегда на литейную кидаетесь, когда у нас еще первобытного труда много.

Проговорил сердито:

— Тут археологи обрадовались, раскопали стоянку дикого человека, а он оказался не дикий, а культурный, из бронзы литье производил. Но что мне обидно стало, — такую, как у меня самого, толкушку обнаружили для уплотнения набивки формы. Я их просил, археологов, чтобы подарили мне эту толкушку для срама, как критическую улику нам. Не дали, говорят — реликвия, историческая ценность. Я им говорю, мне нужно доказывать

для критики, ведь у меня подобные толкушки в цехе еще в полном ходу.

— Чего прибедняешься? У тебя же не ручная трамбовка, на сжатом воздухе работает, нажал — она как пулемет.

— На крупногабаритную деталь — вполне, на мелкие — как конь топчет. Тут должна быть штамповка механическая, без касательства руки. Нажал — готово!

— Руками шевелить неохота?

— А весь ум у человека отчего? — живо сказал Бутиков. — От этого самого: чем больше машине, приспособлению ума дать, тем рукам станет легче. Человек — существо соображающее, от этого мы все, после обезьяны, в люди вышли.

Петухов из братских чувств поддержал Бутикова как бывшего фронтовика.

— Вот почему по количеству живой силы состав нашей дивизии стал численно меньше дивизии противника, а по огневой мощи его превосходил? Все поэтому. Боевая техника получше, и побольше ее, чем у него. Скорострельность от автоматических устройств возросла — значит, из одного ствола за меньшее время большее количество снарядов.

— Опять про войну! — перебила Петухова молоденькая и кокетливая супруга Бутикова. — Хватит этих ужасов, дома о них от Петьки наслушалась.

— Никаких особых ужасов на фронте не было, — обижаясь, что его прервали, сказал Петухов. — Если бой правильно, дальновидно организован, все точно рассчитано, продумано, тогда и потери меньше.

Наладчик Гусев, учившийся вместе с Петуховым в заочном, значительно моложе его, но имеющий уже немало изобретений и множество осуществленных рацпредложений, по вечерам занимающийся в группе, которой руководил Клочков, сказал:

— В принципе уже сейчас возможно построить такую автоматическую линию, в которую вложил заготовку, и на выходе она выдаст готовое изделие и даже упакует его.

— Без ОТК?

— Мерительные приборы на каждой операции будут

свой контроль держать и саморегулировать станки, входящие в линию.

— А нас тогда куда?

— На курсы повышения квалификации!

— Так в чем дело? Давай такую линию.

— Это линия нашей технической политики, — наставительно заявил Гусев. — В эту сторону мы и идем.

— Вы в конструкторском сочиняете, — сердито сказал Бутиков, — а пока до литейной дойдете, меня в психбольницу отправят! Думаешь, как мы это переживаем? Станочник деталь всю смену обрабатывает, начнет к концу чистовую прогонку, бац — раковина! И он куда с такой заготовкой идет — к нам, в литейную. А мы не автоматы, люди — расстраиваемся! — Махнул рукой. — Выдали в механический сорокапятишпиндельный вертикально-сверлильный новый станок, заменил он вам четыреста универсальных, триста расточников высвободил. Вас, станочников, облагодетельствовали такой техникой. А нам за все про все — трамбовку... У нас в литейной молодежь не задерживается, а к вам в механический лезет. Увидят многошпиндельный агрегатный станок, на котором до ста операций можно одновременно производить, — обомлеют. А у нас и жара, и пыль, и все мы в саже.

— Иди в станочники!

— Нет уж! Без нас вы кто? Не дать вам литья, заготовок, веселые нищие вы — вот кто. Забыли, как мы вам из высококачественного чугуна заготовки выдавали, которые превосходили качеством даже кованую сталь? А какая с этого экономия стране, бережливость! Это вы как гнали металл в стружку, так и до сих пор его в стружку бросаете. И в патронном производстве черный металл и биметалл взамен латуни пошел, а кто наловчился? Мы, литейщики.

Голиков вмешался:

— Это что же, внутриклассовая борьба началась? Не по-марксистски это, а еще в гостях.

— Вот вы, товарищ Голиков, когда еще в дистрофиках по нашему заводу ходили, литейной обещали пресс-формами содействовать. А где они? — едко спросил Бутиков.

— Разбомбили эшелон с оборудованием.

Жена Бутикова ущипнула супруга за руку. Тот сердито обернулся, но тут же присмирел лицом, вспомнив, что в этом эшелоне с оборудованием погибла и семья Голикова.

За стол усаживались чинно, торжественно, неспешно, и каждый занимал место соответственно не служебному положению, а тому уважению, которым он пользовался в заводском коллективе по весьма многосложным своим человеческим достоинствам.

И когда прибыли Глухов и Клочков, их сначала наказали штрафной стопкой, а затем усадили, несколько потеснившись, но не во главе стола, где сидели Золотухин и его супруга.

После торжественного ритуала, тостов и первого насыщения стол зашумел и стал расчленяться на группы собеседников.

Зубриков кричал Глухову:

— Ты, Алексей Сидорович, поимей в виду, мы сейчас после войны не латаемся, а разбег берем. Но ведь что получается — оружие производили лучше, чем у немцев, — а уж каким мастером немец всегда почитался! — а вот перешли на мирную, народ обижается — не тот товар! Купил супруге туфли в гости ходить, надела — гвозди торчат, стельки — клеенка отстает, футер — ветошь. Разве так можно?

— У меня не сапожная фабрика, а завод машиностроительный, — отрезал Глухов. — Слова не по адресу!

— А на тебя колхозы обижаются, рекламации пишут. С ботинком и потерпеть можно, а с машиной плохой и закусить нечем будет — без хлеба.

— Материальное снабжение отстает!

— Во время войны ты сразу на всех, кто подводит, через вертушку кидался, на самый верх. А теперь в руки ее брать боишься — как бы самого не взгрели!

— А ты бы на моем месте посидел! — огрызнулся Глухов. — Тогда бы и говорил.

— А ты бы на моем попробовал! — парировал Зубриков. — Жду заготовку, а ее нет. Простаиваю!

— Металл всей стране нужен, не хватает!

— А если я ответственную деталь не из той марки стали точу, это как назвать? На износ ее давать?

— Трудность временная!

— Нет, — кричал Зубриков, — ты от меня не отвертишься! Ничего временного не должно быть. Было такое — Временное правительство, так мы его в семнадцатом году погнали. Наша власть на все времена установилась, и никаких при ней времянок нет и быть не должно, и каждое изделие должно свою полную прочность и долговечность иметь.

— Из твоих золотых рук так всегда и бывает, — примирительно сказал Глухов, вытирая пот с лица.

Бутиков, склонившись к Клочкову, говорил наставительно:

— Вы, Игнатий Степанович, для всех нас должны быть как самодержец в смысле науки. От вас указ исходит, и вы должны машину назначать на новое ее царство, чтобы она самоуправлялась, как Гусев тут хвастал, что она может самостоятельно управляться посредством автоматов. Вы ее бесстрашно придумывайте, а мы с ней сладим, будьте уверены. Я на фронт кем пошел? Рядовым, необученным, а кем вышел? Командовал реактивной установкой «катюшей».

— Чего тебе? — отозвалась жена Бутикова.

— Видали? — улыбнулся Бутиков. — И жену себе взял только из-за ее имени!

— Ну чего врешь? — перебила жена. — Ты меня своей вежливостью сразил. Только из-за этого за тебя вышла. Майор сватался, а не такой младший, как ты.

— Женщины! — печально произнес Бутиков. — Они в погонах разбираются, а не в людях. Майор-то был интендантской службы!

Махоткина говорила Соне:

— Сватается тут один, из моего же цеха. Давно сватается, даже похудел с тоски по мне. И понимаю, что вдвоем и лучше, и легче жить, и женское во мне тоже еще не усохло. Но приду домой, вижу, как ребята мои меня обожают, и понимаю за что: за то, что я покойному верная! И вся к тому, этому самому, который сватается, холодею. Дети-то у меня — радость, и не хулиганы, и учатся хорошо, и на заводе с честью работают. Старшего, как на Доску почета два года назад вывесили стриженого, так он и до сих пор таким висит. А сейчас у него прическа, девчата заглядываются. А на Почетной до-

ске — стриженый. Матери он завсегда милый, а посторонний взглянет: нехорошо, как детдомовский выглядит.

— Они чего, не соображают? — кричал Бутиков. — На кого бомбой своей замахиваются? Чего они в войне понимают? Прижали их фрицы в Арденнах, завопили: спасай и выручай. Нас никоим образом трогать нельзя. Кого пугают? Да у нас санинструкторша нашла мину, а чека в ударнике проржавела, дохни на нее — развалится и ахнет. Так она спокойненько из прически шпильку вынула, ударник двумя пальцами попридержала и вместо чеки шпильку вставила. Видали! Какой народ от войны — без страха стал! И уж ежели чего, так я, как специалист на реактивной установке, прямо скажу...

— А ты не болтай лишнего! — посоветовал Зубриков.

— А что? Тут все свои! — смутился Бутиков.

Завели патефон, и начались танцы.

Когда приглашали Соню, Петухов отворачивался и мучился. Потом смотрел на танцевавшего с Соней враждебными, злыми глазами, пытаясь все-таки снисходительно улыбаться перекошенными губами.

— Нравится, что тебя обнимают при всех, легально оттого, что танец? — бормотал он Соне сердито. — И почему со своей женой не танцует, а обязательно с чужой?

— Ты же меня не приглашаешь!

— Мне разминаться для пищеварения не надо, — грубо ответил Петухов. — И обнимать тебя при всех не желаю!

На самом деле Петухов страдал оттого, что танцевать не умел, а пробовать стеснялся.

Махоткина говорила:

— Вот! Женщина-станочница в аккуратности куда способнее мужчин! И брак боится допустить, и прогулов не допускает.

— Правильно! — поддержал ее Гусев. — Наукой доказано: существует сто десять тысяч запахов, и женщина их лучше мужчины различает, обоняние у ней тоньше, не пьет, не курит, и вся чувствительность у нее больше развита.

Махоткина вздохнула:

— Побудешь вдовой, так и выпить, и закурить хочется, когда горе гложет.

Гарбузов сообщил сияя:

— Дети у меня подходящие растут! Я своего Кольку

за то, что он из радиоприемника все внутренности вытащил, чтобы самому разобраться, что там к чему, хотел, значит, за ухо, а он меня осадил: «Вы, — говорит, — нас, детей, за людей не считаете, а потом из нас Ленины вырастают». Видали, какой! Ну, я ему...

— И напрасно! — заметил Клочков. — Стремление к высшему — это самое лучшее в человеке. — Потом, обратившись к Глухову, сказал: — Телеграфный аппарат изобрел Морзе — живописец. Телефон — учитель глухонемых Грэхем. Паровоз — рабочий-ювелир Фултон. Прядильную машину — парикмахер Аркрайт. В основе всегда наблюдательность, ассоциативность мышления, его целеустремленность. Один из изобретателей сверхскорострельного пулемета долго мучился с ударным бойком, любой прочности металл ломался от перегрузки. Совсем зашел в тупик. Но однажды заметил, как, прогибаясь, доска не сломалась под колесами грузовика. Осенило — упругость! Использовал сплав бериллиевой бронзы — и такой из нее боек вышел, выдержал все испытания.

Пояснил:

— Но осеняет только тогда, когда все твое сознание длительно подчинено искомому, то есть труду мысли, никогда, ни при каких обстоятельствах не гаснущей мысли, всепоглощающей тебя, как цель жизни.

Золотухин, кивнув на Петухова, сказал Глухову, что парень оказался толковым, не поддался на засахаривание. Сообразил, что в передовики надо продираться как все равно к расчетному параметру, без льготных допусков и припусков, на полной чистоте.

— Так я же как лучше хотел! — сказал Глухов.

— Кому лучше, тебе или ему? Со скороспелой славой люди только страдают, потом — тебе шумиха, а нам — разговоры в цехе неприятные. — Пообещал значительно: — Он еще себя покажет! На этом деле он в главном выявился. Рабочая совесть, она свою вершину всегда возьмет, одолеет.

Провожая расходящихся гостей, супруги Золотухины каждому вручали пакеты с теми яствами, которые были на столе.

Говорили строго:

— Согласно местному правильному обычаю, чтобы гость потом приятно откушал и приятно вспомнил хозяев! Уж вы возьмите, пожалуйста, — и оглядывались

на Зульфию и Фатьму, которые кланялись гостям, стесняясь подавать им руку...

Возвращаясь, Соня сказала, вздохнув:

— Вот мы с тобой семейные, а ни разу так вот в гости никого не звали.

— Позовем! — бодро сказал Петухов. — У меня получка теперь побольше. Купим барана и позовем на плов. Нугмановы помогут сготовить.

— Гриша, — тихо спросила Соня, — может, это несолидно — столько времени живем, а все одни?

— То есть как это одни? Мы с тобой всегда вместе!

— А может, мне тебя одного мало?

— Дотанцевалась! Соображаешь, что мне сейчас в глаза сказала? — возмутился Петухов.

— Я про ребеночка! — жалобно произнесла Соня.

— Ну что ж — можно! — степенно разрешил Петухов. — Как у всех, так и у нас, вполне возможно.

Соня сказала шепотом:

— Я, кажется, уже...

Петухов остановился, ошеломленный, но тут же деловито заявил:

— Завтра подам заявление на площадь, а то у Нугмановых тесновато нам втроем будет.

Соня проговорила неуверенно:

— Еще неизвестно, что у меня получится. Правда, опытные женщины говорили, раз не тошнит — может быть девочка.

— А почему не тошнит? — насторожился Петухов. — В самолете же говорила: слабая на тошноту.

— От высоты только.

— А ты ешь побольше для здоровья и вообще... — посоветовал Петухов.

— Ты что? Мальчика вздумал заказывать, а девочку не хочешь? — обиделась Соня.

— Мне хоть лягушку, хоть зверюшку, как у той царицы, лишь бы твое, то есть наше с тобой! — воскликнул Петухов и прижал, уже осторожно, к себе Соню, заметив при этом: — Может, танцевать тебе не следовало. — Поправился: — Я же не из ревности говорю, а по соображению, что ему там могло повредить...

На следующий день, обуваясь, чтобы идти на работу, Соня спросила, разглядывая свой ботинок:

— Гриша, ты чего это тут понаделал?

— Шипы набил, — сказал Петухов, — как на фут-

больных бутсах, чтобы не поскользнулась. А то упадешь, ушибешь...

Они ушли на завод, преисполненные тем новым, что сделало их существование на земле как-то особо значительным и ответственным за все, что на ней есть и что будет.

34

Глухов водил по заводу военных во главе с генералом так, как это умеют делать все опытные директора, — зигзагами.

В первом и втором механических и инструментальном, самом любимом своем цехе, он шел с печальным лицом, чистосердечно каясь в мелких упущениях и недостатках, но подолгу останавливался у новых агрегатных многошпиндельных станков, сверкающих и величественных, словно алтари в храмах. То у него в этом месте развязывался шнурок на ботинке, то он именно здесь вынужден был давать пространные и малозначительные указания руководителям цеха, предоставляя полную возможность военным товарищам любоваться такими станками. Или брал в руки изготовленную деталь сложной конфигурации, сияющую, словно замысловатое крупногабаритное ювелирное изделие, призванное служить лишь украшением, и задумчиво разглядывал ее, словно видел и не понимал ее назначения, вздыхал протяжно, говорил почтительно, словно совершая открытие, поражающее его самого:

— Это же выставочный предмет! И подумать только — наладили как поточное производство!

Про модифицированные своими силами станки говорил глубокомысленно:

— Вот техника достигла! Саму себя омолаживает. А медицина это самое с человеком не может... А хорошо бы: зашел в больницу и заказал: «Скиньте мне, будьте любезны, годков десять». И — вполне!

Литейную он обошел с таким искусством, какого достигали армейские в военном оперативном искусстве, решая стратегические задачи прорыва: не задерживаться на опорных пунктах противника, а смело и решительно обходить их.

Недостатки в литейном производстве пока были неодолимы, и он благоразумно и ловко миновал литейную.

Зато в мартеновском цехе, когда выдавали скоростную тяжеловесную плавку, надолго задержался, и военные полюбовались спорой, ловкой работой сталеваров, укрощающих вулканическую ярость металла, покорно изливающегося в гигантские ковши. Глухов заметил:

— Вот самое полезное для страны — очень сильно росту и силе ее содействует.

Что касается бытовок, столовой, жилья, согласился:

— Тыловая служба еще отстает от потребностей.

В кабинете директора был накрыт для гостей завтрак.

И именно здесь, за завтраком, Глухов и начал развертываться для разведки. Сказал генералу расстроенно и печально:

— Вот, не успели наладиться на новое производство, как снова придется переналаживаться. — Заявил решительно: — Но я как солдат: что прикажут, подчиняюсь беспрекословно!

Поглядел пристально на генерала, нахмурился.

— Но уж если переходить на военное довольство, то все, что положено, должно быть обеспечено. Так? — И уставился уже строгим взором на генерала.

Тот ухмыльнулся:

— На «гражданке» все же вольготнее. И слава! Даете сельхозмашины, газеты про вас пишут. А у нас все скромненько, бесшумно и безгласно. Все равно что футбол без допуска зрителей. Тебе гол забили или ты забил, только команда знает.

— Так я за войну к безгласности привык, — скромно, но и с оттенком гордости напомнил Глухов, — тоже не на трибуны работали.

— Зато теперь полный простор! — сказал генерал.

— Ну, как заводик наш? — спросил, щурясь, Глухов.

— Вполне — для мирного производства, кое-что подтянете, конечно, и пойдет как положено!

— Замечания есть?

— В сельскохозяйственных машинах не осведомлен!

— Я имею в виду, — сердито сказал Глухов, — если вы захотите себе его обратно прибрать!

— А зачем? — спросил генерал. — Не требуется!

— То есть как это не требуется? — раздраженно воскликнул Глухов. — Вы что же, международной обстановкой пренебрегаете?

— Обстановка нормальная! Они нас пугают, а мы не пугаемся!

— Значит, прочно стоите за прочный мир? — иронически осведомился Глухов.

— Именно! — согласился генерал.

— И ничего вам не требуется?

— А как же — вот сельхозмашины!

— Выходит, вместо военной психологии — колхозная!

— Почему «вместо»? Такой сплав неделим.

— Вы случайно в движении сторонников мира не участвуете?

— Военным не положено!

— Ну?! — едко удивился Глухов. — А я думал, судя по вашим словам, в армии голубятни теперь положены.

— Вы, собственно, почему злитесь? — благодушно спросил генерал.

— Ну как же, думал, вы по делу, а вы, что же, как экскурсанты прибыли.

— Дело есть. Прибыли к вам челом бить. Товарищу Клочкову и его установке хотим на дальнейшее соответствующие условия предоставить — так что придется вам уступить!

— И это все?

— Ну, людей по его выбору позаимствуем тоже.

— А расходы? — встрепенулся Глухов.

— Какие именно?

— Установку проектировали, экспериментировали, у меня целый участок под нее отведен!

— Позвольте, но это по линии военного ведомства.

— Извиняюсь, — ухмыльнулся Глухов. — Как мы в гражданское ведомство перешли, то все уже врозь.

— Но установка боевая, военного назначения!

— Откуда я знаю, — нахально сказал Глухов, — куда она, что она? Конструкторское бюро просило, я из любезности разрешил! У нас таких, вроде левых, заказов бывает достаточно: то городские власти подсобить им просят, то еще кто-нибудь. Хозяйственнику надо со всеми уметь ладить. Желаете себе установку получить? Пожалуйста! Дам указание в бухгалтерию, все расходы наши подсчитают, включат накладной также расход — оплатите!

— Хотите армию обирать?

— Так я — гражданское ведомство, вы — военное. У каждого свой бюджет.

— Мужичок вы ловкий!

— Не то время, когда все — вам, все для фронта!

— Сами же говорили — международная обстановка!

— Но вы же меня утешили, успокоили авторитетно. Даже не знаю, зачем вам теперь такая установка.

— Видали! — Генерал оглянулся на своих армейских спутников. — Обиделся, что завод его на оборонную продукцию обратно не ставят. Теперь с нас готов шинели содрать за установку.

— Шинели не надо, а сукна шинельного попросил бы. Или даже «б. у.» согласен, для спецовок в горячих цехах.

— Может, танками возьмете?

— Грузовичков несколько можно было б. Ну и, если

на материальную часть скупитесь, дайте стройбат. Новый цех ставлю. Сколько мы рабочих часов по установке израсходовали, столько стройбатом вернете по справедливости.

— А если ничего не дадим?

— Позову юриста, посоветуюсь, в суд подадим!

— С армией судиться? Хорош!..

— И еще, — строго и непреклонно заявил Глухов. — Людей просите. Человек — против человека, давайте демобилизованных и с подходящими для нас специальностями.

— Ну что я вам говорил — жила! — расхохотался генерал. Произнес сурово: — Алексей Сидорович! Время-то не терпит, нужна новая перспективная боевая техника. Мы же не за сегодня хлопочем, а за будущее спокойствие.

— Чтобы не было войны?

— Именно!

— А я так рассуждаю, — ухмыльнулся Глухов. — Они нас пугают, чтобы нарушить нам ритм нормального экономического развития. А я не пугаюсь. Даю сельхозмашины. Вам чего-то от меня надо — платите, не нарушайте бюджета завода.

— Я вас с министром обороны соединю!

— А зачем он мне? Надо мной главк стоит.

— А если главк прикажет?

— Из своего кармана платить станут.

— Товарищ Глухов, — сказал инженер-полковник, — ведь новое оружие ведет к изменениям в тактике, оперативном искусстве и стратегии, наконец.

— А я что, возражаю? Я вот перестроился на новое производство, и вы тоже перестраивайтесь. Но не за мой счет.

— Так ты же генерал! — сказал Глухову с возмущением генерал.

— А вот побудь на производственных совещаниях, постой у трибуны, как при команде «смирно», когда вопросами о недостатках простреливают, узнаешь, что чин генеральский — это не броня. — Спросил: — Видали, в пиджаке стал ходить? А почему? Не очень нагенеральствуешь, когда критикуют.

— Сочувствую! — сказал генерал.

— Тогда, может, со стройматериалами поддержите? С жильем — беда...

— Коммерсант!

— Экономически мыслю. Мог бы еще за патент запросить. Да ладно уж, так берите, — сказал Глухов милостиво. — Мозгами не торгуем!..

Уже после деловых разговоров, связанных с приемом

документации, рабочих чертежей и прочего, генерал благодушно спросил Глухова:

— Ну что? Щемит?

— А как же, все ж таки столько лет оружейник!

— Но завод у тебя для такого дела все-таки старомодный.

— Это как так? — встрепенулся обидчиво Глухов.

Генерал, лукаво улыбаясь, сказал:

— Эталончики мы эталонным заводиком обеспечиваем. Нам много не надо. Живем экономно, по нормам мирного времени. Но так, чтобы быть впереди нынешней техники. Только и всего. Мы тихие, скромные, только поддерживаем Вооруженные Силы в высокой степени готовности, чтобы этим самым исключить внезапность нападения с любой стороны или даже вкупе.

— Ну и валяйте! — мрачно сказал Глухов, потом сердито заявил: — Но передний край сейчас где? У меня!

— Согласен! На земле стоим и от земли кормимся.

— Тогда чего же жмотничаете?

— А у нас в Министерстве обороны те же самые деньги — советские. — Но тут же генерал поспешно добавил: — Ладно, что положено — заплатим. Но лишнего — ни копья. У нас в бухгалтерии генералы сидят. Соображают не хуже вашего. Каждый целковый сторожат!

Прощаясь с военными, Глухов сказал с унынием генералу:

— Чует мое сердце, сейчас большой разворот будет назначен моему заводу по линии его спецификации сельхозмашин, а я, что ж, в предпенсионном возрасте, переучиваться с запозданием трудновато. Может, не на генеральскую должность, но поближе к моему делу, я бы справился.

Генерал усмехнулся и сказал с улыбкой:

— Дорогой мой, я сам всю войну воевал, а вот нынче такая техника прет, учусь, тянусь, чуть отстанешь — в гражданское сразу и переоденут.

— Значит, и вам приходится?

— А как же! Это тебе не комбайны.

— Комбайны мы не производим, — сказал задумчиво Глухов, — но вот хлопкоуборочная машина — это штука головоломная.

— Вот и одолевайте такую технику! — Генерал обнял, потискал Глухова, сказал растроганно: — Ну, спасибо за все...

35

Когда Петухова по-приятельски спрашивали: «Ну как твоя личная жизнь?», он недоумевал, обижался, но, чтобы не конфликтовать, отвечал односложно: «Нормально!»

Недоумевал, потому что никакой такой особенной личной жизни за собой не знал, и чем она отличается вообще от всей его жизни в целом, не представлял, а обижался, считая, что личная жизнь — это то, о чем говорят меж собой холостяки, хихикая. Что касается жизни его и Сони, то она была взаимозависима.

Хорошо Соне — и ему хорошо, плохо ему — ей тоже. По делам завода они мерили свои жизненные перспективы и дальнейшие свои возможности.

Заводские люди были для них целым человеческим миром, где они познавали себя, исходя из той меры уважения, которую воздавали там не только по производственным, но и по чрезвычайно многосложным человеческим показателям. И, конечно же, Петухову хотелось походить на тех, кто пользовался прочным и долговременным уважением всего коллектива.

Но теперь у Петухова завелась своя особая личная жизнь перед появлением от него лично новой человеческой жизни, носительницей которой стала Соня, обретая ныне над ним уже сдвоенную власть, — свою собственную и того существа, которое теперь будет властвовать уже над ними обоими.

До сих пор для Петухова Соня была во всем второй его совестью, а вот с нынешней поры, еще не появившись на свет, но уже оказывает на него свое взыскательное влияние тот, будущий человек, для которого он и берет на себя всю полноту ответственности за общежизненную обстановку, где этому будущему человеку предстоит жить, расти и развиваться.

И, вспоминая, каким высшим и самым лучшим человеком был для него его отец, Петухов тревожился, сможет ли он стать во всем таким, каким был его отец в его собственном сыновьем сознании и чувствах.

Мечты бывают всякие: на куцее нацеленные или на нечто значительное, долговременное; в пределах только личного благополучия или многих; возвышенные, но беспочвенные; высокие и тщательно делом обоснованные; в

надежде на везение или с дерзкой расчетливой настойчивостью — одолевать неодолимое.

Когда Петухов готовил на фронте плановую операцию будущего боя: исходя из условий местности, наличия огневых средств, настроения, готовности солдат и из данных разведки, учитывая все эти слагаемые, — он принимал решение, где и когда ему быть в бою.

Резервируя в своих мыслях всевозможнейшие варианты новых решений, которых потребует меняющаяся обстановка боя, он заранее должен был все изменения предугадать, чтобы не оказаться во власти стихии боя, а властно этой стихией управлять.

Вот так же стал планировать Петухов свою жизнь, поскольку подчиненных у него теперь не было и он у себя находился в подчинении.

В институтской библиотеке он жадно поглощал книги по холодной обработке металла, механике не только для того, чтобы сдать зачет, но и выдержать свой жизненный экзамен, к которому он готовился.

В конструкторском бюро ознакомился с проектами новых машин, еще не запущенных в производство, выписал для себя чертежи тех деталей, которые, возможно, ему придется обрабатывать, советовался с инженером-металлургом, какие стали будут идти на них.

Приходя с работы домой, прикидывал расчеты режима, обсчитывал по формулам, разрабатывая технологию пока в тетрадке.

Придумал за это время специальную резцедержательную головку, приладил индикаторное приспособление для настройки резцов на размер. Показал Золотухину; тот одобрил.

И Петухов стал устойчиво давать три нормы в смену. Мог и больше, но во время работы он отвлекался, так как помогал и другим станочникам сделать такие же головки резцедержателей; и его волновало уже авторское самолюбие, чтобы другие давали не меньше, чем он.

По утонченному мастерству, в познании сокровенных тайн изысканного мастерства он по-прежнему уступал Золотухину и Зубрикову. Но Петухову коллектив даровал нечто от того уважения, каким издавна пользовались самые прославленные мастера. Его уже не называли только по имени или по фамилии, но величали полностью — Григорий Саввич, что для него было необычайно приятно, как для будущего отца.

Петухову дали обтачивать тонкие валки. Операция несложная, но крайне медлительная. Нельзя было применять резцы с победитом, они крошились, а обыкновенные быстро тупились.

Петухов ночи не спал, думал и наконец понял — вибрация! Вибрирует вал во время обработки и разрушает победит, вот в чем дело!

Ему же летчики еще на фронте жаловались — не от всякого попадания гибнет самолет, но попадание повреждает обтекаемость машины, возникает вибрация, и машина саморазрушается, разваливается на куски, такая это сила — вибрация.

Значит, надо устранить вибрацию валков.

Два месяца пробовал, как шальной, все способы крепления, и ни один не давал результата.

Соня жаловалась:

— Во сне ты дрожишь. Простыл? Или, может, малярия?

Наконец сконструировал жесткое крепление. Стал испытывать — нет вибрации, держится победитовый резец.

Но тут он решил подвергнуть свое приспособление самому рискованному испытанию. Переменил шестерни у станка, чтобы увеличить обороты, запустил его на таких высоких оборотах, на каких не только валы не обрабатывали, но и вообще в токарном деле не применяли. Решил: пусть несколько минут станок на таком режиме идет, только для испытания крепления. Душа замерла. Вдруг крепление не выдержит, и все от скорости, как от взрывной волны, разлетится с силой осколков снаряда?

Станок работал как часы.

И не оттого он полноту счастья узнал, что приспособление выдержало. Другое его поразило. Скорость! Значит, может станок на высоких оборотах работать, и такой режим может быть постоянным. Не своей гордостью был взволнован, а тем, что это может всему заводу дать.

Все, что причиталось по линии славы, почестей, премий, Петухову было выдано полностью, но лишь ему персонально. То, что все ограничилось только воздаянием ему, как выдающемуся скоростнику, а не возможностям нового метода, огорчало Петухова.

Технологи решительно возражали против распространения почина Петухова, исходя из следующих соображений. Может возникнуть сверхнормативная амортизация

оборудования — значит, внеплановый ремонт. Потом — к чему можно допустить образованного рабочего-студента, заочника института, с тем не справится другой рабочий. Пример вдохновляющий — это вообще! Но технология утверждена нормативами главка.

А тут еще происшествие. Обучая своего последователя, Петухов не проверил, как тот закрепил заготовку, и на высокой скорости она вылетела из крепления. Петухов успел оттолкнуть обучающегося, а сам получил ранение.

На фронте он не раз оставался в строю, получая травматическое повреждение, но здесь его силой повалили на носилки, доставили в медпункт. Примчался директор, начальник охраны труда.

Для Петухова главным в этот момент было одно — чтобы, узнав о его травме, не волновалась Соня. И даже, пожалуй, не столько Соня, как будущий человек в ней. Поэтому он капитулянтски пообещал больше не экспериментировать, если его отпустят из медпункта домой, а не оставят надолго в больнице.

Директор согласился, но повез его сам на своей персональной машине. Не доезжая до дому, Петухов потребовал остановиться, вылез, угрожая выскочить на ходу, и доплелся до дому самостоятельно. Преодолевая боль, слабость, он так старательно бодрился перед Соней, что она быстро разгадала причину его состояния, потребовала, чтобы он показал ей ранение, и поскольку навидалась на фронте всякого, осмотрела рану осведомленно, как знаток, перебинтовала его сызнова и под своим конвоем снова отвела в больницу.

Вылежавшись, Петухов вернулся на завод, полагая, что его отказ от подобных экспериментов администрация получила незаконным способом, не опровергнув расчетными доказательствами, а только воспользовавшись случайностью, оставив в забвении интересы общей необходимости перехода на скоростные методы обработки.

Высококвалифицированные токари револьверный станок не уважают: операционно он очень ограничен. Но Петухов решил переделать его полностью. И смог теперь производить на нем все операции, как на токарном станке. Поставил сильный мотор, укрепил фундамент станка, забетонировал его так, что всякие вибрации полностью исключались. Сделал много дополнительных при-

способлений и применил новые резцы с отрицательным углом, что придавало им максимальную стойкость.

Поскольку Петухов ушел из больницы до официальной выписки, но пообещал регулярно посещать поликлинику, у него был непогашенный бюллетень, и он мог спокойно, не привлекая к себе особого внимания администрации, заниматься переоборудованием станка, пользуясь помощью своих друзей по цеху.

Но, когда он стал работать за этим станком и баснословно перевыполнять нормы, так что получалось — в год он сможет выполнить то, что рассчитано на два, и еженедельные проверки деталей станка не показали и признаков их износа, тут уже это стало событием общезаводского масштаба и даже больше, и Петухова стали приглашать на другие заводы делиться своим передовым опытом.

Но он настойчиво требовал, чтобы ездить на другие заводы делиться опытом не одному, а с Золотухиным или с Зубриковым. Говорил строго:

— Это будет неправильно, если я один. Я что могу сказать: если знаешь технику, то можешь из нее больше выжать. Продемонстрирую расчетами, чертежами, новыми приспособлениями, новым инструментом, а вот Золотухин или Зубриков расскажут о главном — как в труде обозначаются все человеческие черты рабочего человека, как они сами самовоспитались в том, чтобы все в них лучшее, человеческое в труде выражалось полностью и весь настрой душевный был в том, ладится работа или нет. И к работе они готовятся не перед тем, как запустить станок, а всем предшествующим временем, и здоровье свое берегут, и нервы, чтобы в работе ничто не утруждало. — Спрашивал внушительно и внушительно отвечал: — Вот почему те, кто с высшей квалификацией мастера, даже когда неполадки во время работы в цехе, не горячатся, не шумят, не позволяют себе грубостей? Потому что берегут нервную систему, умственную энергию для своей работы, знают: взволнованному не так работается. А ведь на собраниях они тигры. Дома себя соблюдают, и вся семья в этом же воспитана: чтобы все вежливые были, охранялись взаимно от горячности по пустякам, чтобы не растрачивать нервы. И отсюда в семьях у них бывать приятно.

— Так тебя приглашают производственники по обмену производственным опытом, а не школьные учителя

по вопросам, как кого воспитывать, — возражали Петухову.

Но он решительно говорил:

— Чем лучше техника, тем она лучшего человека требует по всем статьям. — И, усмехаясь, добавлял, вспомнив слова Золотухина: — Обучить гайки крутить и шимпанзе можно, а понимать, к чему гайку крутишь, тут человек нужен!

В одну из поездок по другим заводам Петухов простыл, занемог, перенесенная почти на ногах травма сказалась на прежних его фронтовых ранениях. И его отправили на соленое озеро исцеляться в заводском санатории, а в завком прибыло медицинское заключение о возможной дальнейшей нетрудоспособности Петухова на работе, связанной с физическим трудом.

В санатории Петухов худел, тощал, тоскуя о Соне; и хотя ей было до декретного отпуска еще далеко, Глухов отдал приказ отправить ее на отдых, принимая во внимание заслуги перед заводом ее супруга, которому недавно торжественно был вручен орден Трудового Красного Знамени — к его такому же боевому ордену, полученному на фронте.

Пожалуй, Петухов никогда не испытывал подобного счастья, когда ему с Соней предоставили полные права быть все время вдвоем. И хотя им обоим было совестно и непривычно ничего не делать, или, как Петухов выражался, жить паразитами, это были слова только от смущения, оттого, что они стеснялись пользоваться таким счастьем. Но пользовались им в полную меру.

Любуясь Соней в купальнике, он говорил сияя:

— На болоте я тебя не разглядел. И всегда ты свет гасишь... А теперь сколько хочу, на тебя смотрю, до чего ты вся красивая, складная — просто как фея. Или лучше как та статуя, только ты с руками.

Соня вытягивала укороченную после ранения ногу, говорила:

— А вот смотри, уродина!

— Ну уж нет, — решительно возражал Петухов. — Я ее больше другой люблю.

Соня засыпала горячим песком рубцы, швы на теле Петухова, спрашивала озабоченно:

— Щекотно или больно?

— Приятно, — ежился Петухов.

И он терпел, когда соленая вода едко обжигала следы былых ранений, и, лежа на упругой воде рядом с Соней, говорил самодовольно:

— И ему тоже полезна такая вода!

— Кому? — спрашивала кокетливо Соня.

— Ну, ясно кому! Тому, кто от нас с тобой будет. — Интересовался: — Ты как думаешь, он понимает, что ты сейчас с ним вместе купаешься, загораешь? — Говорил убежденно: — Ему же от этого должно быть, как и тебе, приятно.

Глухов приехал проведать Петухова и отправился с ним на озеро купаться. Натягивая трусы на довольно-таки внушительное свое брюшко и завистливо оглядывая отощавшего Петухова, он сказал, как бы оправдываясь:

— На руководящей работе главное — не допускать, чтобы серое вещество в башке жирело, а так, с лишним весом для авторитетности своей фигуры жить можно!

Потом, лежа на песке, стал, как всегда, хитро советовать:

— Тебе, Петухов, с твоим умом и способностями надо на очное отделение института переходить. Разве вприпрыжку между заводом и институтом как следует выучишься? И что это значит? — Произнес протяжно и презрительно: — Заочник! Не тот коленкор! — Деловито добавил: — Мы бы к стипендии от завода доплачивали.

— Ну что вы! — улыбнулся Петухов. — С завода я никак. Хватит того, что из армии демобилизовали.

— А вот я твою супругу уговорю!

— Не выйдет! — уверенно сказал Петухов. — Мы с заводом сроднились, как в своей дивизии все равно.

Соня не поддалась на уговоры Глухова. Сказать же ей истинную причину Глухов не решился. Только твердо, без улыбки заявил:

— Если Петухов за это время меньше пяти килограммов прибавит, на работу в цех я его обратно не допущу. Дам сидячую должность, на которой полнеют. Как вот я сам, — чтобы смягчить твердость своих слов, добавил директор.

Но Соня усмотрела в этом только доброе желание Глухова повысить ее мужа, поэтому за состояние его здоровья не встревожилась.

И они продолжали упиваться своим счастьем, наслаждаясь бездельем, тем более что Петухов считал это

состояние крайне полезным для спокойного созревания в Соне будущего нового человека. И он говорил:

— Ну что? Поведем его купать! — Или: — Может, хватит ему загорать? — Или приказывал повелительно: — Он кумыс пить хочет. Это ему очень полезно!

Когда Соня брезгливо говорила, что ее тошнит от одного кислого запаха кумыса, Петухов обрадованно, с надеждой произносил:

— Значит, мальчик!

И, чтобы опровергнуть Петухова, Соня не морщась выпивала кумыс, говорила торжествующе:

— Вот, пожалуйста! И ничего! Значит, девочка!

36

К генералу Пугачеву пришел тоже уже генерал Лебедев. Но после войны он предпочитал ходить в штатском. О его генеральском звании знали лишь сослуживцы по тому ведомству, где он работал.

Потискав, охлопав друг друга, они сели, влюбленно и радостно озирая один другого.

Пугачев ликовал безудержно. Лебедев, как всегда во всем, вел себя сдержанно.

— Где же ты пропадал? — осведомился Пугачев.

Лебедев сообщил равнодушно:

— В плену был.

— Чего врешь? — возмутился Пугачев. — Я же тебя еще накануне Берлинской операции видел.

— Вот тогда и угодил в плен к союзникам.

— Да как они посмели?! — вскипел Пугачев.

— Все законно — усмехнулся Лебедев. — Взяли как офицера СД.

— Ты что, ошалел?!

— Любознательность, любопытство... Профессиональные качества исследователя.

— Так ты что, себя за фашиста выдал?

— Отпирался, конечно, сколько мог. на допросах.

— Зачем же отпирался, если захотел выдавать себя за фашиста?

— Для убедительности, для правдоподобия, как следует по реальным обстоятельствам.

— Что же, без документов, в одном ихнем трофейном обмундировании объявился?

— Зачем? Часть документов довольно-таки неловко пытался уничтожить, нашли обрывки — уличили.

— А ты бы их проглотил, сжевал.

— Тогда не было бы улики.

— Да ты не темни, говори, как все было! Выкладывай. Зачем все-таки в плен полез?

— Ну что же, — сказал Лебедев, опуская глаза и потирая ладонью колено. — По некоторым данным стали обнаруживаться сведения о некоторой, так сказать, перекантовке разведывательных органов союзников, которые стали искать себе сотрудников и подсобников из ведомства Гиммлера. Надо было проверить достоверность таких сведений, ну я и проверял.

— Это что же? Таким рисковым способом? Очертя голову в одну петлю заодно с фашистскими военными преступниками? Ведь могли казнить! А?

— Но я же не признался, что могу быть отнесен к разряду их военных преступников! Изводил следователей до того, что они успокоительные таблетки принимали. Изворачивался, отпирался и даже, представь, оправдательно философствовал: мол, Гитлер виноват, а мы, его верноподданные, здесь ни при чем. Вообще, задача упрощалась тем, что я английским языком владел, а в моем личном деле, которое они разыскали, было написано: «Английским не владеет».

— Так как же к ним твое личное дело попало?

— Да не мое, а того, за кого я себя выдавал.

— Ну и работенка у тебя! — покачал головой Пугачев. — Значит, изучил, подготовился и сактерил. — Съязвил завистливо: — Может, тебе с твоими способностями следовало во МХАТ идти? Стал бы заслуженным или народным. Каждый вечер аплодисменты!

— Театр я люблю! — мечтательно произнес Лебедев.

— Ну и как дальше твой спектакль шел?

— Допрашивали по двое. Один обязательно грубиянил, пугал, другой интеллектуала изображал, на предельной вежливости, деликатности. — Вздохнул: — Шаблон, ничего нового. Допрашивали. Потом началось самое существенное собеседование, при полной благосклонности с их стороны.

— А затем могли бы и приговорить!

— Но ведь я с другими заключенными фашистами общался — советовались, делились впечатлениями, прогнозировали. С помощью коллективного разума и ряда фактов пришли к выводу, что ничего здесь подчиненным Гиммлера не угрожает, а даже, напротив, сулит некоторые перспективы. Не тюрьма, а отель. Охраняемый, конечно.

— Значит, устроился?

— Вполне.

— Ну это все так, — сказал деловито Пугачев. — Но они же из тебя выкачивали то, что их интересовало по линии особой тайной деятельности СД. Это же для них важно!

— Не очень! — возразил сухо Лебедев. — Во-первых, они все уже основательно выкачали — от лиц покрупнее и поосведомленнее, чем значилось обо мне в том послужном списке. А во-вторых, их интересовало другое.

— Что же?

— Почему гитлеровские разведывательные органы терпели провалы в Советском Союзе? Тут они требовали доскональных и детальных сведений.

— Это зачем же?

— Вот именно — зачем?! Это и побудило меня пользоваться их харчем, — сказал Лебедев.

— И сколько же времени ты на их довольстве находился?

— Несколько недель.

— Ну а дальше что было?

— Потом предложили работу. Говорили, что образованному офицеру СД предоставят соответствующую его ценности высокооплачиваемую должность. Поручили для начала составить конспект по трофейным документам Психологической лаборатории Имперского военного министерства как руководящую инструкцию для подобных же ведомств у них. Кстати, консультировались, спрашивали: не известны ли СД какие-нибудь способы, чтобы при избиении не лопалась почка? В тюрьмах США широко применяются телесные наказания. Ничего посоветовать не мог.

— Как же ты все это мог выдержать?

— Да не все и выдержал, — поежился Лебедев. — Набился мне там в приятели гестаповец с весьма значительным чином, тоже получил приглашение ра-

ботать в США. Так он о таком со мной откровенничал, что нервы у меня не выдержали, погорячился, ну и того, перед самым своим уходом... Пошли гулять по набережной, туман, дождь, никого нет, а он мне излагает подробности медицинских экспериментов, которые они производили в спецблоках лагерей. — Брезгливо осмотрел свои руки и стал тереть их о колени, словно выпачканные.

— Ну и ну... — сказал задумчиво Пугачев. — Тут не нервы, а тросы стальные, и то полопаются.

— Да, — встрепенулся после тягостного молчания Лебедев. — Ты помнишь Красовскую?

— Э... не пойдет, — спохватился Пугачев. — Никого не помню, никого не знал. Так моей супруге и твержу стойко.

— Да ты брось, я серьезно!

— Ну была у нас такая связистка. Но я ни-ни.

— Теперь она жена Петухова, нашего ротного.

— Ну и что! Пускай, как я теперь, в неволе живет!

— Я ее мать нашел там и вывез.

— Значит, будет у Петухова теща!

— Ты слушай! Ее в Крыму немцы взяли. Держали в Равенсбрюке, специальном центральном женском концлагере. Потом узнали, что она жена изобретателя управляемого взрывателя Бориса Красовского. Стали подвергать длительным пыткам, чтобы она сообщила технические данные, но она ничего не знала. Довели истязаниями до полупомешательства. Затем сдали в спецблок. Там еще подвергли медицинским экспериментам: извлекали костный мозг, подвергали замораживанию... Ну, словом, не хочу дальше говорить...

— И не надо, — сипло сказал Пугачев, вздрагивающей рукой поднося спичку к папиросе.

— Но, понимаешь, какая история. Материалы о Красовской — собственно, о ее муже — попали в руки разведки, уже не фашистской. Та, в свою очередь, заинтересовалась работой ее мужа, а она, ну, понимаешь, психически больная. Стали применять тотальные сильнодействующие средства для временного пробуждения сознания. Словом, — хрипло сказал Лебедев, — я ее от них вывез. Сейчас она находится в трудном состоянии разума и здоровья. Поселил в городе, где она родилась. Надеялся, что воспоминания детства помогут восстановить разум. Но она все о дочери говорит, ее требует. Искал Красовскую, а обнаружил, что она уже Петухова. Так вот, они работают на том заводе, где ты недавно побывал. Не встречал там ротного Петухова?

— Смотри-ка, своего однополчанина не навестил и даже не вспомнил, — горестно признался Пугачев.

— Значит, не встречал? — нетерпеливо прервал Лебедев. — Придется тогда мне самому туда выехать.

— По заданию?

— Не по заданию, а в счет отпуска, как по личному

делу, — сказал сухо Лебедев. — Мы этому Красовскому многим обязаны, да и вообще, по человеческой совести. — Добавил сердито: — Кроме того, был такой блуждающий мерзавец — бывший зондерфюрер. Он в спецблоке работал, прибыл теперь как подданный почтенной державы, конечно, после косметической операции. Предоставили ему сейчас соответствующее помещение в связи с его чрезмерным интересом к нашим военным объектам. Красовскую он самолично истязал в спецблоке. Если присутствие дочери поможет ей восстановить сознание и врачи разрешат — свидетель обвинения неотразимый.

— Значит, все-таки задание, — сказал Пугачев.

— Нет, — опять сердито возразил Лебедев. — Если состоянию ее здоровья выступление в суде может повредить, она не будет свидетелем обвинения. Это пока мое, чисто личное, не касающееся служебных обязанностей. И тут у меня к тебе просьба. Супруга твоя, насколько я помню, девица обаятельная.

— Дама, — поправил Пугачев.

— Тебе виднее, — съехидничал Лебедев. — Так вот, пускай поедет к жене Красовского, о дочери ее, как о своей подруге, расскажет, подготовит несколько, чтобы не вызвать чрезмерно сильного душевного потрясения. Ясно? Вот тебе адрес.

— Приказываешь?!

— Прошу, как фронтового товарища, об услуге.

— Хитер ты! — ухмыльнулся Пугачев. — А как на фронте меня воспитывал! — И Пугачев погрузился в воспоминания, всегда столь дорогие и волнующие.

Лебедев талантливо умел изображать напряженное и даже возбужденное внимание, оставаясь при этом спокойным и даже равнодушным к тому, что в данный момент было для него несущественным.

Он слушал Пугачева и думал также о той странности, почему Пугачев не спрашивает о жене его, Ольге Кошелевой, ныне Лебедевой, которая была для Сони Красовской больше подруга, чем Нелли Коровушкина, ныне Пугачева, и он с тревогой подумал, что, возможно, Нелли уже осведомлена о состоянии Ольги, но отбросил эту мысль, зная открытость бурного характера Пугачева и его обычную незамедлительную готовность оказать услугу любому своему однополчанину. И он улыбнулся Пугачеву, который с упоением вспоминал, как однажды разо-

рвалась рядом с ним мина. Полы шинели были разодраны в клочья, осколок рассек брючный пояс.

— А я, — восторженно говорил Пугачев, — бегу целенький, невредименький, неприличный, в лохмотьях, одной рукой бриджи на себе поддерживаю, а другой палю из пистолета. Во была картина!

Лебедев улыбнулся Пугачеву, не столько его повествованию, сколько ему самому, его столь симпатичной неизменчивости, хотя Лебедев всегда был не охотник улыбаться, а сейчас тем более, когда Ольга лежала в глазной больнице и врачи предупредили, что спасти ей зрение, по всей вероятности, не удастся.

Лебедев, как всегда, при всех и любых опасностях, горестях, сосредоточенно и обдуманно готовился и к этому постигшему его и Ольгу несчастью. Он стал регулярно посещать отделение Общества слепых, договорился с педагогами, обучающими чтению на ощупь, прочел специальные по этим вопросам книги психологов, предупредил командование о своем решении уйти на пенсию, чтобы всей своей дальнейшей жизнью служить Ольге.

Он рассказал жене о том, как нашел мать Сони Красовской, и Ольга, взволнованная, взяла с него слово, что он сделает все, что возможно, для ее фронтовой подруги, и пообещала, что согласится на новую глазную операцию, если он разыщет Соню.

Сухощавый, тощий, в седине, как всегда, строго подтянутый, собранный, Лебедев слушал Пугачева с мастерски изображенной полуулыбкой на своем жестком лице, словно вызванной увлеченностью повествованием Пугачева, а сам напряженно соображал в это время, кому из сотрудников следует передать на время своего отсутствия дела, и мысленно перебирал характеры, способности, навыки каждого из них. Попутно он поймал себя на том, что, рассказывая Пугачеву о тех допросах, которым он подвергался в плену у союзников, и точно цитируя свои ответы, не вызывающие возмущения у допрашивающих его разведчиков, а напротив, деловой одобрительный интерес, все более возрастающий, он забыл упомянуть, что все-таки один молодой американский общевойсковой офицер, который доставлял его на эти допросы, дал ему однажды по физиономии. Это было воспринято Лебедевым не как унижающее оскорбление действием, а даже как утешительное свидетельство того, что те из амери-

канцев, кто честно воевал с фашистами, относятся к ним как к фашистам. Но говорить Пугачеву о том, что он там получил по морде, не захотел — это было выше понимания Пугачева. Как такое, да еще с удовольствием, можно стерпеть!

Прощаясь с Пугачевым, Лебедев осведомился:

— Ты, кажется, реактивной техникой стал заниматься? — И добавил, чтобы чуть-чуть поддразнить: — Еще у Петра, кажется, подразделение ракетного огня имелось в войсках.

— А что! — сказал Пугачев. — Он мужик способный, хотя и царем служил!

— Значит, ты вроде пиротехника?

— Это почему же? — обиделся Пугачев.

— Ну как же! Ракеты пускаешь! Хоть для салютов они сойдут?

— Ладно, — сказал Пугачев, — сам знаешь, что к чему...

Обнял, стиснул.

— Обрадовал, что пришел! А ничего мы ребята были? Подходящие!

37

После того как Лебедев представился Глухову и показал внушительное удостоверение личности, тот, указав на кресло, сказал:

— Прошу! — И с каменным лицом произнес: — Я вас слушаю!

— У вас на заводе работает Петухов Григорий Саввич?

— Да вы что?! — возмутился Глухов и, побагровев, заявил: — Да я за него чем угодно ручаюсь!

— Я тоже! — сказал Лебедев и пояснил: — Сослуживцы по фронту.

— Ну?! — просиял Глухов. — Чрезвычайно приятно. Вот обрадуется!

Лебедев приехал в заводской санаторий под вечер и, когда первые восторги встречи миновали, пошел с Петуховым перед сном прогуляться.

О своем пребывании в плену у союзников Лебедев рас-

сказал Петухову несколько иначе, чем об этом же говорил Пугачеву.

— Ленин указывал на то, как важно вскрывать те тайны, в которых зарождаются войны.

Одна из таких тайн — тайная война против стран социализма, ведущаяся империалистическими разведывательными организациями.

Выяснить, какие методы тайной войны они изберут сразу после конца войны и изберут ли, было целью моего исследования. Вам понятно?

Я и работал как исследователь, с той научной объективностью, которая в моем деле строго обязательна.

При весьма длительных допросах-беседах с очень компетентными сотрудниками американской и английской разведок что было любопытно? Когда речь заходила о том, как разведка СД пыталась получать сведения об экономическом потенциале СССР, организовывать диверсии, идеологические провокации, эта сторона вызывала повышенный и деловой интерес со стороны, допрашивавшей меня как сотрудника СД. Здесь они требовали рекомендаций, передачи опыта и, конечно, анализа тех просчетов, которые допустила фашистская Германия, недооценив советскую мощь, сплоченность народа.

— Ну что вы такое говорите! — смутился Петухов. — Даже слушать неприятно: вы — и такое!..

— А что поделаешь, работа, — развел руками Лебедев. И, то ли желая пощадить Петухова, то ли для того, чтобы перейти быстрее к главному, сообщил: — При всем старании моя разработка не показалась им достаточно ценной. И, как более достойный образец, они мне показали другую разработку, в составлении которой, как я потом выяснил у совместно со мной заключенных гитлеровцев, принимал участие сотрудник гестапо, ныне подданный, как мы выражаемся, одной определенной державы, где он стал агентом ее разведки и сейчас находится у нас под соответствующей опекой.

— Вот это хорошо, что поймали такую сволочь! — одобрил Петухов, потом, помедлив, произнес, словно упрекая, обижаясь за Лебедева: — И как вы могли там из себя такого разыгрывать, просто удивляюсь!

— А что поделаешь? Научное исследование требует доказательств посредством эксперимента, — сказал Лебедев.

— Но все-таки это геройство!

— Психотехника! — сыронизировал Лебедев.

О главном он решился сказать только на следующий день, когда было яркое солнце, палящий зной и все здесь выглядело сказочно. Как тонкий психолог, Лебедев обладал способностью учитывать все обстоятельства, благоприятствующие поставленной цели.

Как он и предполагал, супруги Петуховы восприняли его главный разговор только как счастливое извещение о внезапной радости и оставили в забвении то, на какие сложные переживания он обрекает Соню, ломает их сложившееся здесь жизнеустройство, чтобы начать новую жизнь на новом месте, когда сами Петуховы больше всего нуждались сейчас именно в спокойном жизнесуществовании.

Соня сияла. И только беспрестанно благодарила Лебедева, как вестника ее полного счастья, и торопила с отъездом.

Лебедев всегда готовился к своим служебным заданиям скрупулезно, педантично, тщательно, дальновидно, предусматривая всевозможные мелочи, так и здесь с перемещением Петуховых он сделал предварительно все, что мог.

Петухову он устроил перевод на вечерний факультет машиностроительного института и должность начальника цеха ортопедической мастерской при госпитальной клинике, с тем чтобы там Петухов сам находился под медицинским наблюдением и проходил курс лечения, как говорится, без отрыва от производства.

Соню устроил на работу к архитектору при горисполкоме.

Жилье хоть и на окраине, но зато в том доме, где родилась Сонина мать и прошло ее детство, с тем чтобы Красовская после больницы в памятной ей обстановке и рядом с дочерью смогла быстрее преодолеть свое тяжкое душевное заболевание.

Поэтому, когда Петуховы прибыли на новое местожительство, все уже было для них обеспечено Лебедевым.

При первой встрече с душевнобольной матерью, плоско висящей на костылях, с блуждающим взглядом и отсутствующим, мертвым выражением костлявого старческого лица, Соне довелось пережить все муки как бы совершенного при ней самой убийства матери.

И Петуховы все то время, которое прежде было их общей жизнью, отдавали теперь матери Сони — ежедневно, повседневно, как бы пытаясь вернуть жизнь смертельно раненному, находящемуся между жизнью и смертью не минуты и часы, а обреченному существовать длительно в этом состоянии, спасти из которого могло только словно переливание их душевных сил в опустошенную душу, длящееся бесконечно и мучительно для них самих.

Из всего бесчисленного множества человеческих подвигов этот длительный подвиг, исполненный самопожертвования, самоотреченности, самозабвения, чтобы медленно, кротко, терпеливо, не предаваясь отчаянию и безнадежности, в живом трупе пробуждать по крохам чувство жизни, самосознания и оберегать сохранившиеся животные инстинкты, вызывать их на сознательное человеческое самоощущение, — все это можно отнести к вершинам духовного подвига.

И постепенно к Красовской возвращалось то, что своими жизненными силами пробуждали в ней Петуховы. Но какой ценой!..

Рождение девочки уже не было тем баснословным счастьем, в котором ожидали этого Петуховы.

Соня, находясь в родильном доме, тревожилась за мать. Вернувшись, она металась между матерью и младенцем.

Петухов, в одной руке держа свою спеленатую дочь, другой кормил мать Сони и повторял с ней задания согласно составленному врачом-психиатром расписанию. Он должен был неустанно заниматься с ней по весьма сложной программе узнавания ею себя в жизни.

Зарплата в ортопедической мастерской была значительно меньше, чем на заводе, и Петухов подрабатывал в мебельной кустарной мастерской артели инвалидов, куда его зазвал бывший разведчик Бобров, которого он встретил, когда тот примерял сложный ножной протез, изготовленный ортопедической мастерской, где работал теперь Петухов.

И то, что дома жила мать Сони, доведенная пытками в спецблоке концлагеря до помешательства, и то, что он в ортопедической мастерской делал людям, искалеченным фашистами, протезы, и то, что город этот, переживший ужасы и разорение фашистской оккупации, только-

только поднимался из развалин, и то, что ребенок его, тот будущий человек, рожденный для будущего, сейчас бремя для Сони и она мечется между своей дочерью и своей матерью, изнемогая от душевной усталости, — все это удручало Петухова, вгоняло в тоску, в безнадежность.

А тут еще инвалид Бобров со своей неизбывной скорбью о павшей Нюре Хохловой, со своей обидой за то, что его обошли наградой за подвиг в крепости-монастыре, где он потерял ногу.

Но высветились сразу две радости. Красовская стала называть ребенка по имени дочери и, обращаясь к девочке, заговорила так, словно это была маленькая Соня. За этим пробуждением сознания последовали и дальнейшие.

И потом, в ответ на письмо Петухова Лебедеву о Боброве, была получена выписка в городской военкомат о давнем награждении Боброва орденом Отечественной войны первой степени.

Это так воодушевило Боброва, что он потребовал от Петухова стать вместо него заведующим кустарной мебельной мастерской, где зарплата значительно выше, чем в ортопедической, а развернуть дело по-настоящему возможностей гораздо больше.

— Нужда в протезах проходит, — шумел Бобров, — а в мебели, по мере улучшения жизни, нужда захлестывает.

Он водил Петухова по своим знакомым, кричал, словно радуясь нищете их быта:

— Видал? Что могло гореть, в печах пожгли для согревания организмов. От бомбежек и вся обстановка в домах сокрушалась. Вот дом новый выстроили, а на чем сидят, на чем едят? На пустой таре. А спят, гляди, на досках, положили на «козлы» — это разве спанье?

Бобров приволок на «левом» грузовике добытые со склада металлолома деревообделочные станки, а также списанные за изношенностью, пообещал гордо:

— Рабочую силу для их ремонта я тебе добуду со стороны наших заказчиков. Желаешь табуретку, стол, стул получить — будь любезен, пособи машину наладить нам, инвалидам Отечественной войны, как значится на вывеске.

Добыв наряд на ремонт парт в ремесленном училище, он оговорил, чтобы наставники-мастера отработали за

это, восстанавливая оборудование для мебельной мастерской.

Поскольку Петухову открылась возможность налаживать станочное оборудование, он дал согласие Боброву. А тот уже совершил комбинацию. В городе некогда была мебельная фабрика, теперь от нее остались лишь обгоревшие развалины, а в титульном списке горисполкома значилось восстановление мебельной фабрики. Бобров объявил мебельную мастерскую временным местоположением будущего мебельного комбината и на заседании горисполкома заявил, что Петухов является исполняющим обязанности директора мебельной фабрики во временном ее пребывании пока в качестве мастерской.

Поскольку оборудование мастерской в инвентарном станочном исчислении показалось в этих условиях внушительным, горисполком принял решение утвердить Петухова в качестве «и. о.» при условии, что, как только начнутся работы по строительству мебельной фабрики, он там по совместительству обязан будет проявить себя и в качестве помощника прораба по технической части.

— Товарищ Григорий Саввич Петухов лучшей ротой нашей дивизии командовал, без пяти минут инженер. Выдающийся передовик оборонного завода! — хвастал Бобров в горисполкоме. — И вдруг взялся за мебель, я даже не ожидал его согласия. Такой человек — и мебель!

И уже сами горисполкомовцы говорили Петухову, убеждая:

— Сейчас плотник на вес золота. Ведь отстраиваемся! Столяры все на учете. Двери, рамы — без них дома нет, одна коробка. А вы вот наладили станок под производство столярки. Вы уж пожалуйста! Мы вам пока бывший пивоваренный завод отдадим, точнее, то, что от него осталось, кое-что пособерем из оборудования станочного, а вы уж с домостроительной столяркой помогите. Мебель мебелью, а без крыши куда же ее ставить? Не на улицу же.

И Петухова захватила эта возможность механизировать производство столярки хотя бы приближенно к той степени организации производства, которую он помнил и чтил на своем бывшем заводе.

Согласившись взять на себя сан и. о. директора пока не существующей мебельной фабрики, местоположение которой напоминало узел обороны, подвергшийся дли-

тельному ураганному огню и затем взорванный при отступлении, Петухов испытывал чувство смятения. Кроме того, он считал, что для города, поднимающегося из развалин, для людей его, терпящих всевозможные лишения, мебель — это далеко не первоочередное в их безотлагательных и самых насущных нуждах.

Но он ошибся в своих опасениях.

Конюхов оказался прав, когда говорил на фронте о том, что победа в войне для советских людей означает не только воинскую победу, но и величайшую победу всего того, в чем заключается дух, всеобщая цель народа, его убежденность. И она породит новую воодушевленность и уверенность народа в своей созидательной силе, наполнит его сознание еще большим историческим достоинством, энерготворчеством во всех областях жизни. И слова «советский человек» будут произноситься на многих языках мира как высокий и многозначительный титул человеческой личности.

Хотя народная поговорка, уместная в трудные моменты жизни: «Не до жиру, быть бы живу», не была забыта, но по поводу того, что в городе восстанавливается мебельная фабрика, никто не счел нужным напомнить об этой вполне разумной в данной ситуации поговорке.

Конечно, никто и не считал, что мебель — это первая необходимость, когда не хватает жилья, когда идет восстановление электростанции, водопровода, хлебозавода, — словом, всего того, из чего состоит жизнеосновательный организм города, искалеченного войной, и без чего он не может обрести вновь свою полную жизнеспособность.

Но в советском человеке в равной мере развито как деловое понимание задач для текущего, так и вполне реалистическое осознание и дня грядущего.

И чем выше человек преисполнен ощущением грядущего, с тем большим азартом и воодушевлением он осуществляет дела дня сегодняшнего.

Эта духовная закономерность выявилась и в отношении к строительству мебельной фабрики.

Сюда на работу приходили после работы. Приходили те, у кого пока еще не было своего жилья, те, кто жил в тесноте; приходили бывшие партизаны, хорошо обученные бездомному скитанию в лесных чащах, в болотных топях, бывшие фронтовики, тоже отвыкшие от домашне-

го убранства, вернувшиеся после эвакуации и те, кто пережил здесь все тяготы фашистской оккупации.

И вот что ставило в трудное положение Петухова. К нему обращались не только с вопросами об инженерно-строительных указаниях, но и с вопросами: когда, какую и почем он будет производить мебель.

С одной стороны, эта уверенность людей в будущем внушала Петухову воодушевление тем делом, за которое он взялся. С другой стороны, эта людская уверенность вызывала опасение, сумеет ли он справиться с порученным ему мебельным делом.

Когда на совещаниях руководители работ на важнейших и главных городских объектах выступали со своими нуждами первостепенной и безотлагательной надобности, их речи звучали мощно, внушительно, как речи государственно мыслящих личностей. А что мог требовать Петухов? Подумаешь — мебельное производство.

Естественно, что слово на таких совещаниях Петухов получал последним, когда все уже утомились в спорах, в полемике и ресурсы на главное уже распределены, а тут он со своими мебельными проблемами. Но он все-таки бесстрашно выходил на трибуну, словно в рост во время атаки. И от снисходительных ехидных реплик отбивался репликами.

Прорабу хлебозавода он сказал:

— По-вашему, люди, как кони, должны есть стоя. А по-нашему, люди должны есть ваш хлеб за нашими обеденными столами, сидя на наших стульях.

Другому прорабу заявил:

— Вы не жилую тару должны выдавать, а жилища. Без мебели дом — ночлежка.

Третьему заметил:

— Вы рассуждаете как реставратор старья, а не как созидатель нового. Мы не латки накладываем на бедствия, причиненные войной, а должны дальнобойно, прицельно выстраивать все, и не только как было до войны, но и брать новый, более высокий рубеж жизни.

На реплику, что он, фронтовик, пренебрегает таким понятием, как сосредоточение главного удара на главном направлении, Петухов ответил:

— Без обеспеченного тыла не может быть победы как на войне, так и в жизнестроительстве. Даже при строительстве оборонительных укреплений положено пред-

усматривать все, что необходимо солдату для его жизненного обихода в них.

Так он «выбивал» цемент, арматурное железо, лесоматериалы крохами у тех, кто имел на это первоочередное и неоспоримое право.

И если его не сгоняли с трибуны решительными напоминаниями о регламенте, Петухов говорил взволнованно и воодушевленно о том, что строительство мебельной фабрики само по себе означает внимательную заботу государства о людях, свидетельствующую о том, что дальнейшим, главным направлением будет всеобщее улучшение жизни народа. И поэтому с такой самоотверженностью люди работают сейчас на восстановлении тех важных объектов, которые прямо не относятся в данный момент к их не устроенному еще жизнесуществованию.

Хотя кое-чего Петухов и добивался на таких совещаниях, но при этом он нес и существенные личные потери. Так, например, на него чувствительно падали такие упреки, как злоупотребление демагогическими приемами, попытки игнорировать реальность, противопоставление бытовых предприятий промышленным и склонность к отвлеченной риторике, чуждой деловитому хозяйственнику.

Пожалуй, в чем-то эти упреки были и справедливы.

Но Петухов еще от Конюхова воспринял обычай перед боем говорить с солдатами не столько о предстоящем бое, сколько о том, ради чего каждый должен выказать себя с лучшей стороны в этом бою, — ради той всеобщей хорошей жизни, во имя которой каждый боец не щадил своей собственной. И поэтому на совещаниях он говорил не столько о конкретных нуждах своей стройки, сколько о том, каким жизненным нуждам людей она назначена служить.

Но когда обсуждаются действительно главные строительные объекты города, без которых город — инвалид, и дотошно высчитывается каждый килограмм цемента, каждый арматурный прут, кубометр теса, метр стекла и всякого прочего стройматериала, слушать отвлеченные размышления молодого прораба, терять на это драгоценное деловое время многим казалось слишком расточительным. Поэтому Петухов не пользовался у многих крупных хозяйственников деловым доверием. Но если кое в чем и шли ему навстречу, то только потому, что знали: Петухов может, не пощадив себя, полезть на рожон на

любом совещании, хотя при этом ему самому не только от ведущего совещание приходится выслушивать немало резких замечаний и даже предупреждений в том, что он зарывается, говорит не по существу и еще не достиг должной зрелости, необходимой для руководителя.

Как всякий человек, Петухов потом, долго, мнительно и мучительно вспоминая эти упреки, переживал, пытался обучить себя большей выдержке, мысленно репетировал правильное поведение на совещаниях и каждый раз почему-то нарушал выработанную им самим разумную и четкую программу своего поведения и способа изложения своих соображений в рамках строгой деловитости.

Когда он жалобно рассказывал Соне о своих неудачах, она сострадательно сочувствовала ему. Но когда он изложил ей продуманный им правильный способ поведения, о котором повествовал увлеченно, обстоятельно, с учетом всех тонкостей заседательского обихода, и уверенно ожидал одобрения своему умственному труду в этом направлении, Соня осуждающе, сердито сказала:

— Зачем же притворяться таким, когда ты совсем не такой? Это же обман!

— Но раз я хозяйственник, значит должен вести себя как подобает хозяйственнику, — возразил Петухов и вдруг произнес слова бывшего своего комбата Пугачева: — А не выпендриваться!

— Нет! — сказала Соня, понимая по-своему это слово «выпендриваться». — Ты должен быть таким, какой ты есть. И если не годишься, пускай об этом сразу узнают, что ты не годишься. И чем откровенней ты будешь «выпендриваться», тем полезней тебе будет. Справишься, победишь, что в тебе плохое, потом это будет гораздо труднее.

— Так каким я должен, по-твоему, быть? — спросил вызывающе Петухов. — Чтобы всегда меня критиковали? Да?

— Тебя же критикуют не за то, что ты добиваешься, а за то, как ты добиваешься. Будто ты один главный заботчик о людях, а другие — нет. На словах, может, это и красиво, а на самом деле — некрасиво. Это все равно что во время боя уходить в тыл, сопровождая раненого, и потом упрекать бойцов, что они бесчеловечны.

— Значит, я с этим мебельным делом, по-твоему, в тылу окопался? — зло осведомился Петухов.

— Дело не в тебе, а в тех, кому твоя продукция назначена, — в людях. Ты им служишь, а не они тебе. А что главное и первоочередное, они сами решили, как в первые пятилетки, так и сейчас этого же придерживаются. А тебе неловко, что тебя на мебель поставили, а не машины производить, вот ты, выходит, ради своего самооправдания на других кидаешься.

Хотя слушать такое от Сони и было очень неприятно, как часто это уже бывало, она точно разгадала потаенное в Петухове и, зная, что обидит его этой отгадкой, не колеблясь, сказала ему ту правду, которая сейчас была ему полезной, потому что в борьбе за мебельную фабрику не избежал недозволенных приемов в средствах убеждения, или, как говорили артиллеристы, ударил запоздало по тому рубежу, который уже успели победно захватить свои.

38

Салютами первой категории, двадцатью четырьмя залпами из трехсот двадцати четырех орудий, страна отмечала победы в величайших сражениях, одержанные в годы Отечественной войны. Менее величественные военные победы также сопровождались соответствующей категории салютами, на всю жизнь запечатлевшимися в сердцах людей как предвестие окончательной и всемирно-исторической победы нашего народа.

Что касается успешных боев местного значения, то они даже иногда попадали в сводки Совинформбюро. А вот послевоенное непрерывное, длящееся днями и ночами двухлетнее гигантское трудовое, восстановительное, созидательное сражение советского народа на решающих победных этапах его, имеющих также мировое значение, почему-то не отмечалось торжественными салютами ни первой, ни второй, ни даже третьей категории, хотя эта величайшая трудовая победа нашего народа равноправно достойна быть вписана во всемирную историю, как вписана всемирно-историческая ратная победа в годы Великой Отечественной войны.

Город, в котором поселились Петуховы, очень часто упоминался во фронтовых сводках как оборонительный узел. На подступах к нему и в самом городе велись жесточай-

шие бои, имеющие тактическое, иногда оперативное, но не решающее стратегическое значение.

Кончилась война, и, хотя город этот уже никто теперь не называл по-армейски просто населенным пунктом и ему было возвращено его прежнее мирное имя, ничем особенно не примечательное в довоенном прошлом, но ныне он обрел историческое право на ту часть героической славы, которую боевым подвигом утвердили здесь те, кто сражался за него.

Поэтому жители города, разрушенного войной, отдавали свои силы не только тому, чтобы вернуть ему из развалин прежнюю внешность, но и тому, чтобы он обрел облик, в котором запечатлелась бы окрыленность народа-победителя, уверенно утверждающего и возможности грядущего.

Как всем городам-воинам вся страна оказывала помощь в их восстановлении, так и этому, известному по фронтовым сводкам населенному пункту.

Руководители города, всех рангов и уровней, испытывали в самих себе и со стороны общественности сложные и противоречивые влияния. С одной стороны, существовала неотложная необходимость скоростными способами преодолеть все бедствия, разруху и, прямо надо сказать, нищету, причиненные войной; с другой стороны — с не меньшей настойчивостью люди требовали того, чтобы их город, отстраиваясь, стал значительно лучше, чем он был до войны, и в облике его капитально, значительно красиво запечатлелось бы величие той победы, которую одержал народ ради жизни, во имя торжества всего того, что вдохновляло людей в годину военных испытаний.

Нет нужды рассказывать о заседательских и совещательных сражениях, когда в деловых обсуждениях сталкивались и тесно сплетались обе эти задачи, так трудно совместимые в данных, как говорится, конкретно-исторических условиях. Важно отметить одно: не обессиленными, не удрученными горестями, не подавленными трудностями в мирную, еще далеко не слаженную жизнь вошли наши люди, а с неугасимым огоньком извечного горения, убежденности в том, что не вчерашний, довоенный день должен стать прообразом их созидательных усилий, а день послевоенный, еще неизведанный. Завтрашний, грядущий, — во имя этого победного дня они и претерпевали нынешние лишения, как в годы войны во имя Дня Победы.

Именно в силу этих обстоятельств и получил Петухов некоторую посильную поддержку в строительстве мебельной фабрики, одновременно исполняя должность заведующего кустарной мебельной мастерской, куда заказчики приносили для ремонта старый, искалеченный хлам, чтобы было на чем сидеть, на чем обедать, на чем спать.

В сущности, деятельность Петухова была такой же, как и у всех людей, занятых восстановлением города, разница была только в масштабах. Одни разбирали полностью разрушенные здания, чтобы пригодный кирпич использовать для восстановления не полностью разрушенных зданий, другие рыли котлованы под фундаменты зданий, таких, которых никогда не было в городе, но которые должны были придать ему новый, величавый облик.

Оборудование бывшего завода, изготавливавшего прежде метизы для областного потребления, разместили в нижних этажах жилых зданий, бывшие его цехи стали просто слесарными мастерскими, обслуживающими неотложные нужды городского хозяйства в то время, как на строительной площадке была уже вывеска с названием этого завода, только он именовался не метизным, а машиностроительным, с назначением производить такие изделия, которых во время войны не было.

Вокруг строительной площадки на огромном пространстве простирались огороды граждан города, с которых они подкармливались дополнительно к пайкам, а некоторые участки были даже засеяны пшеницей. Такие же огороды были во дворах домов, и даже палисадники были засеяны гречихой, просом, горохом, засажены картошкой.

Ночами, хотя уже работала электростанция, город был темен. Не хватало стекла, и много оконных рам еще было заделано фанерой.

Не было и деревянных тротуаров, так как доски их пошли в свое время на топливо. На домах — жестяные кровли в дощатых заплатах, так как кровельная жесть пошла на ведра, чайники, кружки, бадейки для стирки, когда вместо мыла использовалась печная зола.

Шаги жителей города были отчетливо слышны издалека, так как ходили на деревянных подошвах, а наиболее удачливые мастерили себе подошвы из старых автомобильных шин, те ступали мягче и даже неслышно.

Часть жителей заняла себе под жилье бывшие оборонительные укрепления, землянки, блиндажи, доты, придав им, конечно, внутри гражданский облик.

В городе был разрушен вокзал, но вся территория, примыкающая к путям, представляла собой огромное складское хозяйство со штабелями стройматериалов, и здесь выгружались эшелоны со всех краев страны и уходили обратно пустыми, потому что городу пока нечего было в них грузить.

Как руководитель-хозяйственник Петухов не имел ни практического, ни психологически-тактического опыта. Единственно, чем он располагал, — это только фронтовым и, конечно, заводским опытом. Как на фронте и на заводе, так и здесь он в равной степени испытывал всегда ему сопутствующее уважение к людям умелым; и чем тяжелее были условия для проявления умелости, тем больше росло в нем восхищение ими, и именно эта его душевная черта и привлекала к нему людей.

Его откровенная открытость радоваться людьми или огорчаться ими служила прощающим обстоятельством, когда он как руководитель допускал те или иные ошибки, потому что привык прежде всего, как и на фронте, взыскивать с самого себя, соизмерять, как бы он поступил сам в подобных обстоятельствах, прежде чем делать замечания об упущениях другому. Эта его фронтовая привычка понять другого, как самого себя, выявить сначала причину и только после этого судить о последствиях, с одной стороны, роняла частенько его административный авторитет, но с другой — он обретал самое важное для любого руководителя — доверие к себе, уверенность в том, что он по-человечески умеет разбираться в каждом.

Как по фронтовому обычаю офицер, приходя командовать новым подразделением, кратко рассказывает о себе, в каких боях и как он участвовал, так и Петухов доложил о себе и в ремонтной мастерской, и на строительной площадке фабрики, чем сначала удивил людей и даже вызвал недоумение, но получилось так, что этим своим представлением себя он как бы разделил между ними все то, чего ему пока недостает как руководителю и что они должны восполнить теперь все вместе с ним.

Петухов считал себя удачливым человеком. Воевал, а живой и даже не сильно поврежденный. У него Соня и дочь. Доверили по работе ответственное положение, зачеты сдает в вечернем, нормально — скоро инженер, поэтому он к людям относился всегда несколько стеснительно, полагая, что ему хорошо, а им вот еще плохо; и когда к нему обращались с разного рода просьбами, да-

же если и не всегда обоснованными, Петухов, теряя много в глазах руководства, досаждал ему в этих случаях настойчивостью в разрешении таких просьб.

В жизни Петуховых никогда не возникали моменты, которые, они считали, не могут сами преодолеть, поэтому полагали, если кто кого-нибудь о чем-нибудь просит, — значит, это та крайность, обойти которую невозможно.

Жили они на окраине города скудно, тесно, не замечая всего этого, поглощенные своими перворадостями: у Зоси Владимировны, матери Сони, все больше и отчетливее пробуждается сознание, и дочь Катя уже произносит весьма внятно: «Папа, мама, баба». Сам Петухов даже в сырые, промозглые ночи почти высыпался, не испытывая тех мук от ранений, какие испытывал совсем недавно, скрывая от жены, притворяясь спящим и всю ночь лежа бессонно, с плотно сжатыми веками и стиснутыми зубами; и весь рабочий день он чувствовал тогда вялое изможденние, которое перебарывал, словно беспрестанно переплывая огромное водное пространство, когда нет сил и тянет погрузиться на дно.

Соня, работая у городского архитектора, приносила домой эскизы будущих зданий, красивых, величественных, и развешивала их на бревенчатые, с отвалившейся штукатуркой стены комнаты; и когда Петуховы рассматривали эти эскизы, обсуждали их, у них было такое ощущение, что вот он, их новый город, уже существует, хотя за окнами немощеная дорога, провалы в череде зданий на месте разрушенных и еще нет здесь, на окраине, даже уличного освещения.

Вначале Соню огорчало то, что она не повидала Нелли Коровушкину, которая приезжала в больницу к ее, Сониной, матери и уехала, как ей сказали, расстроенная, и красивое лицо ее было сильно исцарапано руками матери Сони, которая почему-то возненавидела Нелли и всегда страшно кричала, когда та приближалась к ней. Но потом Зося Владимировна с трудом, как тяжкий сон, вспоминая, говорила о том, что, когда ее подвергали экспериментальным медицинским истязаниям в лагерном спецблоке, от фашистки-медсестры, ассистирующей палачу-хирургу, всегда сильно пахло духами, и запах их сливался с теми муками, которые она испытывала, подвергаясь палаческим операциям. И Соня вспоминала о Нелли, которая даже на фронте любила сильно душиться и, очевидно, и теперь

была надушена, и запах ее духов у душевнобольной матери и вызывал приступы отчаяния и ярости, когда к ней в больнице приближалась Нелли. И это же самое чувство вызывали у нее все люди в белых халатах, когда она находилась на излечении.

В лагерных спецблоках фашистские медики полностью соблюдали чопорный торжественный ритуал почтительности и благовоспитанности, принятый во взаимоотношениях медицинского персонала в самых знаменитых клиниках Германии, где они получили профессиональное образование. И хотя латынь была чужда и даже политически противопоказана истинным арийцам, но, поскольку имперское управление пропаганды еще не успело германизировать медицинскую терминологию, они, как и все медики, пользовались латынью, деликатно лишающей пациента возможности быть в курсе того, в каком состоянии находится его здоровье.

Готовясь к своим палаческим операциям и производя их, они механически следовали тем правилам, которые предписывались учебниками для соблюдения личной гигиены медика.

Особо тщательная подготовка, прежде чем войти в операционную в стерильно белых халатах, глубокомысленные, озабоченные предварительные размышления вслух о приемах ведения операции, подобные консилиумам, опять же латынь были вызваны торжественным сознанием того, что они свершают нечто новое в медицине, даруя ей иное, более существенное, более важное для империи назначение, чем цель продлевать и спасать человеческие жизни, превращая медицину в средство массового и наиболее экономичного уничтожения человеческих жизней.

Хотя операционное помещение спецблока по своему санитарному состоянию не соответствовало требованиям даже сельского ветеринарного пункта и запах гниения был подобен запаху из разверстой могилы, это не смущало фашистских врачей, ибо зверские опыты, которые они проводили здесь над людьми, доселе никто не осмеливался проводить даже над животными, а раз так, то они выработали для себя взгляд на таких подопытных, как на материал, находящийся ниже уровня животного, но обладающий человеческим организмом. Воздействие разного рода экономичных поражающих средств на различные участки человеческого организма и было целью их палаческих исследований, имеющих военно-практическое значение. После

удаления доз костного мозга у Зоси Владимировны Красовской фашистские медики поставили себе задачу продлить жизнь оперированной для того, чтобы выяснить донорские пределы в последующих подобных операциях у данного объекта, и Красовскую некоторое время лечили в спецблоке по всем принятым правилам.

Потом, в нашей больнице для душевнобольных ее состояние не улучшалось, а ухудшалось, потому что ее продолжали преследовать ужасающие видения фашистских палачей в белых халатах, что и понял Лебедев, настояв на том, чтобы лечение ее началось со встречи с близкими в иной, не больничной обстановке.

Но, когда Лебедев подвергался допросам разного рода разведок как офицер СД, он не мог понять, почему его так тщательно допрашивают об эффективности действия сгущенного бензина, впервые примененного в фашистских бомбах при бомбежке Ленинграда и впоследствии получившего название напалма, который стал бомбовой начинкой ВВС США, как и фосфорные бомбы.

На теле Зоси Владимировны Красовской имелись бурые сморщенные глубокие впадины от опытных применений доз напалма и фосфора, идущих на начинку этих бомб. Но так как после извлечения костного мозга она была еще слаба, ее подвергли испытаниям лишь малыми дозами этих веществ.

Лебедев полагал, что во время допросов деятели разведок хотят получить от него сведения об опытах с напалмом и фосфором над заключенными в спецблоках как улики в предстоящем процессе над фашистскими преступниками. Смущало лишь то, что его следователей больше интересовали чисто технические результаты применения этих веществ, чем сама бесчеловечность их использования.

Что касается взятия костного мозга у заключенных спецблока, то здесь Лебедев понимал, что «технический интерес» следователей особо вызван тем обстоятельством, что при работах над созданием ядерного оружия в США так же, как и в фашистской Германии, пострадавшим от чрезмерных доз облучения делали пересадки костного мозга, применяя это как средство лечения. В фашистской Германии костный мозг стали добывать в спецблоках от заключенных. Поскольку, как это следовало из личного дела того офицера СД, обличье которого принял Лебедев, этот офицер не имел прямого отношения к данным рабо-

там, от Лебедева и не ожидали в этой сфере ценных и полезных сведений, но других сотрудников СД, находящихся в совместном с Лебедевым заключении, имевших прямое отношение к медицинским исследованиям в спецблоках, допрашивали долго, обстоятельно, требуя сообщить все практические и технические подробности и аналитические результаты эффективности применения подобных средств.

Посетив вскоре семейство Петуховых на новом месте их жительства и узнав, что Зося Владимировна Красовская успешно поправляется, Лебедев, как это ни странно, уклонился от всяких разговоров о деловой цели своего приезда.

Особое внимание он уделил Соне. Уединяясь с ней, подолгу беседуя, пытливо и со всеми подробностями расспрашивал ее об уходе за новорожденным младенцем. Он вел себя как следователь, с той серьезностью и методичностью, которые были ему свойственны и вообще, и как человеку определенной профессии. И когда Соня обиделась за слишком интимные подробности, интересовавшие Лебедева, он сказал, как всегда сухо, если вопрос касался его лично:

— Дело в том, что Ольга скоро станет матерью, но поскольку врачи обещали после операции сохранить ей зрение только на непродолжительное время, я должен быть в курсе всех материнских забот, чтобы взять на себя большую их часть. — Потирая руки, объявил: — Рождение ребенка для меня радость, а для Ольги спасение от того горя, которое она будет испытывать с утратой зрения.

— Какой ужас!.. — в отчаянии воскликнула Соня.

— Я повторяю, — сухо произнес Лебедев, — мы с Олей счастливы. И к своему несчастью настолько подготовились, что будем вполне счастливы, когда нас будет уже не двое, а трое. — Произнес задумчиво и опечаленно: — Конечно, очень бы хотелось, чтобы Оленька смогла подольше видеть своего ребенка. Но это покажет время. В сущности, все главное для счастья у нас теперь уже есть.

Вместе с Петуховым Лебедев зашел в его ремонтную мебельную мастерскую, где хозяйничал Бобров. Передал Боброву фотографию памятника на могиле Нюры Хохловой, где в камне была запечатлена статная девушка, мало похожая своей фигурой на Нюру, но лицо, приподнятое ввысь, полуоткрытые ждущие губы были ее, Нюрины.

Бобров трудно и тяжко дышал, держа в руке фотографию, потом сказал сипло:

— Пойду очки надену, так плохо видно.

Ушел и больше не вернулся...

Побывали и на стройке мебельной фабрики. Но поговорить здесь не удалось. Петухову, как всегда, пришлось немедля разрешать множество текущих дел, и Лебедев терпеливо ждал, пока он освободится от самых неотложных.

Когда возвращались обратно, Лебедев как бы в раздумье сказал:

— В связи с выходом книги американского инженера Тейлора Ленин написал о науке управления, о том, что руководителю, помимо ума, образования, специальных знаний, нужно обладать тактом, энергией, решительностью, честностью, рассудительностью, здравым смыслом и крепким здоровьем.

— Со здоровьем-то у меня пока ничего, нормально, — вздохнул Петухов.

— А остальное?

— Овладеваю, как могу. — Признался горестно: — Конечно, со срывами.

Лебедев, в свою очередь, также признался:

— Для нас ведь тоже, как и в твоем деле, способность предвидеть, организовывать, согласовывать, контролировать, рассудительность, смелость, чувство ответственности, высокий уровень общей культуры, точность, самообладание, чувство справедливости — качества всенепременные.

— И как? — спросил Петухов.

— Тоже овладеваю — всю жизнь, — сказал Лебедев и тут же деловито заявил: — Зосю Владимировну я решил не приглашать в качестве свидетельницы обвинения. Во-первых, по соображениям сохранности ее душевного спокойствия. Во-вторых, этот тип на перекрестном допросе с ему подобными во всем признался. И, в-третьих, я не помню, говорил тебе или нет, там, у них, мне один американский офицер весьма ощутительно, как фашисту, оплеуху дал. Потом он служил в американской военной комендатуре в Берлине, и я решил с ним встретиться уже как советский офицер. Как говорится, поделились впечатлениями. Оказался, как я и предполагал, порядочным человеком, хотя и далеким от каких-либо левых

взглядов, честный, прямой... Выпустил там у себя, вернувшись из армии домой, не то что книгу, а так, вроде брошюры, с воспоминаниями о своей службе, ну и изложил много правдивого и существенного для мира. Там он и упоминает Красовскую, которую пытались не возвратить на Родину. Вот, собственно, и все... Так что мой приезд внеслужебный. Главное — доложить Оле, как вы все тут живете. — Произнес вполголоса, как бы только для себя: — Она ведь очень хорошая, всегда не о себе, а о других и обо мне тоже. Учится быть слепой уже давно, скрывая от меня. — Заявил гордо: — Так что с такой женой мне сильно повезло. На всю жизнь.

Понимая, как трудно Лебедеву говорить об Ольге, Петухов спросил:

— Но ведь вас могли обличить бывшие сослуживцы того фашиста, за которого вы себя выдавали?

— Конечно, — равнодушно ответил Лебедев. — Один такой нашелся. Доказывал на допросе, что я не тот, за кого меня принимают.

— Ну и как же?

— Очень просто. Каждый профессиональный следователь отлично осведомлен в этике преступников. Я на допросе тоже упорно утверждал, что знать его не знаю. И заявил, что готов давать любые показания, за исключением тех, которые могут послужить материалом для обвинения моих сослуживцев. Сочли нас обоих только стойкими, преданными друг другу фашистами. — И, чтобы избежать этой темы, Лебедев сказал с обычной своей осторожной улыбкой: — А батальонный-то ваш Пугачев — теперь генерал, ворочает новой техникой. Но характер остался прежний, лихой... Как-то во время стрельб забрела в район поражений корова, он на мотоцикле помчался, виляя между разрывами, к корове и из зоны ее, как тореадор все равно, изгнал. Потом отшучивался, говорит: «Корова колхозная, еще в суд на армию подадут. Вот и принял экстренные меры».

— Как тогда с фашистским тягачом, которым они хотели утащить к себе подбитый танк, — вспомнил Петухов.

— Именно, — согласился Лебедев, но тут же строго заметил: — Генерал Пугачев сейчас в небесном пространстве таких бугаев гоняет, встреча с которыми весьма и весьма, я бы сказал, никому не рекомендуется...

— Это что же такое? — спросил Петухов.

— Так, предметы, обеспечивающие нам полную возможность заниматься и мебельным производством, — уклончиво ответил Лебедев.

39

Председатель горисполкома Порфирий Игнатьевич Вычугов длительное время работал в солидном финансовом учреждении, где он выучился своеобразной категорической манере отдавать разного рода приказы и распоряжения, затем некоторое время строжайше запрашивать об их исполнении.

Если происходили заминки, срывы, то он повелительно требовал от виновников письменных объяснений и по ним судил о личности провинившегося и об обстоятельствах, вызвавших срывы и заминки. Затем составлял по этим объяснениям краткую докладную и направлял ее по адресу выше его должности.

Все документы, которые он мастерски создавал, как мозаику из цифр, фактов, выбирая из набора типовых служебных приказующих выражений наиболее подходящие для окончательного вывода, выглядели при прочтении убедительными и исчерпывающими. Но иногда получалось так, что провинившиеся, в свою очередь, присылали объяснения, не менее мастерски составленные, чем запрос Вычугова, и их мозаика оборонительных цифр и фактов оказывалась более стойкой при прочтении, чем атакующий разносный запрос Вычугова.

И тут уже происходили встречные бои-переписки, где каждая из сторон стремилась одержать победу над другой, удерживая позиции вокруг приказов, отданных разного рода инстанциями в разные времена, не всегда соответствующих задачам сегодняшнего дня, тем более завтрашнего. Но поскольку приказов было много, из них при известном опыте можно было выбирать именно те, которые нужны были для подтверждения твоей правоты и опровержения возражающей стороны, которая также пользовалась такими же приемами в этой борьбе.

При всем этом нужно отметить, что Вычугов работал самоотверженно денно и нощно, приходил в свое учреждение первым, покидал его последним. Не пользовался

служебной машиной, питался в учрежденческой столовой вместе со всеми служащими. При деловых беседах избегал говорить «я», а говорил «мы» по соображениям скромности.

Но вот однажды он получил вызов в высокое учреждение, к товарищу Минину по, казалось бы, незначительному вопросу.

Вычугов взял с собой все необходимые бумаги, составил предварительно по ним тезисную докладную, зная, как государственно дорога каждая минута служебного времени товарища Минина, чтобы изложить все предельно кратко и четко.

Минин радушно принял его в своем огромном кабинете, заставленном книжными шкафами, извинившись за то, что он без пиджака и без галстука, с расстегнутым воротничком сорочки, — для удобства в работе. Усадил Вычугова за отдельный столик, угостил чаем, а сам только с наслаждением беспрестанно курил, с аппетитом причмокивал, глотая дым и разглядывая Вычугова выпуклыми любопытными глазами. Выслушав краткую, четкую и мастерски составленную Вычуговым докладную, Минин поблагодарил его за все эти качества его информации. Отметил, что он даже завидует такому умению кратко излагать дело по существу, но потом стал расспрашивать Вычугова о тех людях, которые должны были выполнять эти приказы и распоряжения, расспрашивать так, словно они были близкие родственники Вычугова и он обязан знать о них все: как они живут, какие у них характеры, склонности, стремления и даже переживания. И когда Вычугов, пользуясь материалами отдела кадров, стал отвечать Минину в пределах анкетных сведений и служебных характеристик на должностных лиц, Минин сокрушенно развел руками и сказал нахмурясь:

— Так это, дорогой мой, бумажные сведения, а мне хотелось бы знать ваше собственное, личное о них мнение. — И стал рассказывать о тех людях, которых знал Вычугов только по взаимной переписке, такое, словно они были его, Минина, родственниками, — одни вполне достойными, а другие недостойными. Одними он хвалился, на других сетовал так, словно искал себе сочувствия и поддержки у Вычугова и просил помочь сделать так, чтобы они стали получше.

— Вот видите, с кем нам приходится работать, — говорил увлеченно Минин. — Одни больше той должности,

которую занимают, другие — меньше. Одних нужно, выходит, приподнять, а других подтянуть. А вы — что же получается? Рулеткой из бумажной ленты рост и дела каждого меряете. Разве это правильно? Должностное звание должно соответствовать знаниям. Профессиональным, конечно. Но без человекопонимания не то что людьми, а сам собой не поруководишь. Вот у Энгельса, помните? Личность характеризуется не только тем, что она делает, но и тем, как она это делает. Я вот вас за краткость докладной похвалил, хорошо составлена, четко, ясно. Но ведь дела у нас и люди сложные, а все можно упростить до такой крайности, что это важнейшее для нас — кто и как — выпадет. — Задумался, жадно глотая дым и потирая грудь ладонью под сорочкой так, словно ему душно было в обширном кабинете с настежь открытыми окнами, спросил: — Не обиделись?

Спустя некоторое время после этой встречи Вычугов выехал в составе комиссии по восстановлению разрушенного войной освобожденного района и остался там сначала в качестве начальника материального снабжения, а затем был избран председателем городского исполкома.

Обладая строгой и стройной логикой делового мышления, Вычугов частенько ставил Петухова в трудное положение на заседаниях исполкома, требуя от него четкого, согласованного хозяйственного расчета в каждом вносимом предложении.

Когда предложения Петухова не поддерживались, Вычугов просиживал с ним ночи, обучая его всем тем сложностям, из которых складывается деятельность хозяйственника во множественных взаимоотношениях с ведомствами, другими хозяйственниками и учреждениями. Но привычка сановно держаться с подчиненными не покидала Вычугова, и он не был расположен к беседам помимо дела. Коренастый, лысоватый, с малоподвижным лицом, он постоянно бывал хмур и озабочен. В гражданскую войну служил в Волжской флотилии боцманом на бронекатере, а затем за хозяйскую умелость и твердый характер был назначен членом правления банка, учился на финансовых курсах. Словом, как он однажды сказал о себе неприязненно: «Был водоплавающим, а теперь на суше служащий, вместо штурвала кручу ручку арифмометра, плаваю в бумагах».

Как птице от природы присуще штурманское чутье,

так и Вычугов обладал прозорливым, терпеливым умением определять главный курс в многосложном течении поступающих и исходящих бумаг и неуклонно ему следовать.

Но при всех обстоятельствах он незыблемо стоял стражем установленного законами государства правопорядка. И поэтому к документам, распоряжениям, изложенным на разного рода бумагах, относился с таким же почтительным усердием, как прежде ко всем командам, отдаваемым капитаном его бронекатера.

Как-то проникшие на бронекатер анархиствующие элементы пытались захватить над командой политическую власть, провозглашая безвластие. Вычугов вступил в борьбу с ними как большевик и как боцман, преданный строгому распорядку флотской службы, и его пытались повесить на мачте, «как цепного пса, охранителя этого распорядка».

С тех пор в нем жила ненависть, а затем неприязнь к каждому, кто под тем или иным видом пытался принизить или обойти законы и правила советской службы, ибо в их незыблемости он всегда ощущал повелительную команду той Советской власти, за которую он, архангельский мужик-моряк, воевал и которую отстоял на многих фронтах гражданской войны.

Петухов не знал всего этого, но, хотя и не проникался душевной симпатией к Вычугову, испытывал к нему уважение.

В рассуждениях, советах и указаниях Вычугова он прежде всего почувствовал нечто такое, что было свойственно в известной степени работникам штаба, планирующим боевую операцию и всевозможно обеспечивающим ее, исходя из множества самых противоречивых данных, придавая для осуществления ее строго необходимые средства, и не поддающимся настояниям, чтобы выделить лишние стволы.

Этому штабному умению мыслить не только действиями своего подразделения, а всей совокупностью взаимодействий войсковых подразделений разного рода войск, составляющих армейский организм как единое целое, и обучал Вычугов Петухова, только с той разницей, что это были не войсковые части и подразделения, а взаимодействующие предприятия, хозяйства, ведомства, учреждения, заводы и фабрики, транспорт, организации, призванные осуществлять во взаимосвязанном единстве и то, че-

му предназначен был сам Петухов, как и. о. директора будущей мебельной фабрики.

— По-партийному — значит по-государственному, — строго говорил Вычугов, — а по-государственному — значит по народному интересу. А он, этот интерес, и ближний и дальний — у каждой задачи своя дистанция. А то либо отстанешь, либо оторвешься, забежишь вскачь вперед. Если говорить по-флотски, курс тебе дан, но надо все рассчитать для прохождения курса: и расход топлива, и запас провианта, и всякое непредвиденное. Встречный ветер, шторм, значит, перерасход топлива, потеря скорости хода, а прийти ты должен к назначенному пункту в точно назначенный срок, то есть по плану. А план — это закон! Приказ Советской власти как ходовое расписание: нарушил — слезай с мостика! Любая наша здесь стройка — все равно что транспортник. Он еще в плавании, а на земле его груз ждут в точно назначенное время. Лес, цемент, железо, любые его грузы имеют свое строгое и незамедлительное назначение, все должно пойти в дело сразу после доставки. Получатель — народ, Советская власть!

Вздохнув, Вычугов заявил:

— Вот, значит, какая механика нашей работы. — Предупредил сурово: — И чтобы это слово презрительное «бумаги» я от вас больше не слышал! Документ! Это правильное слово. Это ответственно! Поставил свою подпись — значит, присягнул к исполнению. Ты служащий не кому-нибудь, а Советской власти. И служебная наша дисциплина, как и армейская, содействует исполнению долга, а вовсе не для подчеркивания того, кто какую должность занимает. Это преданность делу, а вовсе не личностям. Я так считаю...

Когда на заседании горисполкома возникла дискуссия, что́ следует восстановить в первую очередь: городской театр или вокзал, Вычугов сказал хмуро:

— Вообще-то я не любитель спектаклей. Но вот знакомился с материалами архива довоенного. Число ежедневных посетителей театра было значительно больше, чем количество приезжающих и отъезжающих по железной дороге. Исходя из этих цифровых данных, считаю — театр!

Хотя такой статистический подход к решению задачи многим показался слишком упрощенным, все же то, что

председатель исполкома стал изучать городские архивы и по ним вроде бы научно определять первоочередные нужды, вызвало уважение.

Так он настоял, чтобы бани строили не на прежних местах, а в тех районах, где больше всего жителей было занято на промышленных предприятиях. Заявил строго:

— Физический труд есть физический труд. Баня — тут и необходимость, и перворадость телесная. Раньше в городе было мало промышленных предприятий, а теперь будет много. Значит, их тыловое обслуживание надо приблизить к объектам. И тут я с генпланом не согласен!

Так же резко он выступил против строительных организаций, которые, восстанавливая старые здания, их подвальные и полуподвальные помещения отделывали под квартиры. Сказал с негодованием:

— Первый лозунг Советской власти какой был? Переселить трудящихся из подвалов. А вы что делаете? Обратно вселять? Не позволим!

И хотя такое решение грозило срывом плана сдаваемой жилой площади и, значит, дурными для самого Вычугова последствиями, он настоял на том, чтобы подвалы и полуподвалы относились к складским, служебным, производственным или торговым помещениям.

Так же он потребовал на местах разрушенных начисто зданий не возводить всюду новые, а оставлять площадки для скверов и садиков.

— Прибавить в новых по этажу — вот вам и экономия земельной городской площади, — сказал Вычугов. Добавил хмурясь: — До революции здесь у каждого купца за каменным забором свой сад был. А мы обязаны такие сады на улицы беззаборно вынести. Кстати, все оставшиеся кирпичные заборы надо разобрать, пустить в дело.

Изучая архивные материалы старой городской управы, Вычугов нашел там заявку на разработку гончарных глин и предложил кирпичному заводу наладить из них производство черепицы, так как кровельного железа не хватало, а здание древнего костела было покрыто черепицей из местной глины, изготовленной некогда купеческим кирпичным заводом. И тут же он изложил экономические

выгоды такого производства, учтя стоимость железа, его периодическую ремонтную окраску, недолговечность, опять же оперируя бюджетом двух довоенных домоуправлений. Здание одного было покрыто кровельным железом, а другого — заграничным шифером.

И Петухов внимательно постигал хозяйственные методы Вычугова, вдумчивые и обоснованные способы доказательства их целесообразности, вытекающей из тщательного предварительного изучения, расчетливого обдумывания и при этом терпеливого и уважительного согласования со всеми сторонами, причастными к решению подобных вопросов, стараясь переносить их в дело, ему порученное, и осваивать их.

Хотя мебельная фабрика находилась еще в стадии строительства, первые ее цехи уже были заняты производством, но не мебельным, а домостроительных материалов.

— Товарищ Петухов! — говорил Вычугов, плотно сидя в массивном старинном кресле. — Вы на мне возможности громкости своих голосовых связок не испытывайте. Отсутствием слышимости не страдаю. — И, нежно оглаживая толстыми ладонями мощные ручки кресла, объявил одобрительно: — Вот вещь на века! На всю эпоху! — И, хитро сощурясь, спросил: — А почему? Дерево выдержанное. Годами в штабелях лежало, вялилось, сохло, обезвлаживалось. Выходит, капитализм желал себя в такой прочной мебели увековечить! А ты что же, желаешь нам ее из сырых досок сколачивать? — Поднял величественно руку, останавливая таким жестом протестующий возглас Петухова, сказал: — Сушилки я обустроил. Материал там уже сложен. Значит, выжидаю. А ты на меня, как на глухого, кричишь, волнуешь. Заметь, если на производстве будешь так — грубость на психику действует, снижает производительную способность. Понял? — Осведомился недоверчиво, опять ласкающе поглаживая ручки кресла. — Вот если бы ты такие долговечные предметы мог производить, тогда тебе почет и уважение.

— Если вы такой любитель старины, — сердито и обидчиво сказал Петухов, — так вам следовало бы тогда жениться на старухе. А нам такие изделия — все равно что шпоры танкисту!

— Смотрел я ваши эскизы, — неуязвимо-спокойно сказал Вычугов. — Нет в них ни внушительности, ни солидности. Но! — поднял он указательный палец. — Одобрил!

Почему одобрил? Ум в них есть. Экономичность, древесная фактура без подделки подо что-нибудь иное. Честная мебель. Я бы сказал, без претензий, чтобы в ней выразить памятник эпохе, как вот, скажем, в этом кресле капиталистическая запечатлена: дуб, а сделано все под бронзу, и сидеть в нем хорошо, как монументу.

— Нравится?

— Кресло внушающее. А вот место в нем — зависимо от того, как человек служит делу. С умом или с одной только прытью. Значит, моя резолюция на твоих эскизах такая: не богато, но чтобы красиво и прочно. Ясно? Далее информирую. Первые, пробные модели я отправил в общежитие ремесленников. Велел коменданту: не препятствовать ребятам баловаться на них. Если через месяц-два не поломают, не искорежат, значит, испытание, считай, прошли. И только после этого будет моя окончательная резолюция.

Как оружие на полигоне испытывают, так и мебель в общежитии ремесленном сейчас испытываю. Устоит — пойдет. Не устоит — устраняй обнаруженные недостатки: крепления, клей, лаки, фурнитуры и прочее. — Побарабанил толстыми, как песты, пальцами по клеенчатой обивке стола, сказал с упреком: — То, что вы сейчас домостроительную столярку гоните, это не только экономическая первоочередная необходимость, но и переходная стадия на более тонкое и сложное производство — и коллектив отшлифуется, и методика производства, и у тебя ума и опыта прибавится. — Сказал задумчиво: — Мы во всем обязаны освобождать человека от излишнего малопочтенного труда. Вот, скажем, это кресло! Ведь уборщица, став на коленки, все его завитки, загогулины тряпкой протирает от пыли. А за что я ваши эскизы одобрил? Простота конструкции, противопыльные плоскости, махнул — и все блестит... Потом — вещь человека воспитывает. Она должна не возвышаться над ним, а служить ему, его надобностям.

— Почему же вы тогда так это свое кресло хвалили?

— За глупость. За то, что оно увековечило нам то, что нам вовсе не надо. Чтобы человек дорогой вещью над другим возвышался. Понял, на чем я тебя ловил? Вы там инкрустацию себе позволили, так я ее вычеркнул, исходя из этого самого, что сейчас сказал!

— А в здании городского театра колонны, портики,

лепка, вход как триумфальная арка... Перерасход средств и стройматериалов допустили? — спросил Петухов.

— Допустил! — сказал Вычугов. — Театр для чего служит? Чтобы человека на возвышенное, на хорошее настроить. Поэтому он должен внушать своим видом что-то особенное, значительное. Это не просто дом: вошел, побыл, поглядел про жизнь и, как из дома, вышел и пошел к себе домой. Общественное здание — это полноправное украшение города и, значит, всем как украшение города служит. Торжественно театр выглядит? Торжественно! Что же, по-твоему, мы после такой победы не имеем права на торжественность?! — Помялся, произнес задумчиво: — Конечно, эти полые внутри колонны никакой тяжести на себе не держат, и гипсовая лепка пылиться будет. Но ведь другого ничего пока нет, чтобы торжественность в архитектуре обозначить. Пока сойдет, главное — люди понимают: хотим красоты и на красоту, когда она для всех, не жмотничаем.

Какие бы авторитетные ведомственные организации ни обращались в исполком со своими надобностями, Вычугов заявлял категорически:

— Будьте любезны, сначала водопровод, канализацию, дорогу, тротуары, а потом возводите что хотите!

И когда ему возражали, что в отведенном районе все это имеется, он сурово осведомлялся:

— А люди, которые у вас будут работать? Ведь не все проживают в данном районе. Вот, значит, сначала обеспечьте таким же количеством подземных коммуникаций, которые вы от города получаете готовенькими.

Он с нетерпеливым воодушевлением мечтал о постройке мусоросжигательной станции, отапливающей котельную теплоцентрали.

Говорил пламенно:

— Мы не только восстанавливаем город, а перестраиваем его капитально, согласно генплану всей нашей дальнейшей жизни, а не только по плану, представленному нам городским архитектором. Нам важно не только, как он будет выглядеть снаружи, но как он будет обустроен изнутри всеми коммунальными благами, а они и составляют фундамент благополучия, хотя и по капрасходам требуют затрат не меньших, чем поверхностное сооружение.

Но в этой борьбе частенько побеждали ведомства, а не исполком.

И тогда Вычугов мрачно признавался Петухову:

— Когда я после флота из военморов обыкновенным гражданским служащим заделался, наган все-таки носил для устрашения, и если не вразумлял словом, на всякий случай руку на кобуру клал, вроде революционного аргумента, но меня свои же основательно отучили от этого и крепко другому обхождению обучили: сначала пойми взаимодействие всех порядков, установленных Советской властью, а потом действуй только в соответствии с этими порядками. — Произнес со вздохом: — Конечно, наш городишко в боевой флотилии крупных промышленных городов — так, вроде вспомогательного суденышка, но тоже хотелось бы ему скорость хода прибавить. Курс-то у всех один — на улучшенную жизнь!..

То, что мебельная фабрика производила пока столярку для нужд домостроения, позволило Петухову организовать производство по системе, принятой на машиностроительном заводе. Столяры и плотники овладели станками, наладился поток. На фабрике работали бывшие фронтовики и партизаны, люди, вернувшиеся после эвакуации, и те, кто пережил здесь фашистскую неволю.

И, пожалуй, то, что сейчас фабрика производила только домостроительную столярку, а не мебель, хотя на производстве мебели зарабатывали бы больше, сознание своего соучастия в самом насущном и неотложном устройстве жизни вселяло в людей чувство азарта. И хотя Петухов и трусил соревноваться с уже полностью пущенным новеньким машиностроительным заводом, такой вызов коллективом фабрики был брошен и принят с некоторой снисходительностью машиностроительным заводом.

40

В середине текущего столетия у хозяйственников были свои неотвратимые трудности, как, возможно, они имеются даже теперь и у нынешних. Бывало, Петухов в отчаянии и горести приходил домой ночью и, усаживаясь за стол, намыливал щеки и начинал бриться, чтобы соскоблить многодневную щетину и в благопристойном виде явиться утром в инстанцию для получения очередного выговора и предупреждения о возможном снятии с работы.

— Что, опять? — вставая с постели, сонно спрашивала Соня.

Как-то в котельной прорвало трубы. Петухов, придя домой, сипло сказал:

— Ремонту суток на пять, план снова повис. Силовая стоит, работают самозванно вручную, фуганками, рубанками, как в пещерный век.

— Могут снять? — спросила Соня.

— Обязательно! — авторитетно ответил Петухов. — Трубы отчего прорвало? Новых не дали, я и приказал снять со старого паровозного котла и поставить. Сначала выдержали, а затем сдали. Моя вина, — заявил Петухов твердо, — моя была инициатива.

Соня подошла, тепло прижалась к нему, обняла, сказала на ухо, щекоча губами:

— Снимут — значит, будем больше вместе, а то ведь тебя никогда дома нет. Пойдешь на машиностроительный мастером. Ведь возьмут, а?

— Пожалуй, возьмут, — неохотно согласился Петухов и вдруг, бодрясь, объявил: — Но я, хоть и снимут, все равно буду требовать, чтоб на мебельной новый котел был.

— Правильно, — сказала Соня. — Зачем же новому директору после тебя мучиться? Говори: со снятием согласен, а чтобы котел был!

Оставшись на должности после очередного последнего предупреждения, Петухов выслушивал:

— Руководитель — это воспитатель. Мало знать производство, технологию, экономику, нужна еще и этика руководителя. А вы? Вместе с ремонтниками занялись переоборудованием станков, вступали с ними в перебранку. В кабинете вас нет. Все свалили на заместителей. Так нельзя.

— Так я же на подобных станках на машиностроительном работал, — взмолился Петухов, — а ремонтники их первый раз видят. По квалификации они кто? Водопроводчики, сантехники. А это же станки! Я эти станки чуть не на коленях выпрашивал. Сам выгружал, сам доставлял, сам их и налаживать должен.

— Обратились бы!

— А чего обращаться, если есть квалифицированный механик?

— Поручили бы ему.

— Вот я и поручил самому себе, поскольку он — это я!

И было еще — явились к нему из солидного учреждения с заказом на мебельные гарнитуры. Петухов небрежно заявил:

— В плане такого типа роскошных изделий нет. Обратитесь в главк со своей заявкой, пусть там для следующего года ее рассмотрят.

— То есть? — снисходительно осведомился представитель.

— Можете в точности! — разрешил Петухов.

Вскоре во время производственного совещания в кабинете Петухова раздался телефонный звонок. Петухов поднял трубку. Маленький человек, занимавший большую должность, обладал громким, зычным голосом.

Петухов все дальше отстранял от своего уха телефонную трубку, она рычала на него, трещала, бранила, а он только все сильнее стискивал ее побелевшими пальцами. Затем, наклонившись, сказал тихо, но внятно:

— Да, мы не поставщики, а производители предметов широкого и равного для всех людей назначения!

Дунул в трубку, как на горячее, и аккуратно положил ее на рычажки.

Был у него зам по хозяйственной части, перед ловкой деловитостью и проворностью которого Петухов преклонялся, сам не обладая этими качествами.

Было партийное собрание. Выдвинули на голосование в состав бюро кандидатуру Петухова. Он ссутулился, съежился, опустил голову, испытывая глубокое и почтительное волнение. А вот когда стали голосовать, оставить ли в списке кандидатуру его зама по хозяйственной части, которого неоднократно и всенародно хвалил Петухов за те качества, которыми сам не обладал, тот самоуверенно поднялся с места, встал, повернулся лицом к партсобранию, чтобы видеть и запомнить тех, кто будет голосовать против. И Петухов, заметив это, спустя несколько дней отдал приказ о снятии с должности своего заместителя, столь нужного ему за те качества, которыми он сам не обладал.

Петухову влетело за такое скоростное администрирование. И еще долго он испытывал разного рода страдания от своего зама, оставленного на работе инстанциями. Хотя возмущение поступками зама на партийном собра-

нии разделяли, но это не могло стать мотивом для освобождения с работы.

И зам, обладая ловкостью и пронырливостью, еще длительное время неоднократно ставил Петухова в критические положения, будучи сам неуличимым благодаря присущим ему качествам.

Петухов заслужил признание коллектива не только тем, что постиг сложности производства, хорошо знал технологию, обрел и экономические познания, с увлечением смело добивался организации процессов по-новому, главное в нем было — уважение к человеку, любопытство к каждому.

Поэтому для него каждый был не только представителем той или иной профессии, а человеком, с которым он вместе работает на одном деле, только по разным специальностям, и оба они одержимы общим интересом.

Поэтому он расстраивался не только тем, что человек, скажем, допустил брак или прогулял без уважительной причины, а тем, почему он это сделал, какие причины для этого были. И, огорченный, доискиваясь таких причин, он беседовал с виноватым не столько о его вине, сколько о всех его жизненных обстоятельствах, взглядах.

Для того чтобы устранить такие причины, ему приходилось бывать у рабочих дома, толковать с их женами, родственниками. А затем на заседаниях горисполкома он высказывал Вычугову свою готовность, используя директорский фонд, соучаствовать в разного рода бытоустройствах, бывать в милиции, в школах-интернатах, магазинах, на городской автобусной станции, ибо часто причины душевного расстройства людей были вызваны отдельными неблагополучиями в их жизни.

И как на фронте он считал, что солдаты его роты должны быть обеспечены всем, что им положено, как солдатам, по всем линиям, а не только боеприпасом и огнем приданных средств, так и здесь, в фабричном коллективе, он придерживался этого фронтового командирского правила.

Подчиненному не столько следует объяснять перед боем, как надо вести себя в бою, сколько необходимо разъяснить, что́ этот выигранный бой значит для всеобщей победы и для самого солдата лично.

Поэтому Петухов обычно не указывал, как надо работать, а рассказывал о человеческом значении вещей, ко-

торые изготовляет фабрика. Принесут ли они радость и удовольствие людям или горечь и раздражение.

— Человека обижает плохо сделанное изделие, а он тоже трудящийся. Придет на работу обиженный, расстроенный, при таком настроении производительность его труда пострадает. Значит, что? В итоге и мы все недополучим тех изделий, которые он сам производит. Значит, что? — повторял Петухов твердо. — Все мы взаимозависимы. Что плохо сделаем, то плохим в чем-нибудь другом для нас же и обернется. Значит, качество — это не ОТК, не ГОСТ, а твоя собственная воля делать получше и получать от другого тоже получше.

То есть Петухов говорил о том, что внушали ему некогда его учителя-мастера, такие, как Золотухин и Зубриков, уча его рабочей совести, но не задумываясь о том, что это же самое неотъемлемо и от поста директорского, о чем Петухов, конечно, никогда не помышлял, стараясь только набираться лучшего от людей, которые хотели, чтобы он стал получше.

41

И вот в один из летних дней второй половины нашего двадцатого века, в полдень, по солнечной стороне планеты летел турбореактивный самолет с куцыми, короткими, скошенными лезвиями плоскостей, подобный стальному наконечнику копья, ибо в очертаниях его утрачено птицеподобие. Он летел, как снаряд, гонимый собственной метательной мощью, заключенной в его остроконечной небесно-голубой металлической оболочке. Исторгаемая им звуковая волна отбрасывалась с такой силой, что, казалось, она волоклась где-то далеко позади пронзаемого самолетом пространства, бессильная догнать своей звуковой скоростью скорость этого небесного создания, так стремительно летящего, что полет его казался таким же беззвучным, как парение птицы.

Внутри же самолет был подобен узко и длинно вытянутому автобусу. Поскольку самолет летел над облачной, будто снежной, равниной, смотреть на эту снежную рыхлую равнину было никому не интересно, а сознание того, что под самолетом все время таится гигантская пропасть, очевидно, облетанным пассажирам было чуждо.

Почти перед самым взлетом к трапу подкатил цуг автомашин, из них вышли военные и почтительно распрощались с молодцеватым генерал-лейтенантом, еще не близким к осеннему возрасту, хотя несколько и прихрамывающим, возможно, для солидности.

Генерал этот, еще не расставшись с благодушной, но вместе с тем сдержанной по отношению к подчиненным улыбкой, вошел в самолет в сопровождении стюардессы, которой он начал улыбаться уже несколько иначе, чем сопровождавшим его лицам, и когда он уже важно и неторопливо шагал по проходу между кресел, вдруг лицо расплылось в наисчастливейшей улыбке, и он зычно возгласил на весь пассажирский салон:

— Вот это номер!

И весьма почтенный мужчина и с ним такая же почтенная дама рванулись, словно толчком выброшенные из кресел, встали, вытянулись, и мужчина, держа руки по швам, с несколько выпученными от напряжения глазами, произнес на одном дыхании:

— Здравия желаю! — Сощурился, поглядел на погоны, добавил уже несколько легче, свободнее: — Значит, уже генерал-лейтенант! Поздравляю!

А дама, хоть и сохраняла строевую позу, добавила с милой улыбкой:

— И как это вы нас узнали в гражданском, товарищ комбат?

И смутилась от допущенной оплошности в звании.

Генерал попросил одного из пассажиров поменяться с ним местами, объяснив:

— Понимаете, фронтовики, однополчане, такая встреча, уж вы извините!

Усаживаясь между Петуховым и его супругой, разглядывая обоих так, словно от созерцания их испытывал наивысшее наслаждение, бесцеремонно обнимая их за плечи, говорил с упоением:

— Ну ребята! Ну и выросли вы! Гляжу — и глазам не верю! Такие оба представительные. — Произнес с сожалением: — Пожалуй, теперь вами не покомандуешь. По команде «смирно» не поставишь. — Произнес сурово: — Сержант Красовская, а это что за декольте? Почему верхняя пуговица на вороте гимнастерки не застегнута? Вы где: у папы и у мамы или на военной службе?

И громогласно захохотал, заметив, как супруга Петухова машинально и поспешно потянулась рукой к ворот-

ничку своей блузки. Хлопая сильной ладонью по колену Петухова, спросил:

— Ну как ты, где, как служишь?

— Да вот директорствую на фабрике, — сказал Петухов.

— Директорствуешь! Значит, в гражданском генеральском звании, — одобрил Пугачев. — А чего производишь?

— Да вот, — Петухов опустил глаза, произнес вполголоса: — Мебель делаем.

— Мебель? — спросил с некоторым удивлением Пугачев, но, заметив смущение на лице Петухова, добавил благосклонно: — Мебель так мебель. Важно только, чтобы твои изделия под задами не разваливались. — Пожаловался: — Заседаем много. Будь моя власть, я бы только чурбаки ставил или трибуны с люком в полу: как оратор время положенное перебирает, нажал кнопку, бац — вниз. — Осведомился задорно: — На дрова хоть твои изделия годятся?

— Почему же на дрова? — обиделся Петухов. — Нам вот даже знамя за успехи вручили.

Соня тут же внесла поправку:

— Завод машиностроительный, с которым мебельная фабрика соревнуется, знамя получил на вечное хранение, а Гриша — только переходящее.

— Ну это законно! — возгласил Пугачев. — Сравнили тоже: машиностроительный и мебельная. Нашли с кем тягаться, даже смешно!

— Уровень механизации труда у меня не ниже их! — вспыхнул Петухов. — Если б капиталовложения...

— Ну, это ты брось! — рассердился Пугачев. — Тоже мне, на вас капиталовложения тратить, на мебельщиков. Еще чего хотите!

Объявил решительно:

— Зазнался ты, Петухов! — Похлопал по ручке кресла. — Вот такие изделия я уважаю: удобно и строго по назначению. А всякую домашнюю хурду-мурду признаю только как необходимый минимум.

— А Нелли? — хитро осведомилась Соня.

— Поймала! — смутился Пугачев и тут же переменил тему разговора. Спросил: — Откуда следуете?

— Да вот, — сказал Петухов. — Отпуск у нас. Решили посетить места, где воевали. — Кивнул на Соню: — Она Нюре Хохловой цветы отнесла.

— А я в тех местах на военных учениях был, — вздохнул Пугачев. — Думал, каждую пядь знаю, а что получается? Танкам негде развернуться, куда ни сунься — нельзя! — Произнес внушительно: — Это вам не как на фронте — жми напропалую! Кругом обходы. Настроили, застроили, засадили, вспахали. Солдату что? На цыпочках ходить, чтобы чего-нибудь не задеть, не помять. Никакого удобства в смысле свободного пространства. Совсем нас зажали. — Потом, опустив голову, сказал задумчиво: — Нюра-то хорошо стоит, красиво, и купол парашюта у ног, как цветок из камня.

— А Оля Кошелева, как ее здоровье? — спросила Соня.

Пугачев сказал хмуро:

— Мы вот все Лебедева железным считали, про личное не спрашивали, а Конюхов, хоть он сейчас и большой работник партии, приехал к ним на весь свой отпуск и от Оли не отходил, внушал ей бодрость... Окончила заочный институт. Сейчас преподает, диссертацию защитила. А самого Лебедева с работы на пенсию не отпустили, тоже преподает по своей линии.

Петухов, поглядев на белый эмалевый ромбик на кителе Пугачева, сказал одобрительно:

— Академию кончили!

— Что значит — кончил? — почему-то обиделся Пугачев. — Разве ее когда-нибудь кончишь? Учим и учимся без передыха, такая наша армейская доля. — Усмехнулся. — Это тебе не табуретки строгать, а такая техника, которая на фронте нам и во сне не снилась. — Посмотрел на часы, сказал недовольно: — Чего он, как грузовик, тянет? На гражданском летишь — считай, час, а то и больше времени потеряно.

Улыбнулся ласково Соне, сказал:

— Значит, извлек вас лейтенант Петухов из болота и присвоил.

— На всю жизнь, — добавил Петухов.

— А болота того больше нет, — заметила Соня. — Высушили.

— Знаю! — сказал Пугачев сердито. — Приказал на учениях амфибиями атаковать. А следовало бы бронетранспортерами. Вот тебе и знакомая по минувшим боям местность.

Петухов показал фотографию дочери, заявил самоуверенно:

— Вылитая — я!

Пугачев внимательно оглядел фотографию, потом Соню, сказал по-генеральски повелительно:

— Чего врешь! Она — Соня, только в миниатюрном исполнении. — Сказал со вздохом: — Имею четверых парней, и все в меня. — Спросил Петухова: — Как считаешь? Терпеть меня на фронте можно было? Конюхов прямо говорил: нельзя! А вот исправился. Даже Конюхов за тот разведбой хвалил, помнишь? Да где тебе все помнить, когда в башне тогда стропилами тебя пришибло!

— Нет, я помню! — сказал Петухов. — Все помню!

— Ничего нам забывать нельзя, — строго заявил Пугачев. — По всех нас у молодых складывается представление о тех годах и на будущую их жизнь. Воевали-то мы и ради их всех, и для их жизни...

Самолет летел над белой облачной равниной, освещенной ярким, чистым всеобъемлющим светом, источаемым солнечным слитком.

Петухов вспоминал пыльное, дымное, иссекаемое осколками поле боя, по которому величественно, в рост шагал в накинутой на плечи плащ-палатке, как в мантии, батальонный Пугачев и, озираясь восторженными, бешеными глазами, кричал озорно и яростно:

— А ну, по планете — бегом! За мной, бессмертные!

И казалось, что сама земля с гулом извергает из себя грохот и скрежещущий дребезг рвущихся в стальные клочья снарядов, и по содрогающейся под ногами земле они бежали туда, где бушевал этот смертоносный огненный ураган...

Пугачев, откинув на спинку кресла голову, полузакрыв глаза, вспоминал, как тощий юноша с лейтенантскими кубарями в петлицах, по фамилии Петухов, во время атаки фашистских танков говорил вежливо и просительно наводчику «сорокапятки», пожилому солдату:

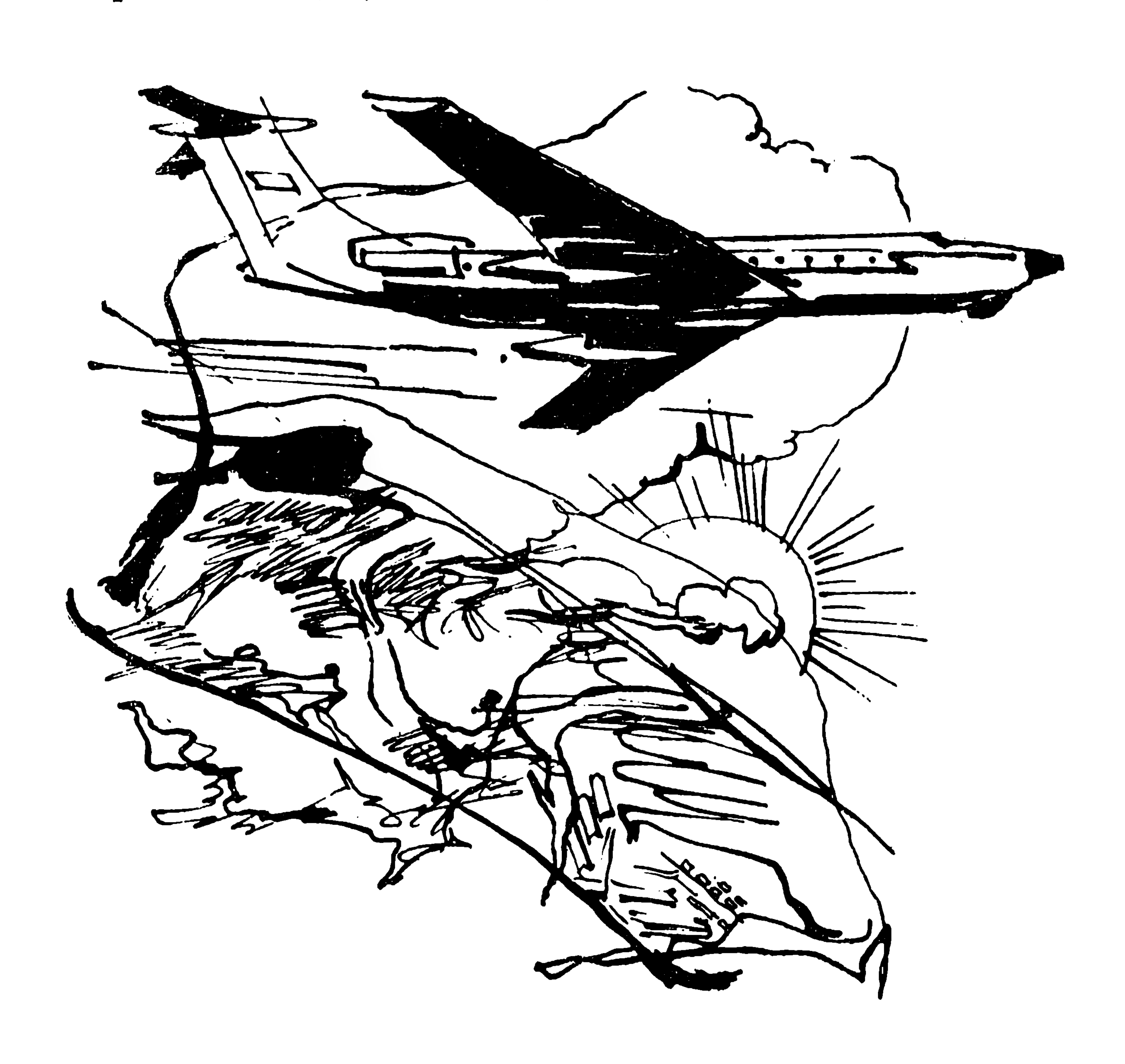
— Пожалуйста, Иван Степанович, не спешите. Пусть головной пройдет ближе, и тогда по борту.

И при этом тщательно вытирал потные ладони о полы шинели, прежде чем взять в руки тяжелую противотанковую гранату и поползти навстречу сминающей проволочные заграждения, блещущей лезвиями траков скалистой громадине мчащегося танка.

А Соня, глядя на снежные облачные поля, думала о Нюре Хохловой, которая всегда огорченно признавалась, разглядывая себя в крохотное зеркальце, что она —

не очень... Теперь Нюра стояла навечно на каменном постаменте в летящей позе, устремленная ввысь, в небо, откуда она так часто спускалась с парашютом...

Летучая машина вошла в облачную толщу, прорезала ее, и открылось земное пространство, огромное, бескрайнее, омытое светом неба, та часть нашей планеты, которую достойно и гордо, не щадя своих жизней для жизни всех, отстояли, выстроили и продолжают ее преображение во имя человека, для человека на земле и те, кто летел сейчас над ней в летучей машине цвета неба, и земля приближалась к ним городами, полями, реками, лесами, согретая солнцем, любимая, как сама жизнь.



Виктор БОКОВ

ТРАВА

Владимиру Солоухину

Трава моя милая и луговая,
Такая зеленая и удалая!
Трава моя тихая, робкая ночью,
Тебя в темноте узнавал я на ощупь.

Шинель подстилал
И с винтовкой ложился,
Был рад, что солдатской
Махоркой разжился.

Трава моя нежная,
Тоненький шелест,
Как преданно ты
Подо мной себя стелешь.

Как мягко сгибаешься,
Нежно лелеешь,
Как служишь солдату,
Себя не жалеешь!

Трава моя,
Мудрая книга эпохи,
Признайся, скажи мне,
О чем твои вздохи?!

ЗИМНИЙ САД

Зимний сад одинок и ненужен,
Как отшельник стоит у двора.
Разве только что зайцу на ужин
Вдруг понадобится кора.

Забежит торопливый трусишка,
Бойко сделает заячий скок,
Погрызет второпях, как воришка,
И припустится наутек.

И опять тишина и безмолвье,
Блеск холодных и снежных равнин.
Как гостиничный житель без номера
Зябнет сад, словно чуж-чужанин.

Я холодной зимы не осилю,
Мне снегов растопить не дано,
Но, влюбленный всем сердцем в Россию,
Помогу ей, родной, все равно.

Я пригну к себе зимнюю ветку,
Чтобы почки дыханьем согреть.
От природы дано человеку
Все живое любить и жалеть!

* * *

Что-то женское живет в березе белой,
Что-то нежное исходит от ствола.
Подхожу я к ней, стыдливо-оробелый,
Одного боюсь, вдруг скажет: «Не звала!»

Попрошу я у березоньки прощенья,
От нее тихонько стану отходить.
И взгляну на недоступное виденье,
И начну на расстоянии любить.

Буду песни петь ей постоянно,
Бескорыстно славить красоту,
Только бы березка осиянно
Подымалась гордо в высоту!

Вячеслав **КУЗНЕЦОВ**

О ПОЛИТРУКАХ

Нормального веса и роста,
без всяких особых примет.
И все же не люди просто.
Не просто...
И в этом секрет.

О них еще будет повесть,
которая зреет пока.
Политруки —
это совесть
взвода,
роты,
полка.

Их слово
сильнее смерти,
сильнее
пуль и гранат.
...Полк умирал на рассвете,
ни шагу
не сделав назад.

Тяжелые вражьи танки
лязгали в пойме реки,
но роты вели в атаки
мертвые политруки.

* * *

Я скажу парням увлеченным,
все познавшим —
и норд и вест:
— Берегите своих девчонок,
берегите своих невест!..

Берегите, как деды умели,
как умели отцы беречь.
От чужого веселья,
похмелья
берегите!..
Об этом речь.

Коль беда случится —
спасите,
все отдайте —
и жизнь! —
сполна.
Берегите,
по свету несите
голубые их имена.

Пусть любовь ваша станет как праздник,
как заря, что уже занялась.
Ничего нет на свете прекрасней
этих добрых,
доверчивых глаз.
Не пустая,
не зряшная фраза,
мне твердить ее
не надоест:
— От навета,
от сплетни,
от сглаза
берегите своих невест!

* * *

Я улетал не на день — на года
В край ледяных
арктических метелей.

Мне не забыть, наверно, никогда
тех дней,
что словно сумерки летели.

Как расставаться было тяжело!..
Так тяжело,
как будто жизнь кончалась.
Ты вышла на крыльцо, как на крыло,
и небо надо мною
закачалось.

Светлана БЕЛЬЧЕНКО

ТРИ ВЕКА ЮНОСТИ

«Три века юности» — это книга о начинающем литераторе Светлане Бельченко, жизнь которой нелепо оборвал трагический случай. Но это и книга самой Светланы — ее первые рассказы, отрывки из повести, дневниковые записи, письма...

Коротка биография ее двадцатилетней жизни. Родилась в Москве, жила и училась во Львове. Окончив десятилетку, работала на заводе слесарем-монтажником, занималась в литературной студии, много писала, серьезно готовясь стать профессиональным писателем.

Рассказы Светланы появились в центральной печати. Она получила первую премию на конкурсе журнала «Молодой колхозник» (ныне «Сельская молодежь»), ее произведения готовились к публикации, а позднее и были напечатаны в нашем журнале.

Как автор «Молодой гвардии» Светлана Бельченко получила командировку в Сумгаит — город молодых строителей, нефтяников, металлургов. Она хотела написать серию очерков о своих сверстниках — ей, прошедшей хорошую школу в заводском коллективе, нетрудно было найти ключ к их сердцам. Но написать она не успела...

Материалы Светланы подготовила к публикации ее литературная наставница, журналистка Екатерина Ивановна Русакова. Старейший сотрудник «Комсомольской правды», она хорошо знает молодежь, начинающих литераторов, поэтому первой увидела в Светлане одаренного человека, обещавшего вырасти в незаурядного художника.

Публикуя эти материалы, редакция «Молодой гвардии» выполняет свой долг перед светлой памятью С. Бельченко.

Печатается с сокращениями.

Пролог

В тот вечер после работы я первым делом зашла в кондитерский магазин и купила большой торт. Не обычный торт с разными завитушками ярких цветов, а торт элегантный: только одна шоколадная роза колыхалась на волнистой его поверхности из взбитых сливок, и розовый сок клубничной прослойки опоясывал его нежное сдобное тело.

Торт был куплен по случаю приезда Светланы Бельченко, юной гостьи из Львова, которая, наверное, уже дожидается меня дома. Я еще ни разу ее не видела, но уже знаю о ней довольно много. Что она комсомолка, что после окончания школы работала более двух лет на заводе слесарем-монтажником радиоприборов, что пишет она рассказы, а вот теперь приехала в Москву поступать в Литературный институт имени А. М. Горького.

И вот я дома, ищу глазами серьезную гостью, но вижу на диване нечто голубое и розовое: голубое платье, нежно-розовые щеки и горящие голубым светом глаза. И смотрят они на меня испытующе из-под медно-рыжей челки. «Ну, торт придется в самый раз», — подумала я. И с торжеством поставила его на стол, надеясь уловить в голубых глазах искорки восторга. Но в них отразилось только ужасное смятение, и звонкий, но печальный голос произнес:

— Я торт есть не буду. Если можете, дайте мне стакан кефиру...

Так и сидела она со мной и моими домочадцами за столом, грустно прихлебывая кефир, пока мы расправлялись с тортом. Едоков было маловато — и на завтра осталась добрая половина.

И вот на следующий вечер я вновь прихожу с работы, наливаю стакан кефира для Светы, вынимаю торт для себя, открываю коробку и вижу: в уголке притаился лишь маленький кусочек. А у Светы, которая стоит возле открытой двери балкона, багрово пылает ухо. И тот же унылый голос произносит:

— Я не могу выдержать! Я не могу выдержать, когда такие вкусные вещи находятся рядом со мной! А я дала себе слово, что не буду их есть! Посмотрите, какая я толстая: ну разве можно жить с такой ужасной фигурой?! А я вот не могу выдержать: терплю, терплю, а потом наедаюсь!..

В голосе ее звучало такое отчаяние, что мне пришлось подавить улыбку и серьезно сказать, что вчера-то ведь она удержалась, значит, сможет удерживаться и впредь, а что касается сегодняшнего, то ведь не все дается сразу...

И тут с голосом произошла метаморфоза: он стал весело-звонким. И ухо перестало пылать. И в голубых глазах сверкнула лукавая радость. И со вздохом облегчения Света доела торт, а я выпила кефир...

Потом мы говорили о литературе. И снова Света преобразилась: лицо ее стало серьезным и сосредоточенным, как у человека, который говорит о деле, главном для него. И суждения ее о литературе были серьезны и интересны. Запомнилось ее рассуждение о том, что в атомный век не обязательно писать «атомные» произведения, где все взвихрено, ибо в вихре этом может потеряться человек с его сложной психологией. Не нравились ей и некоторые стихи поэтов, которых, вообще-то, она

любила, но только не тогда, когда они начинали говорить, становясь в позу, не свойственную им. И в ее рассказах, которые она потом дала мне почитать, не было позы: они обладали драгоценным свойством: искренностью и непосредственностью чувств. Своя манера проглядывала в языке ее рассказов. В нем слышались разговорные интонации, присущие самой Свете. Нет, недаром она стремилась стать писателем...

И готовилась Света к своей будущей профессии очень серьезно, свято выполняя свой девиз: «Ни одного дня без строки!» Следовала она этому девизу и живя у меня. Каждый вечер, чтобы никому не мешать, выдвигала стол на балкон, прилаживала лампу и в обществе ночных бабочек скрипела пером чуть ли не до рассвета.

Когда Света приехала ко мне, она уже во второй раз поступала в Литинститут: в первый раз ее на очное отделение не приняли. И вот когда она узнала об этом, то сразу побежала к тем, кого любила и кому верила безгранично. Сперва к Пушкину. Да, к бронзовому Пушкину — который никогда для нее не был бронзовым! — и попросила у него ясности духа. Потом она побежала к бронзовому Маяковскому, который тоже для нее никогда не был бронзовым, и умоляла его о мужестве. Потом она побежала к Горькому, который был всегда для нее живым, и попросила у него мудрости. Потом вернулась назад к институту, гордо прошла мимо него и, свернув в маленький тихий дворик, села на жесткий свой чемоданчик и проплакала весь остаток ночи. И только бронзовый Гоголь, печально опустив голову, внимал ее слезам...

Смешная эксцентричность? Нет! Для Светы это было естественно: ну кому бы она могла излить свое горе в огромном городе, вдали от близких. Конечно, тем, кто воплощал для нее самое дорогое — родную литературу...

Как это ни странно, Света, преклонявшаяся перед музыкой, почти не воспринимала изобразительного искусства. По ее собственному признанию, ей нравились только два художника: Рафаэль и Шишкин. Понимая, однако, что писателю необходимо общение со всеми видами искусств, она добросовестно ходила по картинным галереям и музеям. И вот однажды мы с ней поехали в Останкинский дворец. Мне казалось, что неповторимая его поэтическая прелесть, слитая с возвышенно-трагической историей Прасковьи Жемчуговой, должна пробудить в Светлане сердечное влечение к закрытому пока для нее миру линий красок и форм. Но Света ходила по залам равнодушно, погруженная в какие-то свои мысли. И вот мы остановились возле мраморной головки юного фавна. Фавн смеялся очень весело, и очень лукаво, и очень грустно: фавн был удивительно похож на Светку. Я сказала ей об этом, и она была страшно довольна. После этой встречи Останкинский дворец зазвучал для нее всеми прекрасными своими голосами... Но, когда мы вышли в парк, Света вновь поникла. Вот соловей запел в белом дыму черемухи. «Как у нас в Карпатах», — сказала она. Вот встретились на пути клены. «Как у нас во Львове», — сказала она... И я поняла: человек тоскует по дому, по родным краям, по родительской ласке, без которых ему жизнь не в жизнь... Нужно было принимать срочные меры, и мы поехали в кафе «Мороженое»...

...Все это было десять лет назад. А потом у меня в комнате

появился толстый чемодан, полный бумаг Светланы: ее рассказы, стихи, письма, дневниковые записи. Вся ее жизнь за три года — примерно с середины 1958-го до середины 1961-го.

И, читая все написанное Светланой, виделось, как сложна пора человеческой юности, где каждый год как век. И какой накал чувств, какие сложные столкновения с миром взрослых, какое переплетение характеров!.. Но прежде всего в рукописях Светланы виделась она сама: чистый, честный, интересный человек. Цельный, несмотря на «многослойность». Целеустремленный и упорный, несмотря на слабости. И конечно, открывались в ее рукописях интересные творческие поиски начинающего писателя.

И вот, подобрав рукописи Светланы по возможности в хронологическом порядке, я увидела, что получилась книга, написанная ею самой о юности и о себе. Впрочем, материалы я подбирала не столько в соответствии с хронологией (это было невозможно: даже в дневнике далеко не всегда проставлены даты, поэтому их вообще пришлось снять), сколько в соответствии с движением ее характера. И так как творчество в жизни Светы было главным, то рассказы ее я включила в общий ток ее жизни, отраженной в письмах и дневниках.

Для того чтобы книга Светланы была более цельной, в тексты Светы я вклинила и свои — соединяющие и поясняющие.

В книге три части. Первая называется «Повесть о голубом». Почему? Об этом вы догадаетесь сами, читая ее. А начинается первая часть со школьных сочинений Светы. Не пугайтесь! В них нет ничего от школярства: каждое сочинение — это исповедь, это взгляд на жизнь, на литературу, на призвание писателя. И первое из них — смешное — забрело в книгу из Светиного шестого класса. Тогда любимая ее учительница Любовь Васильевна Муравицкая принесла в класс открытку — репродукцию Решетникова «Опять двойка» и предложила ученикам написать по ней сочинение. И Света написала. И получила за него двойку. И это была «опять двойка», потому что с орфографией у Светы были нелады. Но написано сочинение было ярко, и об этом Любовь Васильевна говорила на учительской конференции. В дальнейшем она всегда очень внимательно относилась к работам Светы, хоть и была к ней всегда требовательна.

Итак, начинается первая часть книги.

ПОВЕСТЬ О ГОЛУБОМ

Переэкзаменовка

Славка сидел и угрюмо смотрел на задачу. И надо же такое выдумать: 10 плотников в день срубили одну треть леса... Ну а какое ему до этого дело?.. Нет, так нельзя... 10 плотников в первый день срубили одну треть леса...

«Что это они там кричат так?» Славка оставляет задачу и подбегает к окну.

Ну так и есть! Опять Юрка смажет сейчас. Нет, это дело конченое. Славка ушел — команда проиграла! И надо же было бабушке позвать его в самый разгар игры! Главное, хотя бы тихо подошла и сказала, что, мол, так и так, пора за задачник. А то высунулась в окно и кричит на весь двор. Нет, игра проиграна определенно.

— Генка, Генка, на Тимку гони! — не выдерживает Славка.

— Я вот тебе сейчас погоню! — слышит он из другой комнаты.

И бабушка, грозно подняв очки на лоб, появляется в дверях.

— Решил? — спрашивает она.

— Да нет, понимаешь, бабушка: десять плотников в первый день срубили одну треть леса.

— Я-то все понимаю, вот ты пойми! — бабушка садится на кресло у окна и, начиная вязать чулок, ворчит: — Вот смотри, ты думаешь, мне не хочется погулять, но я работаю, а ты?..

Но Славка вдруг представил себе бабушку, гоняющую мяч во дворе, и, несмотря на ее грозный взгляд, невольно расплывается в улыбке. Бабушка хочет еще что-то сказать в укор своему нерадивому внуку, но тут со двора раздается: «Агапья Ахросимовна, молочко сегодня будете брать?»

— Сейчас, сейчас, милочка, — торопится бабушка. — А ты решишь задачу — пойдешь гулять, не решишь — пеняй на себя!

«Да, решишь тут, — думает Славка, — ну зачем они, например, в первый день срубили одну треть леса?» Он украдкой смотрит в окно. Боже мой! Что за день! Как будто все специально подстроено! И лес, который плотники срубили в первый день, так манит к себе своей свежестью. А солнце, луч которого лежит на тетрадке, так ласково смотрит сквозь лазурь неба! И облака, тонкие, нежные облака, как кружева, прикрывают ослепительный блеск неба. Но все равно жарко. Вон и Жучка язык высунула...

Тут в окне появляются две физиономии: Юрка и малыш Витенька. «Славка, проигрываем!» — отчаянно вопит Юрка. Если бы он этого даже не сказал, Славка бы все понял, он соскакивает со стула. «Но... нельзя же, нельзя! Сколько же дней потратили плотники, чтобы срубить весь лес?» Славка угрюмо садится на стул и отворачивается от окна.

Он ерошит белобрысые вихры, морщит лоб, кусает карандаш. «Так сколько же, сколько дней потратят плотники, чтобы срубить весь лес?!»

«Счастье в понимании человека»

Я два года не была на родине. И первый, кто меня встретил по приезде, — было Черное море. Я стояла на берегу и смотрела в его рваную пучину. Море, казалось, взбесилось. Оно швыряло на берег солнечные брызги, толкало его волнами, седыми и

гневными, потом со стоном отступало, но в следующую же секунду снова бросало на берег целые полчища волн.

Я смотрела на эту странно живую, гневную стихию, рвущуюся из каменных оков, и мне вдруг подумалось, что и земля наша так же рвалась из вражеских оков и вырвалась-таки!

Когда Родине грозила смерть, люди, не задумываясь, отдавали ей свои жизни, ничего не требуя взамен. Эти миллионы людей, которые все вместе составляли силу, великое, огромное имя которой «народ», понимали, что, пока этот народ на своей земле хозяин, каждый из них может носить гордое имя Человек! И чтобы не быть рабом, чтобы носить это имя, человек отдавал жизнь, предпочитая умереть Человеком и своей смертью помочь народу остаться самим собой. Советские люди считали счастьем бороться за Родину.

Да, это настоящее счастье!

Вражьи завистливые глаза смотрели на наше счастье. И фашисты решили отнять его. Они сделали седым шестнадцатилетнего юношу, а он говорил: «Я не изведал всего счастья, которое было отпущено мне. И все равно я счастлив! Счастлив, что не пресмыкался, как червь, а боролся...» Запорошенная снегом, под Петрищевом стояла девочка на ящике под виселицей и говорила: «Это счастье — умереть за Родину!»

...А море, все в пене, как бешеный конь, рвалось из тесной клетки берегов. Дикая красота его снова и снова поражала и волновала меня. Я стояла и думала: «Да, это счастье — умереть за эту огромную землю, которая зовется Родиной. Но и жить для нее — тоже счастье!»

Когда ученые ехали в тайгу, чтобы узнать причину эпидемии энцефалита, они тоже подвергались риску, но все же нашли смертоносного клеща и, может быть, спасли тысячи жизней.

Молодой писатель, в первый раз увидевший свою книгу напечатанной, начинает смеяться от счастья, потому что если книга написана кровью сердца, то она всегда кому-нибудь поможет, когонибудь еще сделает счастливым.

Рабочий, увидевший в поле комбайн, сделанный его заводом, колхозник, провожающий хлеб, собранный его колхозом, — все они полны большим чувством человеческого счастья, сознания своей нужности.

Живущий только для себя не может быть счастливым. Довольство жизнью и собой скоро надоест, и то, что он раньше звал счастьем, превратится в сплошную скуку.

Да и слово «счастье» говорит само за себя. Как произошло это слово? Перенесемся мысленно к самому роднику развития человеческого рода. Ярко горит костер, освещая довольные лица угрюмых людей. Охота прошла удачно, и племя делит добычу. Каждый член племени получает свою долю — свое «со-частие»: для получения своей доли каждый человек должен участвовать в общей охоте, в общем труде. Иначе он не получит свое личное «со-частие». Вот от этого древнего слова «со-частие» и произошло наше красивое слово «счастье», которое еще в самих своих истоках имело общественный смысл.

Часто люди путают такие разные слова, как «счастье» и «радость», «довольство». Иногда за счастье считают возможность выпить стакан воды, лечь и уснуть, считают счастьем случайно бро-

шенный на тебя взгляд... Но это далеко не счастье — это только его искры...

А море все еще чего-то хотело. Ему мало было его гордой красоты, его мягких песчаных берегов, теплого солнца и множества поклонников. И оно, мятежное, все рвалось куда-то со стоном, раня свое тело. А я смотрела на него и думала: «Не только жить, работать, но и видеть это море, дышать этим воздухом, ходить по этой земле, которая зовется Родиной, — это тоже счастье».

Мой любимый писатель

В этом сочинении я совершенно не хочу утверждать, что Шолохов мой самый любимый писатель. Это было бы неправдой. Я прочла немало книг. Многие авторы мне понравились. Одни за романтику, которой пронизаны, например, все книги А. Дюма и которая так близка моей натуре! Другие за реализм, на основе которого держатся, к примеру, все произведения Драйзера. Не могут не нравиться мне книги Н. Гоголя, А. Толстого, Д. Лондона — писателей, с таким мастерством и умением владеющих своим оружием — словом. Любимый мой писатель — Горький. Но я не буду писать в этом сочинении, почему именно Горький мне нравится больше всего. Я хочу сказать о Шолохове.

Этим летом я в первый раз прочитала «Тихий Дон» и совсем недавно — «Поднятую целину». И хотя Шолохов не стал моим любимым писателем, я купила эти книги и на книжной полке поставила рядом с Горьким.

За что же нравятся мне его произведения? Несмотря на то, что у Шолохова совершенно нет милой моему сердцу романтики, я буквально проглатывала страницу за страницей «Тихого Дона» и «Поднятой целины». Шолохов — реалист, писатель суровой жизненной правды. Вслед за классиками реалистического искусства, вслед за лучшими художниками социалистического реализма Шолохов стремился к смелому, неприкрашенному изображению действительности. Он враг всякой лжи, литературной фальши, нарочитости, изысканной манерности. Он пишет просто, правдиво, безыскусственно и потому так потрясающе.

Л. Толстой в «Севастопольских рассказах» сказал, что главный и единственный герой его произведений, который «всегда был, есть и будет прекрасен, — правда». Это толстовское изречение стремится воплотить в своем творчестве Шолохов. От Толстого и Горького унаследовал он тайну величавой и мудрой простоты.

Шолохов горячо любит жизнь. Она полна для него обаяния, свежей прелести. Живой мир со всеми своими красками, звуками, запахами отражает он в своих произведениях. Острое ощущение жизни, наблюдательность заставляют его пристально всматриваться в самые затаенные уголки действительности, подмечать самые сокровенные человеческие мысли и ощущения. Ему дорого все творческое в природе, в жизни и деятельности людей. Его произведения пронизаны идеей всепобеждающего жизненного начала, поэзией человечности и любви к людям.

«Я буду стараться достойно и смело, правдиво и честно народу служить»

Я не знаю, как все это началось. С самого детства, с того времени, как я себя помню, у меня всегда была страсть к книгам. Я могла просиживать днями над книгой, если она мне нравилась. Я всегда восхищалась книгой, жила ее жизнью, дышала ее воздухом, разговаривала с ее героями. Но как-то я не задумывалась над таким, кажется, естественным вопросом: кто же создает эту волшебную вещь — книгу? Но вот однажды — я не помню, когда это было, не помню, что за книгу я читала, — помню только, что она меня потрясла. С нежностью гладила я теплый переплет, снова и снова перечитывала некоторые страницы, и вдруг — мне кажется, даже случайно — заметила написанные мелкими буквами два слова. Это было имя автора. И вот тогда, казалось, занавес упал, и я увидела волшебника. Пораженная этим открытием, я подошла к окну, взволнованная, потрясенная. За окном я увидела жизнь. Жизнь, которую писатель какой-то неведомой силой перенес на эту белую страницу, вколотил в черные буковки, заставил бумагу рассказывать, говорить, кричать! Трудно, невозможно описать то, что я тогда пережила. И самое странное из всего этого, что я не запомнила ни названия книги, ни имени ее автора. С тех пор писатель стал для меня превыше всего.

Когда меня впоследствии спрашивали, кто мой любимый герой, я отвечала: «Горький», — и они удивлялись, как это может быть. А меня удивляло другое: как они могут восхищаться Павкой Корчагиным, забыв об Островском!

«Книга — это жизнь времени», — сказал Белинский. И я уже давно решила отдать книге всю жизнь. Я стала смотреть на мир глазами критика и поэта. Видеть невидимое.

Однажды я узнала такой случай. Мужчина бросил женщину с грудным ребенком и исчез. Когда девочке было шесть лет, матери, еще молодой и красивой, сделал предложение один хороший человек. Из-за ребенка мать отказала. И вот, когда девочке исполнилось 18 лет, объявился отец. Девушка бросила почти ослепшую мать и ушла к отцу только потому, что отец мог ее хорошо одевать! Узнав такую историю, я дала себе слово, что я расскажу всем о такой свинской неблагодарности. Я пришла домой и стала писать.

Я написала рассказ, но когда стала читать свое «творение», то увидела, что все это у меня болтается в воздухе. Мать какая-то самоотверженная страдалица, а дочь коварная, расчетливая эгоистка, не знающая ни любви к людям, ни благодарности — ничего, кроме страсти к красивой одежде. У меня получилась ерунда. Почему при такой ангельской маме и в таком благородном окружении выросла такая девушка? Об этом умалчивалось, собственно говоря, я и сама не знала почему. Я брала только факт. Да, видно, одних фактов маловато для того, чтобы создать художественное произведение.

Взявшись один раз за перо, я вдруг ощутила скрытую прелесть творения. И после этого у меня всегда есть потребность что-то писать. Конечно, не просто черкать пером и марать бумагу, а именно создавать. Есть что-то прекрасное в самом создании хотя

бы небольшого рассказика. Когда пишешь, увлекаешься больше, чем когда читаешь. У тебя в руках жизни и судьбы людей. Что ты захочешь, то они и сделают. Ты можешь дать им бессмертие и покрыть позором. Ты заставляешь их думать, говорить, любить, ревновать, работать, создавать...

ИЗ ДНЕВНИКА

В первый раз я полюбила в школе. Мальчику тому, Саше Былинникову, было 14 лет, и он писал стихи одной противной девчонке. Она была красивой и, к несчастью, знала это. Он писал стихи ей, и я передавала их, проклиная себя и его. А он ничего не знал, даже не подозревал. Когда один раз у него временно пропало зрение, я чуть с ума не сошла. Я подстерегала на улице врачей, чтобы просить их отдать ему мои глаза. Но через месяц он вышел из больницы. А еще через месяц совсем уехал. Было это в ГДР. Я стояла тогда на перроне и изо всех сил старалась удержать слезы. Поезд тронулся, поехал, а я все улыбалась и острила и, только когда пришла домой, вдруг страшно и жутко разревелась. Я думала, что у меня разорвется сердце. Я кричала от боли. А он ничего не знал. Ничего!..

Тогда-то я и стала писать дневник своей первой любви. Читаю сейчас, и хочется порвать его: обидно, что можно быть настолько глупой в четырнадцать лет. Быть может, еще через два года мне и этот дневник покажется глупым. И что обидно-то: чувство ведь было не глупым, настоящим. Уж теперь-то я могу судить! Чувство было настоящим. Но в какую глупую форму я облекла его!

Прочитав «Страдания молодого Вертера», я все свои чувства брала оттуда. Нет, вру! Чувства не брала, но язык — копия.

Все дети рождаются удивительно похожими друг на друга: темноглазые, курносые, абсолютно ничего не соображающие. Их невозможно различить, и невозможно предугадать, что ожидает их в жизни. Самое удивительное то, что каждый из них рождается с каким-то призванием, с какой-то искрой. Во времена моей бабушки эту искру называли «божьей». Я считаю это ошибочным: искра эта скорее «дьявольская», чем «божья».

Так вот: я утверждаю (все мы сейчас любим утверждать!), что в каждом человеке есть какая-то искра, но не каждый ее сразу находит. Чаще всего это люди искусства. Одни неожиданно начинают бормотать стихи, другие напевать под нос неизвестные мелодии, а третьи безжалостно разрисовывают все, что попадает под руку. Тут все ясно. А четвертый, который «родился врачом» и, к несчастью, обладает неплохим, но маленьким голосом, идет в певцы и режет — без ножа режет! — уши ни в чем не повинных слушателей.

К чему я веду весь этот разговор? Никогда не следует спешить. Одна моя знакомая на вопрос, когда и куда она думает поступать, ответила так:

— Документы буду подавать этой весной, а куда — еще не знаю. Хочешь, пойду с тобой в Литературный?!

Да разве так можно, родная мать?! Ты же больше чем обкрадываешь себя! Да если бы только себя!

Я, кажется, нашла свою тему. Мне в этом немножко помог Толстой, немножко наш сосед по квартире Красносвитов. Писать что-то такое, о чем никто еще не писал, о чем никто ничего не знает, а я знаю, — прекрасно! Вы, товарищ Красносвитов, говорите: «Что нового может написать девчонка, едва окончившая десять классов, о чем она может рассказать?» Очень даже о многом! Ведь уже в школьном возрасте люди начинают делиться на Человеков и человечков. Книги, игры, ученические суеверия, первая любовь, дружба, дни и ночи над домашним сочинением, экзамен, шпаргалки, мечты, «Три мушкетера». Последний, выпускной, вечер, расставание, разлука и глубокий, чистый, светлый финал. Да, да, здесь надо подняться на высоту музыки. Конец должен быть стихотворением в прозе, пронизанным глубокой человеческой грустью о прошедшем детстве.

Мое возвращение

В 1956 году я вернулась во Львов. Я была не коренной львовянкой, родилась в Москве, но Москвы совсем не помнила, а Львов я люблю больше всех городов. Это удивительный город. Высокий, с готическим взмахом старинных крыш в теплом облачном небе, город кленов и тополей, город романтиков и студентов. Веселый, чистый, звонкий Львов, с огромными тихими парками, мне он до сих пор кажется самым красивым городом в мире.

Три года я жила в ГДР вместе с родителями (у меня отец военный) и вот теперь снова вернулась, выросшей, чуть-чуть поумневшей, но по-прежнему взбалмошной и рыжей. Пошла учиться я в свою старую школу, но не в свой класс, а в параллельный — 8-й «В».

Это был самый сильный класс в школе, учителя его любили и звали «восьмой боевой».

Когда я в первый раз вошла в этот класс, мне никто не удивился. Почти все здесь меня знали. Только мальчишки (их было 9 человек) рассматривали меня с интересом. Когда я уезжала в ГДР, 21-я школа была женской, теперь ее объединили. Поэтому для ребят я была новенькой. Один из них, сутулый, с надутыми яркими губами, притворно уставился на меня и сказал:

— Гляди! Рыжая, а глаза голубые!

Я почему-то страшно смутилась и, вместо того чтобы съязвить, как делала обычно, скривила рожу и промычала:

— У-у-у!

Меня посадили на предпоследнюю парту с новенькой девочкой. Звали ее Таней Сеникевич. Она сидела тихо, смирно и исподлобья смотрела на класс. Таня была цыганка. У нее были большие, странно блестящие глаза и бледные губы. Скоро наша парта зажила «бурной» жизнью. Мне говорили, что до меня Таня была самым тихим человеком в классе, но я, между прочим, до сих пор не жалею о том, что растормошила ее. На последней парте сидела высокая девушка Инна Антохина. У нее были белые косы и родинка на щеке. Она была второгодницей и лгуньей. Инна скоро присоединилась к нам с Таней, и в классе сразу стало весело.

Мы называли нашу тройку «тихим уголком», а учителя «заядлой камчаткой».

Собственно говоря, мы ничего особенного в классе не вытворяли, разве только что на урок зоологии принесли патефон и стали потихоньку крутить пластинки. Ботаничка, думая, что музыка доносится с улицы, попросила закрыть окна и продолжала скучно рассказывать о кузнечиках. Я попробовала слушать ее, но вскоре мне стало невмоготу. Я вспомнила, как когда-то, двенадцатилетней девочкой, могла целыми часами рассматривать кузнечика и удивляться, сотни, тысячи раз удивляться. Эти крошечные живые машинки были так дьявольски здорово устроены! У них было все: глаза, крылья, ноги. У них была голова, и самое удивительное было именно то, что они живые. Я рассматривала душистые мягкие травинки и чувствовала, видела, как они растут. Ведь они тоже живые! И вдруг все это в рассказе ботанички умерло. Будто и никогда не дышало, будто никогда не росло, не было зеленым.

У меня есть твердое убеждение в том, что быть педагогом или врачом, не любя своей профессии, — преступление.

«Арифметика»

Ирка страдала от своей обыкновенности. Ирка страдала от однообразия недель и серости будней. С утра до вечера с болезненным нетерпением она ждала чего-то необычного. Она завидовала геологам, морякам и даже мне. «Ты — южная, а я — север», — говорила она.

И все-таки настигло ее «необыкновенное»: в восьмом классе Ирка влюбилась...

Он перешел к нам из другой школы, и его сразу прозвали «Арифметика» за клетчатый пиджак. У нас в школе клички давали исключительно всем. Только одна учительница русского языка — самая молодая и самая красивая в нашей школе — ходила без клички. Она красила губы и модно одевалась. Мы прощали ей все. Мы обожали ее.

Елена Петровна всегда вызывала новеньких на первом же уроке. «Арифметика» неуклюже вылез из-за маленькой парты и, сильно сутулясь, прошел к доске. Руки у него странно висели: парень был «дубом», это нам сразу стало ясно. Он не мог связать двух слов. Он отвернулся к окну и зачем-то удивленно вскинул брови. На тоненьких каблучках, в узкой юбке подошла к нему наша великолепная Елена Петровна и, взглянув на него снизу вверх, спросила: «Это что, новая манера отвечать?»

«Арифметика» медленно перевел взгляд и молча посмотрел на нее. Он смотрел недолго, какую-то секунду, но Елена Петровна вдруг вздрогнула и отступила назад.

«Я не знаю урока», — сказал «Арифметика» и, не дожидаясь разрешения, пошел на место. Когда он проходил мимо меня, я с негодованием взглянула на него и от удивления раскрыла рот. Нет, это было не удивление, это было что-то другое. Этот нескладный и обычный издалека парень носил на своем лице необыкновенные глаза. Никогда я не встречала ничего подобного! Мохнатые, темно-коричневые глаза огромных размеров, чуть раскосые и влажные. Совершенно невероятные ресницы в несколько

рядов и этажей доставали почти до бровей. Я не заметила этого раньше, потому что спешно учила на перемене алгебру...

Я посмотрела на Ирку. Она тоже сидела с открытым ртом и вздернутыми плечами. Елена Петровна стояла у стола и задумчиво смотрела в журнал. Она не окликнула его, когда он пошел на место, она не поставила ему двойку. Мы недоумевали. Это было так непохоже на нее.

Так первый раз в нашем классе «Б» появился второгодник Вадим Малахов. Потом выяснилось, что почти в каждом классе сидел он по два года и что сейчас ему уже восемнадцать лет. Он был всего на семь лет младше нашей Елены Петровны. Но ведь у нее был муж! Эта мысль о муже пришла к нам совершенно неожиданно и даже перепугала нас. Вот уже два месяца Вадим Малахов учился у нас, и никто ничего не замечал. Она вызывала его, как и нас всех, и он учил ее уроки, как, впрочем, и все двоечники, которые не учили ничего, кроме русской литературы. Но почему тогда нам пришла в голову эта идиотская мысль о муже? Разве мы что-нибудь заметили? Может быть, мы что-то почувствовали. Но что?..

Потом как-то утром в класс влетел рыжий Генка и заорал, возбужденно хлопая глазами: «Слушай, братва, девчонки, слышите? Вчера видел «Арифметику» в ресторане с... — он вдруг замолчал и обвел взглядом наши вытянутые лица. — Ей-богу, не брешу».

Мы устроили ему «темную», мы жестоко поколотили его, мы не верили ему, и в то же время знали, что рыжий не врет, Он вообще никогда не врал, а сейчас и подавно. Разве не видно было по его лицу? Но от этого мы колотили его еще ожесточеннее.

Через месяц Елена Петровна перешла в другую школу. Мы собрали книги по русской литературе и бросили их возле ее квартиры. Хотели поджечь, но Ирка вдруг разревелась, и Юрка Фирсов отбросил спички в сторону. «Ни к чему это, — сказал он хмуро. — Идемте!» Книги от сквозняка тихо шевелили листами. Чистые, обернутые в голубую бумагу. Мы специально собирали деньги и покупали на весь класс одну бумагу! Елена Петровна любила голубой цвет. Тридцать восемь учебников голубой баррикадой громоздились у ее двери. «Арифметике» мы не сказали ни слова. Кто знает, что бы мы сделали с этим парнем, если бы не... Не только мы, девчонки, но и наши мальчишки, казалось, сошли с ума. Мы понимали, что «Арифметику» надо сжить со свету, и в то же время не сказали ему ни слова. Наконец Ирка изрекла: «Здесь что-то есть. Не могут красивые глаза забить мозги всему классу. Здесь какая-то сила. Я где-то читала. Магнетическая сила. Он гипнотизер». — «А ты — фантазерка!» — сказала я, но что-то в ее словах смутило меня.

В десятом классе «Арифметика» вдруг стал хорошо учиться. Для меня до сих пор непонятно, как он мог поднять такой запущенный материал. Мы не могли еще оправиться от удивления, когда он получил аттестат без единой тройки. На выпускном вечере он пел. А мы и не подозревали, что «Арифметика» поет. Да еще как поет! Низкий какой-то воркующий голос пел незнакомую песню:

Отыскать тебя, видно,
Не в силах я.

Как же ты научилась,
Красивая,
Незаметною быть
Средь друзей.

Тут-то и выяснилось, что все до одной девчонки нашего класса влюблены в «Арифметику». И вдруг мы увидели Елену Петровну. Она стояла в дверях актового зала. Мы повскакивали с мест, кинулись к ней. Мы все забыли, мы все простили!..

«Здравствуйте, здравствуйте, проходите... вот здесь садитесь. Нет, вот здесь лучше...»

Мы не видели ее два года и сейчас с удивлением заметили, что она еще так молода, неправдоподобно молода и так красива! Сейчас мне иногда приходит в голову, что именно Елена Петровна была причиной тому, что мы так относились к «Арифметике». Она научила нас чувствовать красоту.

Начались танцы. «Арифметика» пригласил Елену Петровну на второй танец. Мы с Иркой переглянулись и встали к стене. Ирка, казалось, чего-то испугалась. Она побледнела и сжала мне руку. «Арифметика» танцевал просто, бережно обняв партнершу за талию. Он улыбался и тихо что-то говорил. Елена Петровна не улыбалась ему в ответ, и вид у нее был какой-то виноватый. «Будто подменили», — подумала я. Ирка исподлобья смотрела на них в упор. Вдруг она порывисто вздохнула, отвернулась и заплакала. «Кончай!» — сказала я ей угрюмо и тоже отвернулась. «Эх вы, Елена Петровна, — подумала я. — Вы прекрасная, умная женщина, зачем вы так сильно — женщина, что не можете смотреть в глаза этому мальчишке? Зачем вы не остановитесь? Зачем не скажете ему, что он не стоит вашего ногтя, этот зазнавшийся щенок?»

И вдруг она остановилась. Музыка продолжала играть, но она остановилась. Потом повернулась и подошла к нам.

«Девочки, — сказала она грустно и тихо. — Девочки... — она хотела сказать что-то очень важное, что-то объяснить, рассказать. Я чувствовала это. Но она сказала другое: — Ну, куда вы теперь?»

Мне стало обидно. «Мы? Кто куда поступаем. Я на журналистику. Ира вот в медицинский...»

Она смотрела в сторону. Она не слушала. И вдруг глянула мне в глаза и усмехнулась.

«Осуждаете меня! — сказала она утвердительно. — Я еще тогда хотела просить у вас прощения, девочки. Но я не знаю, поймете ли вы меня. Даже сейчас, хотя вы уже совсем большие. Это так трудно объяснить. Простите меня, девочки». — Она повернулась и быстро вышла из зала.

Со мной что-то случилось. Чтобы понять это, надо понять другое. Надо было видеть, как она царствовала на своих уроках. Я помню, она рассказывала нам биографию Некрасова, и даже наши ребята угрюмо прятали глаза, а мы, девчонки, не скрываясь, всхлипывали. Потом, помню, она пришла и на доске приколола кнопками портрет Маяковского. Мы скривили носы. Мы знали: Маяковского трудно учить. Кое-кто пробовал читать его и сказал потом: «Мура!.. Мозги и язык сломаешь».

Елена Петровна резко повернулась к нему. Она уже не улыбалась.

А потом она нам читала стихи Маяковского. Она их читала целый урок. Те, которые не входят в программу. Сначала я не понимала. Образы были настолько необычными, что мысль разбегалась, но что-то было в этих стихах! Что-то, чего я не могла понять, но что я вдруг начала чувствовать. Мне стало вдруг тревожно, тоскливо, какое-то смятение вошло в мою душу...

«Ну вот. Сегодня я вам читала лирические стихи Маяковского. Сразу их не поймешь. Точно так же, как сразу не поймешь симфонической музыки. Завтра я вам расскажу биографию, а потом вы сами начнете читать его стихи. Только вы должны понять сначала, как этот человек любил людей...»

Когда мы по программе стали изучать поэму «Владимир Ильич Ленин», весь класс учил ее наизусть. Маяковский стал нашим богом. И если он был богом, Елена Петровна была королевой...

«Идем, Женька, потанцуем», — это сказал мне «Арифметика». Первым моим побуждением было двинуть ему по физиономии, вторым — наговорить дерзостей. Я посмотрела на него. Но... есть ли предел этому сумасшествию?! Как у обыкновенного, обычного, даже пошлого, человека могут быть такие мучительные глаза? «Правда, здесь что-то не то», — вспомнила я Иркины слова.

«Я хочу поговорить с тобой, — сказал он мне, — отойдем в сторону».

Я не помню, что он говорил тогда. Я совсем не слышала. Я думала, что я могу встать перед ним на колени. И я не испугалась этой мысли.

«Послушай, Вадим, — сказала я. — Зачем ты оскорбил нашу Елену Петровну?»

«Я? — он засмеялся. — Я просто сделал все, что было в моих силах...»

В его словах было что-то оскорбительное, но я не могла сразу это осознать. Я попробовала сосредоточиться и не смогла. Он смотрел на меня странным взглядом. Ресницы сошлись в прищуре, а глаза светились сквозь них нестерпимо. Я испугалась. Что-то сказала ему и отошла к Ирке. Она сжала мою руку. «Ирка, ни в коем случае не оставляй меня сегодня одну, — сказала я ей. — Если я даже попрошу тебя».

«Арифметика» стоял напротив и смотрел на меня в упор. Мне стало плохо.

«Ирка, правда, что Рафаэль, когда написал Сикстинскую мадонну, сам упал перед ней на колени?»

«Я не знаю, — сказала Ирка испуганно, — ведь то мадонна...»

В чемодане с рукописями Светы были и другие куски повести о школе, которую она задумала написать. Здесь публикуются лишь два. Но и этого достаточно для того, чтобы решить, кто же оказался прав в споре — Красносвитов или она.

Конечно, нельзя сказать, что написанное Светой — это произведения, где все совершенно, все законченно и поднято на высоту художественного обобщения. Нет, ее рассказы скорее напоминают автобиографические записи. Да иначе и быть не могло: не хватало у нее к тому времени жизненного и литературного опыта. Но в точности, уверенности, юморе, с которыми ри-

сует она свой собственный характер и характеры своих сверстников, чувствуется рука будущего писателя. И еще одно в школьных рассказах Светы говорит о том, что не напрасно она стремилась стать писателем: в них живет смелость мысли, и они не оставляют равнодушными.

Надо бы сурово поругать автора «Арифметики» за то, что прощает она своей героине проступок, совершенно недопустимый в школе, приписывая его гипнотической силе прекрасных глаз великовозрастного ученика. Надо было бы сделать это, да не хочется... Не хочется потому, что как воздух нужна юности яркая вдохновенность учителя, блистательно знающего свой предмет, умеющего передать любовь свою к нему ученикам. Именно такой образ с открытой любовью и восхищением рисует Светлана в «Арифметике». Именно его спасает она от пошлости, наделяя не только красотой и талантливостью, но и мужеством: ведь совсем нелегко учительнице просить прощения у учеников, а героиня рассказа это делает...

И вообще, в отрывке «Арифметика» нет и намека на пошлость, хотя тема его предоставляет для этого возможность: душевная чистота автора абсолютно исключает это.

...Нет, несправедлив был Красносвитов к Свете, сказав: «Что может написать школьница!» Оказывается, может, и преинтересно.

Здесь нельзя не вспомнить еще об одном человеке, который сыграл немалую роль в творчестве Светы. Кто он — я не знаю: наверное, опытный литконсультант. Его отзыв на роман, который Света тоже написала в школьные годы, я нашла в чемодане с ее бумагами. Роман был длинный и «душераздирающий». Если бы Света в ту пору признавала знаки препинания, то после каждой его фразы обязательно стоял бы восклицательный знак. И вот Света передала этот роман на прочтение неведомому нам человеку. И тот, терпеливо одолев его, прислал ей ответ:

«1. Лесной — кто? Лариса — кто? Кого она колотит три раза и за что?

2. Героиня в 22 года не может быть такой «восьмилетней». Это уже женщина с рассудком.

Вдумывайтесь в каждую строчку написанного, оттеняя главное, опуская наносное...

3. Из вас выйдет толк, но надо работать и еще больше — наблюдать».

Умный ворчун, как помог он тогда Свете! Больше она не писала надуманных романов. В ее бумагах, во всяком случае, я не обнаружила уже ничего подобного. Среди них были рукописи и посильнее и послабее, но все они основывались или на хорошо узнанном, или хорошо прочувствованном.

Теперь вернемся опять к текстам самой Светы. Первый раздел ее книги был бы неполон, если бы рядом со школой в нем не стоял Львов. Ибо Львов был тогда второй стороной жизни Светы. Она очень любила его узенькие улочки, вымощенные узорным камнем, тенистые его клены, его романтическое прошлое. Но еще больше она любила родной город за героизм настоящего. За то, что жил в нем и боролся Галан, за то, что живут в нем его соратники и друзья. И недаром из множества легенд о Львове она выбрала и записала одну — героическую. Впрочем, может быть, она и выдумала ее сама.

Город серых теней

Есть на свете город Львов. Я не знаю, красивый он или нет, добрый или злой. Может быть, он негостеприимен, может быть, слишком суров — я не знаю. Если вы приедете во Львов поздней осенью, когда унылый дождь, потеряв чувство меры, хлещет по блестящим мостовым, может быть, тогда он вам не понравится вовсе. А я не хочу этого! Я не волшебница, но у меня есть одна волшебная палочка, и с ее помощью я заставлю вас полюбить свой город.

Заходите, товарищи москвичи, ленинградцы, одесситы, заходите, пожалуйста, к нам во Львов! Осенью у нас пахнет духами. Это от кленов. Вянущие кленовые листья кружат голову пьянящим ароматом.

Клены... клены... клены. Это ничего, что на главной аллее важничают толстые и добродушные каштаны, а рядом с нашей школой тоскливо высятся пушистые тополя. Все равно всегда и везде я буду любить клены больше берез и пальм! В гербе нашего города рядом с худым и лохматым львом надо бы положить кленовый лист...

Вообще-то, деревьев у нас больше, чем домов. Кажется, что дома выросли в лесу, а не наоборот. И так же, как в лесу, здесь чисто и запутанно. Одесситы, которые приезжают к нам, в ужасе хватаются за голову и говорят, что у нас черт ногу сломит, а не найдет пути с одной улицы на другую. Ну и что ж?! А какая красота в городе, если он разграфлен, как шахматная доска, улицами-близнецами? Чужегородний пешеход может у нас неожиданно упереться в красную стену дикого винограда. Но кто может злиться на наши тупики, если глядят на вас невинные фиалковые глаза, а из открытого рядом окна восторженно и самозабвенно высвистывают волнистые попугайчики?

Здесь много старых домов. Серых, с башенками и балкончиками. Если долго смотреть на такой дом, то можно забыть, что сейчас двадцатый век. На нашей улице, самой древней во Львове, каждый дом — история. Когда их строили, эти дома, даже мостовой не было. Были только клены. Они и сейчас есть.

Утром у нас весело. Из домов выходят люди — группами и в одиночку. Желают друг другу доброго утра и расходятся в разные стороны.

Люди улыбаются, напевают, набирают разгон. Движение приостанавливается у троллейбусной остановки. Львов вообще очень культурный и вежливый город, но в восемь утра возле троллейбуса он на полчаса забывает об этом.

— Пропустите женщин вперед, — кричит белобрысый дядя и тут же мощным локтем отстраняет от двери задиристую девчонку, которая уже считает себя взрослой.

— Нет, я сяду, нет, я сяду! — повторяет другой, не менее мощный, энергично работая плечами. Но это только на полчаса. Через полчаса мужчины опять вспоминают, что они мужчины, и голубые троллейбусы уже не лопаются по швам...

Вечером — дело другое. Вечер — царь красоты и жеманства. Улыбаясь и тихо говоря о чем-то, одни прогуливаются по главной улице медленным шагом, другие спешат: опаздывают на занятия, на свидания, на ночную смену. Красные, зеленые, желтые огни

витрин делают Львов совсем сказочным городом. И каждый дом, кажется, рассказывает свою длинную и странную историю. И наверху, на крышах, в сиреневом свете неба, возникают серые тени львовских сказок и легенд. А их у нас так много, красивых и умных. Одну я вам расскажу.

Зеленое Око

Давным-давно, когда вместо огромного города здесь был небольшой торговый поселок, в маленьком деревянном домике жила веселая девушка Мария. Никто, кроме нее самой, не считал ее красавицей. Но ходили к ней в лавочку охотнее, чем к другим. Потому что Мария отличалась удивительной проворностью. И красные пышные морковки, круглая черная редька, колючий лук были разложены у нее симпатичными горками.

Одета Мария всегда была ярко, хоть и не всегда со вкусом. Краснощекая, в пунцовой пышной юбке, в желтой кофте, рыжая как огонь, она стояла за стойкой, подбоченясь, и всегда с лукавством смотрела на покупателей.

Однажды, поздно вечером, в это самое окно кто-то постучал.

— Кого это несет в такую пору?! — воскликнула Мария.

Ей не ответили, а стук повторился снова.

— Что это такое! — проворчала девушка и вышла на улицу. — Кто здесь?

Под окном никого не было. Она обошла вокруг дома.

— А, напасть дьявольская, что это мне померещилось? — подсмеиваясь над собой, она подошла к двери и на секунду остановилась: дверь была закрыта, а Мария ее не закрывала.

Она удивилась еще больше, когда дверь оказалась запертой на замок.

— Як бисова холера сидит там? — закричала Мария, заглушая страх. И вдруг тихий неровный смех послышался из-за двери. Вздрогнула Мария, и стало ей холодно, но в этот момент дверь открылась. Преодолев страх, она смело вошла в свой дом. Светильник был погашен, но, когда она хотела его зажечь, чья-то легкая, дрожащая рука легла ей на плечо.

Мария замерла на секунду, потом дернула плечом и сказала:

— Послухай, кто ты там, ты знаешь, что делаешь? Что тебе надо от меня?

И засветилась тут перед ней какая-то белая нить. Слабые искры сыпались от нее, и нить становилась все шире и шире. И вот уже тонкая девичья фигура стояла перед ней. Длинная белая коса спадала до пола по светящейся воздушной ее одежде. И вся она была белая, светящаяся, и лишь одни глаза — темно-коричневые, как отстоявшаяся в дубовых листьях осенняя вода, — не светились.

— Кто ты? — спросила Мария.

Белая фигура качнулась, как от дуновения воздуха, и ответила:

— Ночь.

— Как ночь? Чего ж ты белая, как манная каша!

— Вся темнота моя там, — она показала легкой рукой за окно, — а я — здесь...

— Ну что ж, якщо ты ночь, — ты добра штука. Но что тебе надо от меня?

— Мне нужен твой дом.

— А пошто тебе человечий дом?

Белая фигура заискрилась ярче, сильнее, синие искры сверкали в воздухе вокруг нее, и вдруг вспыхнули глаза ее зелеными невыносимыми звездами.

— Я — полярная ночь! Я пришла сюда по своей воле и останусь тут навсегда. Мне нужен ледяной дом, мне жарко даже от твоего дыхания. Иди к людям и скажи: пусть уходят отсюда. Я заморожу здесь все: и леса и пашни. Я, полярная ночь, буду властвовать здесь, в крае широких пахучих листьев. А сейчас уходи прочь!

— Ах ты белая ведьма, — начала Мария тихо, подбоченясь и уставясь своими карими глазками в холодные северные очи пришелицы, — и ты, глупая ледышка, думаешь, что я так и испугаюсь тебя, так и убегу и разрешу тебе заморозить землю, на которой я родилась и которая верно кормила меня вот уже девятнадцать лет? Ты думаешь, бесовская манная каша, что я позволю прогнать из дому моих земляков? Ты думаешь, что сможешь снегом замести могилу моей матери, на которой сейчас цветут незабудки? Ты думаешь, что я, Мария, веселая девчонка и певунья, которую любят все — и люди, и птицы, и цветы, — что я испугалась тебя? — Последние слова Мария кричала что было силы. Щеки ее пылали, а жаркое пламя волос, которые она расплетала уже два часа назад, обволакивали ее золотым дымом и необычайно сверкали в холодных лучах синего свечения ночи. — Да я задушу тебя! — крикнула девушка со слезами в голосе и шагнула навстречу белой тени.

— Не прикасайся ко мне, Мария! — Ночь подняла тонкую руку и прикрыла режущий блеск своих глаз. — Не прикасайся, это погубит тебя: я холодна как смерть!

— Ничего, у меня хватит жару растопить тебя, как восковую свечу!

И тут ночь превратилась в белую гибкую змею и обвила девушку цепкими кольцами.

— Ах ты, гадюка проклятая, тебе земли моей захотелось? — Мария сжимала сильными пальцами плоскую змеиную голову и чувствовала, как острые иглы холода все ближе и ближе подбираются к сердцу.

— Отпусти, Мария, ты погубишь себя, отпусти! Я умею делать изо льда алмазы — отпусти! Ты будешь самой богатой, отпусти: ты такая жаркая!

Змея слабела с каждой минутой, но и Мария уже не чувствовала своего тела. Оно было холодным, как камень, покрытый снегом, и одно только сердце еще горело, жило и с прежней силой гнало горячую кровь по цепенеющему телу.

— О-оя-я! — закричала змея страшным голосом вьюги и напрягла все силы, чтобы высвободиться из рук девушки.

Но они уже закаменели, и Мария стыла и стыла, отдавая свое последнее тепло.

А когда утром пришли люди, они увидели снежную девушку: прозрачные белые волосы, колючие иневые ресницы закрытых глаз, бескровное лицо. Они долго стояли перед ней в недоумении, пока не узнали Марию. Никто не обратил внимания на черную тонкую ветку в ее руках. Она была сухой и безжизненной...

Люди в немом восхищении смотрели на невероятную красоту

снежной девушки. Их было много, и все они склонили головы перед этой красотой, а потом, будто опомнившись, испугались дьявольской силы, выскочили из дома, подожгли его, потом они с тупым страхом развеяли пепел по ветру, а место, где стоял дом, изрыли.

В тот год зимы не было. Только серые тучи с севера грудились над городом, и мели потоки холодных прозрачных дождей. А следующей весной на том месте, где раньше стоял дом Марии, появилось вдруг небольшое озеро. Вода в нем была темно-коричневая и холодная необычайно. По берегам зелеными стрелами росла колючая осока. И лишь когда солнце стояло над головой, вода в озере начинала светиться дивной, неописуемой зеленью. Люди, как завороженные, останавливались у озера и смотрели в его глубину. И никто не мог понять, почему будто с упреком шелестела осока, почему совесть вдруг беспокойно начинала ворочаться в сердце. Несколько раз хотели засыпать озеро, но на это ни у кого не поднималась рука.

Озеро и сейчас есть во Львове. Приезжайте — увидите. Ехать нужно до улицы Калинина. Там спросите Зеленое Око. А не так далеко от центра есть во Львове собор Марии Снежной...

ЦВЕТА ВОЗМУЖАЛОСТИ

Школа осталась позади, а впереди — неизвестность. В Литературный институт подавать нельзя: туда не берут прямо со школьной скамьи. А идти в другой институт Света не хочет. Тогда — работать! Но где? Где можно набраться этого самого жизненного опыта, которого ей так не хватает для литературного труда? Раздумья, раздумья, раздумья...

Я работаю на заводе. Честно говоря, сначала — хоть вешайся... Сейчас привыкла. О дневник, мой дневник!..

Завод. Я никогда раньше не имела представления, что это такое, я никогда не думала, что стану слесарем, что руки мои, избалованные руки городской девчонки, смогут делать сложную мужскую работу.

Смогли. Все смогли. Все лето работала весело и удивленно. И вот однажды утром я вдруг почувствовала, что что-то случилось. Я не могла понять — что. То ли мне стало грустно, то ли жалко чего-то. Когда я ехала в автобусе — поняла: малюсенькие ребятишки и почти взрослые девушки в белых фартуках, с цветами шли по городу. Было первое сентября.

В этот день у меня не ладилась работа. И я вдруг дико захотела учиться. Когда встречала знакомых, я с гордостью говорила, что работаю слесарем. Я даже не мыла рук, когда возвращалась с работы, чтобы все видели, что они рабочие. Но если бы кто знал, что я сейчас готова учить не только алгебру, но и саму высшую математику!

А вообще-то, работала я, как ни странно, неплохо. И очень ско-

ро руки, привыкнув выполнять одну и ту же работу, освободили голову от напряжения. И я могла уже думать о другом, а дома — писать...

Кленовые звезды

Душно. Цех делает попытку уместиться в красном уголке. Розовый, похожий на детского пупсика председатель стучит карандашом по столу и старается говорить с достоинством:

— Объясните, товарищ Журко, как вы смогли занести руку на государственных представителей?

Он решительно выхватывает из кармана клетчатый платок, вытирается им и смотрит на Витьку глубокомысленно и недоумевающе.

На Витьку нападает мучительный припадок смеха. Он понимает, что смеяться сейчас нельзя. Он наклоняет голову и прячет невольно расползающуюся на губах улыбку. Но председатель замечает ее:

— Надо лить горькие, горькие слезы, — говорит он твердо, — а не улыбаться. Я обращаюсь к вам в последний раз: на каком основании вами был произведен хулиганский поступок?

Витька набрал в щеки воздуху и выдул себе за пазуху:

— Они клены рубили!

— Но до вашего сведения этими государственными представителями было донесено, что вырубление производится с целью расширения площади в связи с необходимостью проведения там троллейбусной линии...

— Можно мне слово? — спросил вихрастый парень из президиума, секретарь заводского комсомольского комитета. Он встал, снял очки, положил их в карман и начал говорить, рисуя руками полукруги: — Слушай, Виктор, ты же не хулиган и не сумасшедший. Какого черта ты набросился на тех несчастных дядек? Ты ж понимаешь, что те дядьки не знали ничего ни сном ни духом. Им сказали рубить — они рубят. Зачем же ты попер на них с кулаками?

Ну что им Витька скажет? Ну как объяснит? Ведь есть у человека в душе чувства, которые нельзя высказать словами. Слово всегда слишком прямолинейно. Оно очень просто делается грубым и вульгарным, когда пытаются говорить о чувствах. С Витькой так случается уже второй раз.

Однажды он наврал матери. Нужно сказать, что врал он нередко и совесть его ни капли не мучила. Вечером схватил кусок хлеба и выбежал на улицу. Под одним кленом стояла старая черная скамейка. Ножки у нее позеленели и курчавились лишайником.Чуть-чуть влево от скамейки была небольшая впадина, и после дождя там всегда появлялась лужа. Витька резко повернулся, затолкал хлеб в рот и бросил в лужу камень. Камень сорвался с руки и не попал в цель. Он упал рядом. Густая поросль золотых лютиков закрыла его. Лепестки у лютиков были блестящие и влажные.

«Как возле озера», — подумал Витька и поднял другой камень. Но то ли он сидел неудобно, то ли болела недавно поврежденная в драке рука, но он не попал вторично.

— Заколдованная лужа! — сказал Витька и вдруг раскрыл удив-

ленно рот: лужа и впрямь была волшебной. Как это Витька раньше не заметил? Разве обыкновенные лужи бывают такими? Она светилась под заходящим солнцем каким-то невероятным смешением розового с золотым. По краям от лютиков — желтая каемка, а с левой стороны — черная бархатная тень от клена. А в середине лужи плавал бледно-желтый кленовый лист. И рядом с ним высоко поднимался длинный изогнутый стебель, а все вместе было похоже на маленького лебедя.

— Ух ты! — сказал Витька. Встал, вытянул шею и смотрел, хлопая глазами. Ему казалось, что еще мгновение — и все пропадет. И пропало, как только солнце село. Но теперь лужа темнела таинственным блестящим глазом, и в том месте, где плавал кленовый лист, вспыхнула звезда. Витька смотрел как завороженный, боясь отвести глаза. Вот после этого Витька, соврав матери, в первый раз признался ей в обмане. И потом похвастался этим Рите. Та не поверила.

— С чего это ты вдруг? — спросила она.

А Витька и сам не понимал, с чего...

Витька и Рита жили в одном доме. Любимой их игрой была игра во взрослую. Лену и футболиста Игоря из четвертого дома. Они так же сидели рядом на скамеечке и иногда даже обнимались. При этом босоногая Рита с платьем на ладонь выше ободранных колен высказывала сожаление, что он ростом и силой непохож на Игоря. Сколько Витька помнил себя, столько он любил Риту и столько же ненавидел Игоря, который был старше его на пять лет, выше и сильнее.

У Игоря была отдельная комната на первом этаже, и однажды Витька взорвал у него под окном мусорный ящик. Игорь сразу сообразил, кто был виновником этого, и отлупил Витьку как сидорову козу. Зато вечером Рита гладила его по шишке на лбу и шептала: «Глупый, противный этот Игорястина»! У нее был нежный голос и глаза черные и влажные, как у южных птиц. И Витька готов был взорвать всю свалку и быть измочаленным до потери сознания. Он вскочил и, ухватившись за старую ветку над скамейкой, подтянулся на руках.

На Риту посыпались листья. Они были желтые, красные, оранжевые. Они падали вокруг Риты, большие и угольчатые, как звезды из детской сказки. Витька был счастлив. Ночью на этой ветке он выцарапал: «Рита + Витя». Но взрослые видели в окно Витьку и Риту. И тут началось.

— Ты ведешь себя как глупостница! — кричала на Риту мама, вспомнив почему-то жаргон детского сада.

Папа чесал в голове и говорил:

— Черт знает что! Я вроде позже начинал...

А бабушка швырнула на диван вязанье и забасила:

— Ото девка, ото девка! Она вам всем нос утрет!

А Рита и не собиралась никому утирать нос. Она просто не делала ничего плохого в дружбе с Витькой и не могла понять, что так тревожит родителей. Почему они не кричали, когда она обнималась с двоюродной сестренкой? Почему она не может любить Витьку, если он очень хороший и если мама любит папу, Лена любит Игоря, а соседка Поля, как говорила мама, кого-то с работы ее мужа? Но Рита была послушной девочкой и поссорилась тогда с Витькой. Он ушел до смерти разобиженный, а Рита заплакала. Она уткнулась лбом в ствол клена, и со старой ветки падали на

нее длинные чистые капли. Витька видел это из-за забора, быстро перескочил через него и наговорил Рите много всяких глупостей: что она бессовестная, нехорошая, злая и что он ее всей душой ненавидит. Рита молчала и плакала. А сверху на ветке светилось: «Рита + Витя»...

Летом Витька с отцом уехал в Москву. Сестренка Таня осталась с матерью. Сначала, когда родители разошлись, Витька убежал из дому: он не хотел ехать с отцом. Он хотел остаться в своем доме, где родился, где жила Рита, где окно загораживал лохматый клен и мама ворчала, что это негигиенично. Но суд решил отправить Витьку в Москву с отцом. Детство делили на две части, и оно грозило оборваться. Но Витьке тогда было только десять лет, а в это время память не хочет сохранять плохого. И Витька забыл плохое. Все так и должно было быть. Не слабела только тоска по матери. И еще иногда, когда Витька украдкой смотрел на небо, его душу томило неясное воспоминание какого-то необыкновенного чистого света: волшебная лужа со звездой в середине. Темная от влаги скамейка с зелеными ножками и ветка над ней, старая, корявая. А на ветке в той стороне, что смотрит в небо, два слова и маленький плюсик...

Когда через несколько лет отец женился, Витька даже обрадовался. Он устроил дома дикий скандал и уехал к матери. Раньше они жили на окраине за городскими огородами. Теперь на месте огородов вырос целый городок. Все домики были двухэтажные и квадратные. Крыши у них были голубыми. Самым интересным Витьке показались названия улиц: Гиацинтовая, Тюльпанная, Фиалковая — цветник, а не город! Но Витькина улица осталась все такой же: узкая, извилистая, пропахшая кленовым соком. Среди этих кленов рос и тот самый, Витькин, который «негигиенично» загораживал его окно. У калитки он встретился с девушкой. Она посмотрела ему в глаза и вздрогнула. Но они не поздоровались: разве они узнали друг друга? У нее туфли на каблуках и светлое платье, стянутое в талии. Она прошла и не обернулась. В розовом небе летели серебряные паутинки. Она не обернулась, но глаза у нее были темные, как у южных птиц. Витька долго-долго смотрел ей вслед, пока не заметил, что рядом с ней идет длинный парень. Это был Игорь, футболист из четвертого дома...

А потом произошло вот что. Придя с работы, Витька увидел, что клен у калитки срублен. Двое рабочих в спецовках приставили лестницу к Витькиному клену. На них сыпались кленовые звезды, а они спокойно обвязывали старую ветку над скамейкой толстой веревкой.

— Что вы делаете? — крикнул Витька.

— Гопака пляшем, — ответил тот, что на лестнице.

Витька схватился рукой за веревку.

— Что вы делаете? — повторил он растерянно.

— Сейчас будем рубить, а ветку спилим: мешает она, — раздраженно сказал второй, — троллейбусную линию здесь будут проводить.

Витька ничего не слышал. Листья падали, падали вокруг него...

— Обождите, — сказал он тихо, — так же нельзя. Почему вы их рубите? Ведь лучше пересадить в другое место. Ведь это очень старые, хорошие клены.

— А нам какое дело? Сказано рубить — рубим!

Тот, что на лестнице, взял ножовку и стал пилить. Ножовка вре-

залась в кору, и дерево содрогалось и стонало. Сверху на Витьку сыпались влажные опилки.

— Да обождите же! — закричал он вдруг в отчаянии. — Чуть-чуть обождите. Я побегу в горсовет: они там что-то напутали. Нельзя их рубить, нельзя!

— А нам какое дело? Беги! Все мы все равно сегодня не повалим.

Вдруг он замолчал, потрогал что-то пальцем на ветке и, усмехнувшись, сказал товарищу:

— Гляди-кось!

Он не успел объяснить, куда глядеть, — Витька вскочил на скамейку и, выхватив у него ножовку, швырнул ее в сторону.

— Слезай!

Рабочий медленно слез и так же медленно заехал Витьке по уху.

— ...вот тут я их и отколошматил, — кончил Витька свой сбивчивый рассказ.

Угрюмо посмотрел на собравшихся. Ну как объяснить? Разве поймут?

Из президиума встал вихрастый:

— Вообще-то, это, конечно, хулиганство. И у меня два предложения. Первое — Витьке вкатить выговор. Ну а второе — такое: нужно сообразить воскресничек. Разве нас всех не касается тот факт, что на улице Кленовой вырубают кленовую аллею? По всей стране сажают леса, а на улице Кленовой вырубают клены. Что за абсурд! Да мы их в одно воскресенье пересадим куда надо. Правда, Витька?

Он улыбнулся, но сейчас же нахмурил брови и «страшно» погрозил Витьке пальцем.

За цеховым окном расцветали кленовые звезды...

Невозможная Рита

Мы работали на заводе несколько месяцев и ничего не знали друг о друге. Потом пришла Рита. Сначала она всем не понравилась. Сидела, уткнувшись в свой прибор, и тихонько напевала. Какая-то она была слишком резкая, порывистая.

На второй день поругалась с парнем, который учил ее работать, а через неделю — почти со всем участком. Спор зашел о классической музыке.

— Почему-то люди никогда не хвастаются своей глупостью! — кричала она на весь цех. — Они не говорят: «я — дурак»! Но хвастаются другим: они говорят — «я не понимаю классической музыки»!..

Она была новенькой, и все посчитали, что это очень нетактично так себя вести. Потом мы к ней привыкли. Стали прощать ей некоторую грубость и дурную привычку говорить человеку в глаза самое плохое, что она думает о нем. И наконец, мы все ее просто полюбили. Не только потому, что она знала тысячи песен и умела потешно рассказывать выдуманные истории из своей жизни: Рита была необыкновенно добрым человеком. Она отдавала людям все, что у нее было: деньги, инструменты и свое сердце. Славку с Эдиком она любила. Я никак не могла понять, как это она любит сразу двоих. Рита пожимала плечами и говорила: «Ну и

что ж? Они знаешь какие хорошие». Я иногда даже начинала возмущаться: «Но кого-то ты должна любить больше!» — «Ей-богу, не знаю кого. То, кажется, Славку, то, кажется, Эдьку. Нет, наверное, все-таки Славку». Потом она смотрела на Эдика и говорила: «Нет, нет, что ты! Конечно, Эдика. А впрочем, я не знаю».

Она ревновала их ко всем девчонкам, кроме меня. Она хотела, чтоб нас было только четверо. Мы не возражали. Однажды Славка купил на барахолке какую-то коляску и приделал к ней реактивный двигатель.

— Садись, девчонки. Эх, прокачу! — резанул он рукой воздух.

Никогда нельзя понять, говорит он серьезно или шутит. Он закрыт улыбающейся рожей, как занавесом. Посмотришь — этакий лукавый, но совсем простой, залихватский парень. Я очень удивилась, когда узнала, что Славка необычайно самолюбив. Он очень часто обижается на Риту. Она прибегала ко мне на участок и, чуть не плача, заявляла:

— Опять со Славкой поругалась! И ты представляешь, он хоть бы тебе что! Ходит насвистывает себе что-то. Он, видно, меня совсем дурочкой считает. Вот иди посмотри! — И она тянула меня к себе в лабораторию.

Они втроем работали вместе. Славка, как всегда, улыбался и кивал мне головой.

— Да у него нет сердца! — возмущалась Рита. — Разве похоже, что он переживает?!

Зато Рита ходила туча тучей. Она грызлась с Эдькой и со мной. Она отмахивалась от нас и бросала на Славку убийственные и презрительные взгляды. Наконец он не выдерживал. Вдруг начинал хмуриться, швырять инструменты и потом подходил к ней.

— Рита!

Она, вздрогнув, сурово косится на него:

— Чудо ты! Мир?

Она несется ко мне:

— Лорка, Лорочка, помирился! Первый!

Тот случай с коляской мне открыл глаза. Я боялась садиться в эту бесовскую машину. Эдька хохотал, стоя в стороне. Рита, закусив губу, с недоверием косилась на Славку.

— Боитесь? — сказал он, улыбаясь от уха до уха. — Эх вы, шаровары! — и запустил двигатель.

Эдик вдруг сделал два прыжка и прицепился сзади. Славка подмигнул ему, и в тот же момент коляска, обдав нас горячим вихрем, рванулась с места. С бешеной, невероятной скоростью она пронеслась по улице, и вдруг из-под нее выскочили колеса. С яростным ревом она стала врываться в мостовую, подскакивая и разбивая асфальт в разных местах.

— Мама! — кричала Рита.

Из-за поворота показался милиционер. Коляска завыла и стала прыгать ему навстречу. Милиционер попятился и, пытаясь ее перекричать, сложил руки рупором. Но в этот момент чертова коляска легла набок, и наши мальчишки кубарем вывалились из нее. Эдька выскочил и отбежал в сторону. Славка, закрыв голову руками, лежал неподвижно.

— Ногу парню придавило! — крикнул милиционер, который стоял сбоку и видел то, чего мы не заметили. Когда мы вытащили Славку из-под коляски, он был белый как снег, а на ноге у него была глубокая кроваво-синяя вмятина. Вдруг он поднял голову и улыб-

нулся этой своей обычной неизменной улыбкой, будто ему ни капельки не было больно...

В Светкиных бумагах я нашла и статью для стенгазеты. Это уже прямая публицистика. В ней голос самой Светы — возмущенный и страстный. Она борется за человеческое достоинство девушек.

Вот тебе на!

Мода — дама очень капризная и настойчивая. Если бы стало модным носить на голове ночные горшки, уверена, что добрая половина львовских женщин, кряхтя и кляня моду, все-таки украсила бы ими свое достойное чело. Одни моду популяризируют, другие с ней борются, притом и те и другие настолько яростные противники, что нередко перешагивают все нормы. Первые — популяризаторы — обтягивают себя непомерно узкими брюками и юбками. А другие — борцы против моды — делают так, как сделали на нашем заводе.

Однажды охранники на проходной, мало внимания обращая на пропуска, впивались глазами во всех женщин моложе сорока лет.

— Стой, куда идешь?

— Как куда? — удивилась девушка. — На работу!

— А почему в брюках?

— Потому что холодно. Да и вообще, какое вам дело?

— Скидывай брюки, тогда пройдешь: в брюках на завод не пускают!

Скоро человек десять стояло у проходной. Одни улыбались, другие тихо плакали от обиды, а третьи кричали:

— Да это ни на что не похоже! Идиотизм какой-то! Я же на работу пришла, а не в театр!

— Ты, стиляга, молчи! — отпарировал какой-то противник моды.

— Кто стиляга? Я стиляга? — загорячилась совсем молоденькая девушка, ужасно похожая на мальчишку. — Это я-то стиляга? Может, мне и на каток ходить в клешевой юбке?!

Но все было бесполезно: девушек не пустили на завод. Борец против моды оказался победителем.

— Девчонки, — говорила какая-то девушка в цехе, — девчонки, это же насилие! По какому праву? Ей-богу, никогда раньше брюк не носила, а завтра братнины надену. Чтоб меня волки съели, надену!

— Действительно, — говорила другая, — если бы они зимой хоть один день походили в чулочках, то жену бы на улицу не выпустили без брюк!

— Им-то тепло и мухи не кусают.

— А женщинам надо больше тепла, чем им... Все доктора за брюки.

Целый день в цехе только и было разговору что о брюках.

— Это рабочая форма женщин! — кричали сразу несколько.

— Почему девушки должны ходить в шароварах и в этих неуклюжих комбинезонах?!

— Ты борись-борись против стиляг, да не этак и не так!

— Да там стиляг-то всего двое на десятку! Чего девчонок обидели?

Я глубоко убеждена в том, что у нас совершили большую ошибку, запретив девушкам приходить на работу в брюках.

Эту заметку я написала по поручению девушек пятого цеха. Под моим именем подписывается около сотни фамилий.

Работая на заводе, Света продолжала ходить на занятия литературной студии при Доме офицеров. Здесь она познакомилась с Володей, служившим тогда в армии во Львове. Володя тоже страстно любил литературу и печатался в армейской газете. Вот тут-то, на занятиях студии, и началась у Светы и Володи хорошая дружба.

ВОЛОДЯ О СВЕТЕ

Я вижу Свету всего один раз в неделю на заседании литературной студии. На студии весело. Сегодня приехал какой-то военный писатель. Офицеры по очереди начали читать ему свои рассказы. Военный писатель поморщился. Потом прочли свои творения курсанты. Писатель опять слушал с кислой миной. Когда начал читать я свой рассказ, писатель почему-то принялся смотреть в окно. Очередь дошла до Светланы, Она прочла рассказ о трагической гибели летчика-поэта. Я наблюдал за писателем. Его брови медленно поползли на лоб, потом он для чего-то достал платок и снова сунул его в карман. Когда Светлана кончила читать, он встал:

— Это самое талантливое, что я слышал на сегодняшнем вечере. И не только на сегодняшнем. — Он принялся анализировать рассказ, слегка поругав его за мрачный конец. И вдруг смущенно спросил Светлану: — Вот только непонятно, откуда все вы это так хорошо знаете?

— У меня папа военный. Он многое рассказывал, ну и... воображение, что ли, — ответила Светлана, смущенная не менее рецензента....

В рукописях Светы рассказа, о котором говорит Володя, не оказалось. Зато был другой, связанный с войной. Все тогда еще дышало ею, везде были ее следы, и, конечно, такой впечатлительный человек, как Света, не мог пройти мимо них. Светлану волновала судьба тех, кто навечно остался двадцатилетним. И судьба тех, кто остался без отцов. И тех, кто посягнул на нашу Родину. Об этом рассказ «Баллада о сумасшедшем летчике». Навеян он, видимо, реальным фактом, с которым она столкнулась или о котором слышала в то время, когда жила с отцом в ГДР.

Баллада о сумасшедшем летчике

В старом немецком городке Эльшталь на самой окраине живет сумасшедший. У него небольшой садик, и весной здесь одуряюще пахнет сиренью.

Дом просторный. Когда-то здесь жила целая семья, Сумасшедший сгорбленный старик с седой копной волос. У него нет правой руки и лицо в красных, блестящих шрамах.

И утром, и днем, и вечером он тихо сидит на скамеечке и

смотрит вверх. Выше верхушек деревьев, выше, выше, много выше! И зимой и летом сумасшедший летчик смотрит в небо.

Говорили, что ему не больше сорока, но этому не верилось. Знали еще историю, которая лишила его разума, но ей тоже не верили. А рассказал ее штурман, который раньше летал вместе с тем летчиком. И тот вылет он был с ним. Он все видел, все знал, но ничего не понимал, и потому ему и не верили.

Случилось это в русском небе в 1942 году. Две недели подряд не было передышки. Половина эскадрильи уже нашла свою судьбу в березовых рощах около аэродрома. Карл Фишер, летчик-ас, три раза приземлялся в горящем самолете. Три раза он чудом оставался жив. Но его опять посылали в воздух, и он опять летел и опять возвращался невредимым. Судьба!.. И вдруг эта русская шпионка. Ее поймали ночью в лесу с фонарем.

Ее приволокли в штаб и позвали Фишера: он знал русский. Он сидел на стуле, сгорбив спину, и спрашивал.

«Шпионке» было не больше четырнадцати лет. Она дрожала от холода и страха и размазывала по щекам грязные слезы.

— Кто тебя послал? — спросил Фишер.

Девчонка всхлипнула и не ответила.

Он подумал, что плохо говорит. Нахмурил лоб, собрался с мыслями и снова спросил. Девчонка наклонила голову, закусила разбитые губы и опять не ответила. Ее стали бить. Она плакала. Фишер отвернулся. Скорей бы заговорила, что ли! Хотелось спать. Ведь две недели без передышки! Все друзья мертвы. А чего еще ждать? Нужно менять аэродром: надо спешить...

А девчонка все молчит. Вдруг в нем стала закипать злоба. Он медленно встал и шагнул к ней, отстранил солдата и схватил ее за тоненькие косички. Резко повернул ее голову к себе:

— Говори, сволочь!

У нее опухшие светлые глаза в белых ресницах, вылинявшие бровки и хоровод веснушек. Она оттягивает голову назад и вдруг говорит, переставая плакать:

— Сам ты сволочь!

Он достал пистолет:

— Я буду стрелять!

Она снова заплакала.

— Говори!

— Сам говори!

— Фишер, прикончите ее: черт с ней! Некогда возиться!

Он снова посмотрел на девчонку. Казалось, она поняла: она съежилась и стала вдруг такой маленькой, такой детской.

— Мне лететь, — сказал Фишер и вышел.

Он видел, как ее расстреляли. На улице она перестала плакать и, получив пулю в грудь, еще стояла, опершись о ствол березы, несколько секунд, не прикрывая раны. Потом упала навзничь...

Фишер подошел. Она была еще жива. Глаза смотрели прямо на него — с какой-то невероятной угрозой. Смерть дала ребенку нестерпимый этот взгляд, и ему вдруг стало страшно. Было что-то противоестественное в этой умирающей девочке с заплаканными глазами, переворачивающими душу.

Он выстрелил. Она продолжала смотреть. В глазах отражались листья березы. Он снова выстрелил. И опять, и опять, и опять... Она смотрела!

— Карл, что ты делаешь? — схватил его кто-то за руку.

— Ты что, сошел с ума? Столько патронов на мертвую девчонку!..

— Она смотрит, — сказал Фишер, пятясь назад.

— Да что с тобой? Может быть, ей еще глазки закрыть? Да идем же, Карл, очнись!

Летчик поднял дрожащую руку с пистолетом и тыльной стороной вытер со лба пот.

— Идем.

Он пошел, шатаясь, но, пройдя три шага, оглянулся: девочка смотрела ему вслед! Он крикнул и побежал. Налетел дымный ветер, и береза взмахнула ему обожженными ветвями...

Над лесом колыхалась белая простыня тумана. Беззвучная муть окутывала самолет. Фишер начал нервничать: он не любил туман. Лучше ночь, чем эта раздражающе-бесцветная, расплывчатая земля под крылом. Рука дрожит на штурвале, и сердце колотится глухо и редко. Ему кажется, что в сердце вырос какой-то крючочек и при каждом ударе он зацепляет внутри — оттого так больно. О, скорей бы пройти этот идиотский туман!.. Он боится. Это, конечно, все нервы: разболтались. Вообще-то, неплохо бы отдохнуть. Даже необходимо. Потому что он чувствует, что скоро может наступить конец: вот-вот всплывут из тумана страшные живые глаза мертвой девочки и будут смотреть не моргая, полные тоски и угрозы.

— Ганс, — говорит он штурману, — поговори со мной...

— Да ну тебя к чертовой матери!

— Ганс! Ганс! Говори!

Штурман хмурит лоб и внимательно смотрит на летчика. Он впился глазами в стекло, крупные горошины пота стекают по лицу, губы белеют от напряжения.

— Ты что, опять дуришь?

Но вот туман начинает редеть. Впереди чистое небо.

— Ганс, у меня в Эльштале дочка десяти лет!

— Ну и что?

— Да так, — Фишер вдруг всхлипывает и закрывает лицо руками. Штурман пугается.

— Ты, нежная барышня, вам, может, нюхательной соли?

Летчик лихорадочно сжимает ручку.

— Нет, нет! Я просто так. Я в форме...

Внизу пьяная земля в туманной пудре качалась и прыгала, как волна в море. Блеснуло поле: запасной аэродром!

— Иди на посадку!

Фишер нажал на ручку и пошел вниз.

Вдруг сердце сжала судорожная боль: впереди белела стена! Да, та самая стена, возле которой расстреляли девочку. Летчик лихорадочно потянул штурвал на себя. Самолет взмыл вверх.

— Что случилось?!

— Стена!!

По лицу катились крупные капли пота.

— Ты сошел с ума! Какая к черту стена! Никакой стены нет: тебе кажется...

«Да, действительно, — застучало в мозгу Фишера, — я сошел с ума. Стены здесь нет. Откуда здесь та стена? Надо немедленно сесть». Ближе, ближе земля, и вдруг снова, совсем близко, — снежная, огромная, и на ней два светлых глаза в березовых листьях!..

— Она! — голос его сорвался.

Опять самолет высоко. Губы дрожат, воспаленные глаза лихорадочно блестят. Надо сесть!.. Обязательно надо сесть!

И вот уже близко земля — и опять стена! И самолет опять летит вверх...

На земле начали нервничать: самолет Фишера то снижается, то вдруг у самой земли резко взмывает вверх.

— Что такое? Что случилось? Почему не может сесть?

— Перестань валять дурака! Садись!

— Не могу! Не могу, Ганс, стена. Стена!

У Фишера тряслись руки, кружилась голова. Самолет летел низко-низко. Набрать высоту не хватило силы. Летчик сделал отчаянное усилие подняться, и в тот же момент прямо перед глазами взмахнули обгорелые березовые ветви...

Фишера отправили в Германию. И там ночами он рассказывал невидимым слушателям, что в стране, откуда он вернулся, все живое: и стены, и деревья, и мертвецы...

Так вот и сидит он с тех пор возле дома: и утром, и вечером, и зимой, и летом — и смотрит в небо...

А теперь снова о дружбе Светы и Володи. Володя жил в казарме, и поэтому, кроме встреч на занятиях студии, они еще и переписывались. Эту переписку я тоже нашла в чемодане с рукописями. И начинается она с Ленинграда, где Света гостила у двоюродного брата и его жены.

СВЕТА — ВОЛОДЕ

Пламенный, огнедышащий, солнцеизрыгающий, искрометательный привет из Ленинграда!

Ну что я могу тебе сказать?

Я потрясена, заворожена, ослеплена! Я хожу по Ленинграду с открытым ртом и вылупленными глазами. И не только потому, что он красивый, строгий, и не только потому, что тут панорамное кино и памятник Пушкину. Я вдруг почувствовала, что Ленинград — это все-таки именно Ленинград! Я непонятно выражаюсь? Понимаешь, вечная беда моя: слов у меня нет, чтобы выразить то, что я чувствую. Даже Маяковский писал, что для того, чтобы хорошо описать увиденное, нужно остынуть. А я постоянно нахожусь в состоянии кипения...

Знаешь, Володя, я ужасно люблю Львов. Ты этого не чувствуешь, ты не львовянин. А я, хоть родилась в Москве, Львов люблю больше всех городов. Не знаю даже почему, но при слове «Родина» я почему-то всегда вспоминаю Львов, а не какой-то другой город. И вдруг — Ленинград! И Львов как-то съежился... Мне даже стало немного стыдно за львовян и вместе с тем обидно за сам город. Не знаю, честное слово, не знаю, что произошло, но Ленинград меня потряс! Повторяю, даже не красотой своей, а именно тем, что он стоит такой большой, огромный и только на окраинах видно, что здесь когда-то была война.

А Петергоф! Ты, конечно, был там. Так вот, знаешь, что странно? Я испытывала совсем не восторг: у меня мурашки по коже бегали! Экскурсовод показывала нам три фотографии: военную,

сразу после войны и в настоящее время. Второй снимок ужасен! Мне кажется, что, когда ленинградцы видели оригинал, у них шевелились волосы. Но я... Понимаешь, я, рожденная во время войны, — я не вижу, что в Петергофе стояли фашисты! Все восстановлено! И только Нагорный дворец, сверху веселый и солнечный, а внутри разрушенный, жутко говорит, кричит о своре сволочей, потерявших человеческий облик.

Но и он, этот последний вопль, скоро утихнет: дворец восстанавливают. Но сколько он стоит? Сколько отдает Ленинград обыкновенных рублей, чтобы затянуть эту рану? 45 миллионов! Проклятье озверевшим свиньям! Ненавижу фашистов!

И я даже не смею сказать, что люблю Ленинград. О, разве я голодала во время блокады в нем, разве я положила хоть один камень на разрушенные его мостовые?

Если будет война, я пойду на фронт и буду биться за Ленинград! Пусть меня простит Львов!.. К удивлению своему, я его еще немножко люблю. Вру! Люблю по-настоящему и уже начинаю скучать...

ИЗ ДНЕВНИКА

Вернулась во Львов и уже занимаюсь на подготовительных курсах. Рада ужасно. Такие милые, родные рожи однолеток. Готова расцеловать всех этих девчонок и вихрастых мальчишек — которые — черт возьми! — до сих пор дурачатся.

СВЕТА — ВОЛОДЕ

У меня наипрекраснейшее настроение. Я сегодня за один день заработала, как говорят, кучу денег. Но дело не в деньгах. Пойми, как я работала! Не знаю, почему у меня такое настроение. Мы сейчас работаем по 12 часов в день (конец месяца!) и не обижаемся. Мастер у нас сейчас другой (на этот раз — старый) и очень хороший. Все пошло по-другому. Видишь ли, Орест (первый мастер) очень милый парень, но его беда в том, что он — парень. Ведь мы, девчонки-работницы, не будем работать, если на нас не покричать. Бедный Орест, он не умел этого делать! Он делал все наоборот. Когда надо было быть мастером, он был парнем. А когда надо было быть парнем, становился только мастером. Помню, подошел он ко мне и говорит: «Света!» Я думаю: «Сейчас меня в кино пригласит, что буду делать?!» Смотрю, показывает мне Орест на кусок газеты на полу и спрашивает: «Что это?» — «Газета», — отвечаю. А он: «А вам не кажется, что ее нужно поднять?» — «Ах ты, — думаю, — душа чернильная! Ты, здоровенный парнище, говоришь мне, девушке, чтобы я нагнулась и у тебя из-под ног подняла эту несчастную газету!» Набралась я наглости и отвечаю: «Кажется!» Он еще не понял: «Ну так в чем же дело?» Подарила я ему рубль взглядом, говорю: «Вы знаете, я тоже сейчас подумала, в чем же дело?» Покраснел, бедный мальчик, поднял газету, ушел...

Ведь смешно, Вовка, а почему он так делает, не пойму. И себя во многом не понимаю. Сейчас он ушел, и меня мучает совесть. Он обижен. Очень! Даже больше: кажется, переживает. Нехорошо я с ним пошутила. Ох как нехорошо! Есть люди, которых грешно обижать. Он такой. Спокойной ночи! Допишу завтра...

Сегодня уже то самое завтра. Надо ответить тебе на твою польскую фразу: «Ты всех любишь, а меня любить не хочешь». Почему, собственно говоря, ты думаешь, что я не хочу?

Ты, Вовка, ничего не понимаешь. Я и сама ничего не понимаю. Абсолютно ничего! Я кого-то очень сильно люблю, а кого — не знаю. Понимаешь? Ты, по-моему, точно так же. Самое обидное будет, если мы оба ошибемся. Это будет нехорошо. Для тебя, может, это все, как говорится, «хохма». Я, между прочим, уверена, что это так.

Что тебе еще сказать? Кончай дурить! Такими вещами не шутят...

ИЗ ДНЕВНИКА

Женька говорит, что хоть один раз в жизни поживет вволю, так, как ей хочется, несмотря ни на какие каноны. А что говорю я? Не знаю насчет «одного раза в жизни», но я никогда не выйду замуж за нелюбимого. Только за то, что он любит меня. Пусть лучше наоборот. Меня тревожит одно: смогу ли я еще кого-нибудь любить? Ведь после Саши Былинникова я никого не любила...

Боже мой, неужели никогда больше не услышу я этот голос?! Странно, что я так и выйду замуж за мимолетную любовь, которая потом, знаю, пройдет. Мужа я тогда, конечно, брошу. Даже если дети будут. Но вообще-то это ужасно: ведь детям нужен отец... И вот из-за прихоти матери они лишаются его. Ничего не понимаю... А если я другого полюблю? Что же делать? О, если бы мне еще раз голос мой, мой верный страж и наставник, голос моей интуиции, в который я верю больше всего на свете, который еще ни разу не обманул меня, если бы он сказал мне: «Вот он!» И пусть бы он не любил меня тогда. Я верю: он бы полюбил.

Но где он? Настоящий «он»? Что он сейчас делает? Рисует, пишет, сочиняет музыку? Может быть, он целует сейчас другую девушку? Все может быть...

Как только на сердце нехорошо, сразу к дневнику тянешься. Какая-то тоска. Она меня один раз подвела: в мою жизнь вошел Саша Былинников... Господи, до сих пор у меня дрожит рука, когда я пишу это имя! Да, он до конца останется в моем сердце! Как осколок: уже не болит, но чувствуется все время. И роспись у меня ведь тоже его имя бережет: если расписываюсь, то так — Света Белобылинникова. Люди удивляются: «Что это за роспись у тебя?..» Я и сама удивляюсь, и все-таки — Белобылинникова!..

Когда я была маленькой, я хотела спрыгнуть с четвертого этажа и не разбиться.

Я рассуждала так: когда я спрыгиваю с лестницы, я же не разбиваюсь. Так что стоит спрыгнуть с окна, а перед самой землей представить, что спрыгнула с лестницы.

С тех пор, с поры далекого-далекого шестилетнего детства, прошло много времени. Но совсем недавно — год назад, нет, уже скоро два года — в одесском театре со мной произошло нечто подобное. Я сидела на верхнем балконе, в первом ряду. В зале потушили свет, и вдруг мне стало казаться, что я могу летать, что если я сейчас прыгну вниз, то полечу. Какая-то дикая

уверенность овладела мной. Я сильно, сильно наклонилась через барьер. Я вдыхала темноту, высоту, я не боялась ни капли.

Конечно, логика, инстинкт самосохранения заговорили во мне хором, и я не прыгнула, но чувство полета у меня так и не прошло. Честное слово, мне кажется и сейчас, что тогда я могла бы полететь. Могла бы, честное слово, могла!

Люди верят в нечистую силу. Я тоже верю. Верю! Сила есть, только она — чистая, огромная, непонятная, она внутри каждого человека. Мозг человечий — это великое чудо, сложнейшая машина, а мысль — материя.

А интуиция, что такое интуиция, которая порой подсказывает нам будущее? Если верить Уэллсу, что «время — плоскость», то все ясно. Время — плоскость, и мозг может «щупать» его... Через несколько тысяч лет люди будут «колдунами». Все! Будут жить по пятьсот лет и будут делать много потрясающе удивительных вещей. Наши фантасты предугадывают развитие техники, забывая нередко про мозг...

А любовь? Что это такое? Радиоволны или другие какие-то волны мозга начинают излучаться в унисон? А может быть, еще и так. С самого рождения человек, как радиолокатор, идет бессознательно по этим волнам и ищет единственного. И когда не находит, сталкивается с похожим, да так и связывает с ним свою жизнь. Надо верить себе и ждать, искать, звать. «Он»? Нет! Конечно, это не он: это просто так, случайно, похоже. Но где-то есть. «Он» — единственный... Может быть, я ошибаюсь? Вполне возможно. Все намного сложнее, чем мы думаем и представляем. Мозг — это все-таки мозг, и если человек мог написать строчки:

Мне осталось
твоих волос стеклянный дым
и глаз осенняя усталость, —

то кто его знает, может быть, в другом своем совершенстве мозг сможет поднимать на расстояние тонны и держать человека в воздухе силой напряжения своих мозговых волн?

Может быть, я действительно тогда бы не упала?

Я предвижу, что некоторым из читателей этих строк Светлана покажется фантазеркой. Да она и действительно была фантазеркой, но как же писателю без фантазии?

Иногда ведь «фантазерская», поэтическая мысль предвосхищает мысль научную. Поэты давным-давно заметили, например, что растения чувствуют, ощущают, а ученые открыли в них подобие нервной системы совсем недавно. И мыслимо ли было поверить, скажем, два-три десятилетия назад, что веточка мимозы может засыпать под действием хлороформа так же, как и животные, а теперь это демонстрируют в научно-популярных фильмах.

И если бы мы могли встретиться с людьми, которые будут жить на Земле через тысячу лет, наверное, они действительно показались бы нам колдунами. Так же как мы сами показались бы колдунами людям, жившим тысячу лет назад...

ИЗ ДНЕВНИКА

Напротив меня на работе сидит изумительно умная девчонка — новенькая. Студентка. Первый год собирается учиться и работать,

потом — только учиться. Она младше меня почти на год, а уже студентка! Но ничего, Светка, держись! Самое главное — верь в себя. Русаков поступил? Да. А я? Я хуже Русакова? Допустим. Но... Есть два «но». Через три года (когда мне будет, как и ему, 21 год) я, безусловно, поумнею. Хо! Три года... Что я писала три года тому назад? «Полет на Венеру»! Господи, неужели я и вправду была тогда такой глупой?!

Есть какой-то закон. Если пишет поэт с чувством, то читатель чувствует его стихи. Если стихи его только «сделаны», — то нет.

Сколько писали о любви к Родине! Раскрывали свое чувство через многочисленные слова и образы, а Есенин взял и написал:

Я люблю Родину,
Я очень люблю Родину.

Кажется, ни одного словесного образа. Ужасно просто! Ведь по всем правилам нельзя идею преподносить прямо. А поэт взял и ударил «в лоб»:

Я люблю Родину,
Я очень люблю Родину.

И не скажешь лучше!

Если очень сильно захотеть, то можно всего-всего добиться.

До 30 лет я должна сделать то, что называется карьерой. Нет, нет, не в том смысле: боже упаси меня от карьеризма!.. Просто не найду другого слова. Просто нужно добиться своего:

1) Войти в литературу.
2) Стать очень эрудированной.
3) Выучить испанский и английский языки.
4) Объездить полсвета.
5) Научиться властвовать собой в обществе.
6) Прожить хорошую, полную жизнь. Не оставаться равнодушной, не быть в стороне: нигде, никогда!
7) Ну и, конечно, очень, очень похудеть.

А все-таки жизнь хороша и удивительна!..

Тяжело. В цехе жара сумасшедшая. Мозги вытапливаются на блок. Капают прозрачными каплями. Хочу схватить этот блок и пальнуть им в мастера, чтоб немедленно пошел и сделал вентиляцию. Он сидит себе в садочке. А тут — стол металлический, инструменты, паяльник раскаленный, печет руки и дымит под нос проклятой липкой канифолью. Будь проклята, душная подлая жара! Не хочу работать!

...Я дрянная! Ни один человек на свете не знает какая! Вчера уехала Валя. Я ни черта не делала и все плакала — так трудно! А она, господи, она ведь подвиг делала, и молчала, и еще мне сочувствовала! Валя, Валя! Валька! Я виновата перед тобой, перед всеми. Я ни за что не брошу завод.

А все-таки клепать должны машины. А человек должен думать...

Вот как быстро вопль «Не хочу работать!» сменился словами «Ни за что не брошу завод!». Юность вообще состояние ломкое.

Юность таких людей, как Света, — особенно ломкое. Один какой-то темный факт мог заслонить от нее весь свет, а другой — сделать светлым все. Свете, конечно, было очень трудно работать на конвейере: полная, бело-розовая, она плохо переносила жару. Но вот узнала она, что Валя не только работает и учится, но и является главной опорой матери и младших детей, — и шквал стыда смыл ее слабость. И, верная своему правилу — «не быть равнодушной, ни от чего не стоять в стороне», — личный свой «бунт» против жары в цехе превратила в общественное действие. Вместе с молодыми товарищами по работе добилась она того, чтобы вентиляция в цехе была налажена. Недаром ведь Света руководила комсомольским постом «Молния» и была членом бюро цеховой комсомольской организации. И главным ее оружием в борьбе с разными неполадками было, конечно, перо. Среди Светкиных рукописей я обнаружила рассказ «Обида», напечатанный в заводской многотиражке. Этот рассказ был уже не о неполадках в цехе, а о неполадках в душах людей: его строки борются уже с душевной слепотой.

В рассказе использованы факты из жизни соседки Светы, которая в годы Отечественной войны потеряла в Ленинграде всю свою семью, и случай на концерте самодеятельности в заводском клубе. Собственно, этот случай и послужил поводом для написания рассказа.

Обида

Когда-то у нее был муж и два сына. Потом началась война. Сначала от голода умер младший — Коля. Алевтина сидела над ним и, бессильная помочь ему, ждала неизбежного конца. Потом пришла похоронная на мужа из дальних краев. А старший сын был убит где-то здесь, под Ленинградом...

Когда кончилась война, за окном играла музыка и люди шли с цветами, она решала: можно ли есть луковицы гиацинтов? Люди смеялись, пели, кричали, а она сидела на корточках перед холодной и ненужной теперь печкой и ни о чем не думала. Если бы она стала думать — сошла бы с ума. Вечером она закрыла окно и легла спать на полу с мыслью: «Теперь надо покупать только одну кровать...»

Прошел год. Для нее он был юбилейным: исполнилось ровно пятьдесят. Осталось, видимо, еще много. Алевтина вдруг перепугалась: а что она будет делать все это время? Одна в комнате. С одним стулом. С одной чашкой... Надо хоть стульев и посуды купить. Может, гости появятся... Но гостей не было...

На другой день Алевтина подмазала брови, чуть-чуть подкрасила губы и пришла в клуб завода.

— Я хочу записаться к вам в художественную самодеятельность.

— Вы? А что вы умеете делать?

Алевтина тряхнула седеющей головой:

— Я пою!

Худрук всплеснул руками:

— Так это же замечательно! А то у нас одни молодые поют.

«Молодые, — подумала она про себя. — Да... молодые...»

— Что вы будете петь?

— Песенку Наталки...

Худрук замялся:

— А другого вы ничего не знаете?

— Я хочу петь это!

У нее был сухой, надломленный голос. Было ощущение, что она не поет, а выбивается из последних сил. Ей действительно было очень трудно петь, и, когда она брала те самые высокие ноты, которыми втайне гордилась, ей казалось, что еще минута и у нее что-то порвется в горле.

Когда она в первый раз спела на репетиции, все переглянулись: «Что хочет эта женщина? Она хочет с таким голосом вылезти на сцену? О чем, интересно, думает худрук?»

Алевтина облизала губы и тоже посмотрела на худрука.

— Ну как? — На губах улыбка, а глаза покраснели от напряжения, косой взгляд, какой-то умоляющий и жалкий... — Ну как?

И вдруг худрук заметил, как она вздрогнула от этого своего вопроса, как собрала последние силы, чтобы сохранить эту идиотскую улыбку на лице.

— Что, плохо? — опять спросила она и прикрыла рукой губы, внезапно задрожавшие.

— Нет, нет, хорошо, — ответил худрук, — очень хорошо... Будете выступать... — он сказал это и запнулся. — А что вы делаете вечером?

Она, как девочка, которую спросили что-то нетактичное, опустила глаза и молчала. По вечерам она разговаривала с ушедшими. Чаще всего со старшим сыном. Он, правда, тоже еще мальчик. Семнадцать лет, что за возраст? Так и не отучился есть снег. Небось и там, на фронте, ел... Семнадцать лет, что возьмешь? Вот так и будет ему семнадцать вовеки. Пока мать не умрет, а как мать умрет, так и вовсе нисколько не будет, потому что помнить о нем некому. Некому будет помнить ее Сереженьку. Кто знает, что он шесть раз болел воспалением легких, и мечтал стать путешественником, и любил есть снег. А кошек, как он любил кошек! Это ж просто несчастье было с кошками! А вареники с картошкой и луком! Надо будет завтра сделать. Да сколько она съест — два вареника, и сыта. А Сережа, бывало, полную тарелку съедал... А с отцом как он ругался, когда тот выпивал. Когда они поженились, Ванечка не курил и не пил. А потом начал, да как-то сразу без меры. Только он все равно был добрым и всегда просил: «Спой мне, Тина, спой, жена, спой!» И она пела песенку Наталки...

Концерт должен был состояться через две недели. Но завком не давал денег на костюмы танцорам.

— Что это за гопак без костюмов! — с обидой говорил худрук.

Алевтина засуетилась:

— Как без костюмов? Разве это можно? А почему не дают денег?

Через десять минут она уже сидела в завкоме:

— Почему не даете денег?

Через час она с деловым видом доказывала уже директору завода, что плясать гопак без костюмов совершенно невозможно.

Деньги дали.

— А что, если к этой сценке сделать декорацию? Какую? Очень простую! Вот здесь надо травочку. У меня есть лохматый

коврик, его покрасить, и все! А здесь на картоне домик нарисовать. Скамейку. Очень славно выйдет...

Теперь по вечерам у Алевтины было шумно. Она ходила помолодевшая, радостная и поила гостей сладким чаем в белых с серебряными каемками чашках: купила!

И вот назавтра — день концерта. На ночь Алевтина помыла голову и накрутила бигуди. Примерила платье, в котором должна была выступать. Шито оно было на высокую полную женщину. Алевтина прямо-таки утонула в нем. Но она посадила пояс на резинку, убрала в плечах. Потом, подумав, вставила на груди белую каемку. Платье получилось красивым, вечерним. Сбегала к соседке за шелковыми чулками.

— Ах, Ваня, Ваня, — сказала она, глядя на портрет мужа, — завтра ты за меня будешь болеть.

Утром Алевтина поднялась свежей, бодрой. До вечера бегала в косынке, не раскручивая волосы. День промелькнул незаметно, весь в каком-то веселом напряжении. Но к вечеру Алевтине стало холодно...

Зал был наполнен до отказа, гудел, шумел, смеялся... Концерт шел уже более часа.

— Алевтина Ивановна, ваш выход!

У нее что-то сжалось внутри, запершило в горле. Она вышла. Колени дрожали. Она боялась взглянуть в зал, а зал смеялся. «Отчего они смеются?» — подумала она. И ей показалось, кто-то другой подумал это за нее. Она запела.

О, как она старалась петь! Она пела громко, отдавая все силы, своим невероятно высоким голосом... Пела одинокая женщина. Одинокая в этом огромном солнечном мире. Когда-то у нее был муж и два сына, потом началась война...

Алевтина кончила. Зал ревел. Сначала она ничего не поняла: она слышала только «Бис!».

Подумала: «Господи, как принимают!» — подняла голову, улыбаясь, глядела в зал. По щекам катились слезы. И тут она увидела, что люди смеются!

Алевтина вздрогнула, побледнела, еще секунду широко открытыми глазами смотрела в зал и, повернувшись, медленно пошла за кулисы. Худая, с растрепавшейся головой, она двигалась по сцене механически. Вдруг споткнулась — и снова: «Бис!», «Браво!»...

— Никогда не слышал подобного голоса, — беззлобно смеется какой-то рабочий.

— Да, за мной, говорит, хлопцы вьются! Ой, умру!

— Главное, как самозабвенно поет.

— А платье-то, платье! С декольте...

Алевтина медленно шла домой. В стареньком пальтишке поверх своего вечернего платья. Было тепло. Как-то особенно чувствовался запах земли. Низко на небе висела оранжевая звезда.

Алевтина пришла домой. Открыла дверь. На столе грудой стояли белые чашки с серебряными каемками, на кровати валялись бигуди, пол у окна был устлан газетами, вымазанными в зеленую краску. Алевтина тихо села на краешек стула. И опять, как тогда, она ни о чем не думала...

Сколько она так сидела, трудно сказать. Может, час, может, два. А может, и всю ночь. Потом сняла шелковые чулки и в платье легла в постель. И вдруг с такой ощутимой, осязаемой яр-

костью, будто это было вчера, она вспомнила, как с семьей ездила в Ялту. Было тепло, и море было синим. Младший тогда был совсем маленьким и смешно топал ножками по воде. А Сережа с Ваней уплывали далеко, до буйков. Она смотрела издали за белыми головами и совсем не беспокоилась. Они хорошо плавали, и Алевтина не боялась, что море отнимет их у нее. Потом они шли по набережной вверх, было пыльно, душно, и Ваня говорил, что он сейчас умрет от жары...

(В дверь кто-то постучал...)

А потом они ели розовое мороженое. Сережа перемешивал его и говорил: «Мама, смотри, какая у меня каша!..»

(В дверь стучали...)

А потом началась война, и младший плакал, и слезы катились по синим его щекам. И Сережа так и не поступил в институт, а Ваня так и не вернулся...

(В дверь стучали!)

— Войдите!..

Это был худрук. Он что-то сказал. Она не расслышала. Прошел в середину комнаты и сел на стул. На самый краешек стула...

...Бом-бом-бом — отзвонили часы семь утра.

Рассказ «Обида» произвел на заводе огромное впечатление. Тем более что обстоятельства жизни осмеянной на концерте женщины совпали с обстоятельствами жизни героини рассказа. Перед женщиной извинились, дали ей новую квартиру.

Но некоторые, видимо, рассказа не поняли, и Свету попросили через многотиражку рассказать о том, как возникла «Обида» и в чем ее суть. Свои объяснения Света закончила так: «Очень часто, не задумываясь над своими словами и поступками, мы нестерпимо обижаем друг друга. Про это я и хотела сказать в своем рассказе. Может быть, мне не удался образ одинокой женщины. Но такие судьбы меня всегда глубоко трогают».

ИЗ ДНЕВНИКА

Очень мне нравится работать на заводе. Хорошо!

Какие удивительные девчонки у нас. Как на свете много изумительных, чудесных, добрых, замечательных людей! Интересных. Готова поклониться им в ноги за то, что они такие. А мне говорили: «Ты ребенок, ты слишком веришь людям...» Ненормальные!

Поют сейчас песню «Комсомольцы-добровольцы», и у меня дрожат руки отчего-то. «Видеть солнце порой предрассветной — только так можно счастье найти!» Да. Тысячу раз — да! Что-то надо делать смелое, отчаянное, но хорошее и значительное. Надо делать — иначе и жизни нет...

СВЕТА — ВОЛОДЕ

Скажи мне: чем современный читатель отличается от прошлостолетнего?! Любит, дружит, переживает, ревнует — все так же. Почему же ты считаешь, что в век реактивных самолетов нужно «стрелять» реактивными повестями? Это ерунда! К чему заумни-

чать, пиши так, как можешь. Поменьше подражай. Если природой в твою голову вложен талант, ты напишешь как раз то, что нужно. А если нет таланта — обнаружишь отсутствие его раньше, чем станешь графоманом.

Теперь еще вот что: давай все-таки ограничимся рукопожатиями. Из нас с тобой никогда не выйдет нежных, влюбленных молодых людей. Или мы с тобой будем друзьями, или разойдемся навсегда.

Я гожусь только в товарищи. Я груба и неженственна. Если тебе кажется, что ты меня любишь, то ты ошибаешься: умом любишь! Но эта любовь великолепно обходится без поцелуев. У тебя какие-то старые взгляды. И ты считаешь, что надо обязательно как все. Что за глупость!

Я прекрасно знаю, с каким характером человек может меня полюбить. Он будет похож на тебя, но все-таки не ты. Я понимаю, что ты мало видишь девушек, что в твоем возрасте человеку необходимо кого-то любить. Ты потом поймешь, что это была ошибка, но я не хочу, чтобы этой ошибкой была я.

Да, ты полюбишь другую девушку до невозможности жить вдали от нее. И однажды, встретившись со мной, ты не отведешь смущенно глаза в сторону, а радостно улыбнешься и скажешь ей: «Знакомься, — мой друг Светка Бельченко». Я пожму ей руку и скажу: «Любите его, он славный...»

ИЗ ДНЕВНИКА

Сегодня хоронили Евгению Филипповну. Боже мой, думала ли я когда-нибудь, что мне придется писать эти строки!

Сейчас ночь, и я не буду писать обо этом. Боюсь. Кто понимает, что такое смерть? Я — нет. Ведь тело-то есть, оно никуда не делось. Вот я трогаю свою руку, я ее глажу, мажу кремом, чтобы не вскочили цыпки от бензина. А когда я умру, ее забросают землей. Значит, мое тело все-таки не мое? Вчера Люся говорила, что такое «я». Вот у меня сейчас болят глаза, а ведь они, оказывается, не мои. Когда я умру, кто-то их закроет, и я не смогу уже никогда их открыть. И вот уже Евгении Филипповны нет. Ее никогда уже не будет!

Бедная женщина, она так и не дождалась пенсии. Ох, как тяжело! Даже слишком тяжело. Мне сейчас думается: ведь я ее не любила, никогда не любила, и от этого мне еще тяжелее. Ее мало кто любил. Она была несчастным человеком. Мы осуждали ее за то, что она работает ради пенсии. Боже мой, какие мы были идиоты! И каково ей было! Старая, больная женщина сидела ночами, писала конспекты, которые потом никто не слушал. Иногда на ее уроках я переставала дурить и оглядывалась вокруг. Класс не слушал, шумел, занимался своим делом. А она все читала и читала свои конспекты и видела, что бесполезно она их пишет. Ей было обидно, и она ставила нам двойки за то, что мы не слушаем. А мы ругались с ней в лицо, а за спиной кляли.

Несчастная, добрая Евгения Филипповна, если бы она могла ожить на полчаса и простить всех нас! Она ведь часто жаловалась, что у нее больное сердце, а мы не жалели ее ни капельки.

И у нее была своя жизнь, своя забота. Больная дочь, ссоры с зятем, непослушное сердце. А мы думали, что она только наш классный руководитель. Ее никто не любил — это самое страшное. Никто!

И еще я подумала (но это касается уже только меня), я подумала, что, если умрет человек, которого я люблю, я этого не переживу. Я это поняла, когда закапывали гроб. Поняла вдруг ясно и отчетливо: не переживу! У меня сейчас мокрые виски и болит сердце...

Как страшно не знать, что тебя ждет впереди. Болит сердце и за свое будущее. Ох, как тяжело!

Мы ее не любили

Почему ее не любили, трудно сказать. Наверное, потому, что ей было не до нас. Принято думать, что старые учительницы — седые, добрые и очень умные. А она не была ни седой, ни очень умной. Она была обыкновенной. У нее было больное непослушное сердце и вечные неполадки в семье. Очень часто, придя на урок, Евгения Васильевна задумывалась, открывала журнал, продолжая думать о чем-то, вызывала отвечать, а сама все смотрела и смотрела в одну точку. Тогда в классе начинали смеяться. Дети вообще очень жестокий народ. Самый добрый, самый отзывчивый, но и жестокий. Мы будто чувствовали, что она постоянно заботится о чем-то другом, не касающемся нас, и поэтому не прощали ей ничего. А она, как на грех, была пресмешным человеком: маленького роста, на коротеньких кривых ногах, с голубыми морщинками у выцветших, когда-то зеленых глаз. Она не была седой и делала завивку. У нее была плохая память, и она старалась не показать этого.

Все это веселило нас до злости. Больше всего нас злило то, что она говорила некрасивым и неправильным языком.

— Чапаев в детстве пас рогатый скот, — рассказывает она унылым тихим голосом.

В это время весь передний ряд играет в «чепуху», второй готовится к сбору, а третий спорит о последней кинокартине.

— Мне очень трудно влиять глазами, если передо мной ваши затылки, — говорит Евгения Васильевна.

Она считает, что у нее очень сильный взгляд, что он способен достучаться до нашей совести. Но это добрая и слабая женщина. И сильного взгляда у нее не получается никак: мы только смеялись, когда она кричала на нас и выпучивала свои маленькие, бесцветные глазки. Мы только смеялись...

Только один раз, когда было что-то уж очень шумно, она вдруг сказала: «Да что ж это... ведь я готовилась...» Сказала тихо, застенчиво и взглянула на нас беспомощно и жалобно. А мы вдруг замолчали. Мы молчали целый урок, а на перемене растерянно смотрели друг на друга и не говорили ни слова. Что-то сдвинулось в нашем сознании.

Только на следующий день, когда она стала нас ругать и сказала, что некоторые из нас сидят и только, как говорится, «штаны трут», мы облегченно вздохнули. Все стало на свое место.

На выпускном вечере мы поднимали тосты за многих учителей, а о ней не вспомнили вовсе. Было море цветов. Сирень, тюльпаны, ландыши. Головы кружились от их дурманящего аромата и от шам-

панского. Мы смотрели друг на друга влюбленными глазами и, кажется, уже начинали понимать, что расстаемся все-таки навсегда...

И вдруг она поднялась на сцену. Нелепая и смешная, остановилась посредине и стала смотреть в зал. Мы замолчали. Тогда, запинаясь, будто сдерживая вздох, она сказала:

— Разрешите мне... сказать вам... всем свое последнее слово. — Она сказала это таким тоном, будто на самом деле просила у нас разрешения, будто боялась, что мы и последнего ее слова слушать не захотим.

Мы замолчали. Я слышала, как рядом тяжело и часто задышала Светка Светлова. Она была чуть ли не самой беспокойной в классе, вечно что-то придумывала. Один раз принесла на урок истории патефон и крутила — тихо-тихо — похоронный марш. Мы хохотали, а Евгения Васильевна просила, чтобы закрыли окна. Что она нам говорила еще, я не помню, что-то длинно и скучно. Запомнила конец. Она сказала:

— Помните, дети, школу, учителей... всегда... помните. Они ведь вас любили, несмотря ни на что. Помните... и... будьте добрыми...

Светка вдруг засопела и порывисто вздохнула, но тут же, будто спохватившись, тихо засмеялась и зашептала:

— Расчувствовалась...

Мне стало нехорошо от ее слов, но я тоже засмеялась и тоже сказала что-то колкое и насмешливое.

Потом я пошла работать на завод. Прошел год. У меня уже пропала необходимость делать по утрам большой крюк, чтобы пройти на работу мимо школы. И вот однажды меня из цеха вызвала Тоня Мирова, девочка, с которой мы вместе учились. Она работала в другом цехе, и к нам ее не пускали. Помню, как Тоня слабо улыбнулась и сказала, сильно заикаясь и растягивая слова:

— Ев... Ев... Ев-гения Вас... Вас... сильевна ум... ум-мерла.

Я не поняла сразу.

— Какая?

— Та...

Мне стало очень душно, даже закружилась голова.

Вверху ветер раскачивал грязную лампу на проводе, и темно-голубая туча наваливалась на дом.

Когда мы шли за гробом, полил сильный дождь. Страшно хлестал по мостовой, по улицам. Лужи булькали и покрывались белой пеной. Двое наших ребят вскочили на машину и закрыли гроб. Ливень глухо и угрюмо забарабанил по крышке.

— А ей, знаешь, не надо было быть учительницей, — вдруг сказала Тоня. Мне показалось, что она сказала что-то оскорбительное.

— Почему? — спросила я.

— Да так... Ведь не любили ее... не любили. А она, знаешь, ведь добрая... была доброй очень.

Торжественно и громко играли «Похоронный марш» Шопена, и мы шли под дождем все, как один, наш класс.

— К чему ты это? — спросила я Тоню.

— Да так, сама не знаю. Не пойму я что-то ничего.

Она замолчала и, достав платок, вытерла лицо. Платок сейчас же потемнел от воды.

Кладбище у нас старое-старое, много поколений светлоголовых наших горожан лежат среди столетних кленов и дубов. Ливень оголил и выжелтил землю. К ногам липли свежие, чистые листья

кленов с тонкими красными жилками. Резко и остро пахло весенней землей, хотя была осень.

Яма была вырыта рядом с малюсенькой ивкой. Ивка дрожала под дождем ласковыми нежными листьями. А кругом громоздились черные вековики. Гроб поставили рядом с ямой. И какая-то незнакомая нам учительница взяла слово. Видно, в школе она была недавно. Надела очки и достала бумажку (с нее потекла фиолетовая вода).

— Мы провожаем сегодня лучшую нашу учительницу Евгению Ивановну, — сказала докладчица и тут же поправилась: — Евгению Васильевну...

Мне вдруг стало ужасно больно. Хотелось сказать что-то другое, сказать, что мы ее никогда не любили, а теперь готовы целовать землю у ее ног и вымаливать прощение за все, за все! Хотелось затопать ногами на учительницу, забывшую ее имя.

Неожиданно заплакала Светка Светлова, та самая взбалмошная Светка, которая вечно ерундила на уроках истории. Плакала она громко, навзрыд, не закрывая лица руками.

Гроб закопали, сверху сунули горшки с цветами и стали расходиться. Глухо и протяжно шумели дубы. С ивы стекали грязные слезы. Это смывалась могильная земля.

Когда шли обратно, Тоня тихо сказала:

— Я не пойду в м-медицинский.

— Почему?

— Так. Маме нравится быть врачом. Я д-думала, что и мне... А вдруг я б-буду плохим врачом?.. Это же ужасно! Куда спешить? Зачем спешить? Чтобы потом делать людям зло, совсем не желая этого? Смысла нет...

Было холодно и жутко, только оранжевые крыши победно и радостно блестели в косых полосах дождя.

Рассказ «Мы ее не любили» будет потом опубликован в журнале «Молодой колхозник» и получит первую премию по конкурсу этого журнала. И гонорар за него, и премию Света истратит на путешествие в Чехословакию (ведь до тридцати лет ей надо объездить полсвета!). И Аркадий Первенцев напишет о рассказе такие слова:

«...Среди присылаемых отовсюду начинающими пробу пера нас поразил чистотой мысли, безыскусственностью и юной свежестью небольшой рассказ, написанный от первого лица о своей учительнице Евгении Васильевне. Хороший, острый язык, умение концентрировать внимание читателей на главном при раскрытии психологических тайников персонажей, гуманизм мысли и некая элегичность ее образного выражения заставили меня подумать, что автор — опытный литератор и, безусловно, в годах, как говорится.

И вдруг приятная неожиданность: автору нет и двадцати. Только в 1958 году она окончила школу и работает на заводе слесарем-монтажником. Конечно, у нее есть мечты, она хочет стать литератором, поступить в Литературный институт имени Горького. Что же, все это у Светланы Бельченко впереди. Человек она способный и живет в хорошей рабочей среде. Товарищи по работе прекрасно относятся к ней, им она читает свои стихи и рассказы.

Редакция с удовольствием предоставляет страницы журнала молодому, начинающему автору, впервые выступающему в печати, и желает ему дальнейших успехов. И самое главное — не успокаиваться на достигнутом».

СВЕТА — ВОЛОДЕ

Приехала я из Москвы вчера вечером. Я не прошла по конкурсу, Володя. Буду еще один год работать и поступать в следующем году.

Мне очень невесело, Володя. Понимаешь?

ИЗ ДНЕВНИКА

Ура! Исправила свою авторучку. Красота! Она у меня не писала со школы. Прекрасное настроение. Сегодня целый день пою: «Руку дай, товарищ незнакомый». Вообще это ужасно, но у меня такое мощное настроение, наверное, оттого, что мне на этой неделе два парня — как сговорившись! — объяснились в любви. Я рада. Никого из них не люблю, но рада. Значит, я кому-то нужна! Я ведь, правду говоря, ужасно всех люблю, а написала такую гадость, что всех ненавижу. Дура! Если бы мне кто-нибудь сказал: «Света, мне нужна твоя жизнь. Мне она очень нужна. Я тебя прошу: мне просто она необходима, твоя жизнь!» ...Нет, нет, я хочу соврать! Я ужасно люблю жизнь! И наверное, не отдала бы ее любому. Да нет, конечно! Но некоторым — не задумываясь! Уверена! Еще за что бы я отдала жизнь? За книги! Если бы должны были спалить все книги или убить меня — я бы побежала на казнь...

И теперь я опять пишу. После долгого перерыва. Ой, как нехорошо мне было после провала в институте! А теперь — пишу. Ура! Ручка не подведет!..

В голове вертится один старый сюжет, но решаю его, кажется, по-новому.

Музыка звезд

Колеса на стыках однообразно бубнят одно и то же. Сначала: «все-таки, все-таки!», потом — «вот как, вот как!».

Неритмично, но оглушающе хлопают костяшки домино.

— Дуплюсь! — провозглашает тонкий милиционер с граммофонными прозрачными ушами.

— Хорошо! — одобряет другой пассажир и, усмехнувшись, облизывает яркие, влажные губы. Его напарница — рыжая девушка, похожая на красивого мальчишку, порывисто откидывается назад и громко хохочет:

— Рыба!

Милиционер и еще один, полненький, краснощекий гражданин, дружно и смущенно чешут в голове. У них на руках в два раза больше очков. Рыба явно не в их пользу.

— Ну так что! Права я или не права?!

Пухленький гражданин бросает костяшки, и все трое, кроме милиционера, начинают хохотать. У девушки на глазах слезы. Она вы-

тирает их кружевным платком, и по купе разносится запах ландыша.

— Так как, ты говоришь, закон называется?

— Закон психологии!

— Да нету такого закона, черт бы меня побрал!

Девушка снова начинает смеяться и сквозь смех, махая рукой, говорит прерывающимся, ослабевшим голосом:

— Но ведь в четвертый раз всухую!

Милиционер покрутил головой:

— Зато перед этим мы выигрывали...

— Так я о чем и говорю?! Закон психологии! Как начали выигрывать, так и пошло, пошло: потому что настроение другое...

— Да ну, это ерунда, — растерянно хлопает глазами милиционер.

— Ну как же ерунда?! Да ведь сплошь и рядом этот самый закон. Почему, когда волейбольная команда проигрывает, советуют заменить игрока, и, наоборот, если выигрывает, менять ни в коем случае нельзя? Что молчите! Да, в конце концов, не будете же вы спорить с тем, что на войне маленькая кучка одухотворенных людей побеждала целую дивизию! И «кому везет в любви — не везет в игре» — тоже тот самый закон, закон психологии. — У девушки странно блестят глаза. Они, кажется, светятся... Светло-зеленые с крошечным подвижным зрачком. Вдруг она замечает, что напарник по игре пристально смотрит на нее в упор. Она встречается с ним взглядом, и зрачки ее неожиданно сильно расширяются, закрывая собой всю кошачью зелень глаз.

— Как же вы объясните этот закон? — спрашивает он без улыбки, чуть подавшись вперед и заметно сдерживая дыхание.

— Просто человеческий мозг гораздо сложнее, чем принято считать. Это самая сложная машина, которую можно себе вообразить. Ведь все машины работают по законам. Пройдет время, и откроют все законы работы мозга. Тогда, по-моему, придет бессмертие. — Говоря все это, она по странной своей причуде выдерживала его тяжелый, желтый взгляд и, только договорив, вдруг вздрогнула всем телом и опустила глаза.

— Вы что же, верите в бессмертие?

Она неловко улыбнулась, пожала плечами и ответила тихо:

— Да.

— Но ведь это... право... бессмысленно, — он улыбнулся и испытывающе заглянул ей в лицо.

— Почему бессмысленно? — Она говорила все так же тихо, не поднимая глаз. — Я думаю, что даже я никогда не умру. Ведь придумают же что-нибудь за 81 год оставшейся мне жизни! Ведь сейчас бог знает до чего додумываются!.. — Она помолчала, а потом вдруг сказала громко, снова начиная горячиться: — Ну хорошо, допустим, даже ничего не придумают. Все равно! Клетки, клетки-то мои все равно никуда не исчезнут. По закону Ломоносова хотя бы...

Он наклонился к ней, взял за руку и сказал заговорщическим шепотом:

— Вы великий философ...

Она секунду смотрела ему в глаза, и зрачки ее расширялись, как от боли, потом высвободила руку и вышла из купе.

На остановке он подошел к ней и протянул только что купленную книгу.

— Что вы читали Анатоля Франса?

— Кажется, все.
— А я, к моему стыду, только в детстве прочитал «Остров пингвинов» и проникся к Франсу антипатией.
Она усмехнулась:
— Странно. Замечательная вещь.
— Я пойду в купе, — сказал он, — во мне заговорил книжный червь. Смотрите не отстаньте. Что вы там увидели?
Она напряженно глядела куда-то в сторону. Потом вдруг сильно побледнела и сделала два шага вперед.
— Юрка!
Высокий солдат обернулся, и на его лице вдруг вспыхнуло такое радостное удивление, такой неописуемый восторг, что он сразу стал похож на мальчишку-школьника.
— Рыжик?.. — сказал он сорвавшимся голосом. — Рыжик!..
Она неуверенно, тихо шла навстречу. Потом вдруг рванулась и с размаху бросилась к нему на шею.
— Юрка! — крикнула она, и копна рыжих волос, метнувшись вперед, золотым веером рассыпалась у него на плече. Он нагнул голову и спрятал лицо у нее в волосах.
— Рыжик, родная! Это черт знает что... Куда ты едешь, Рыжик?
— В Москву.
— Поступать?
— Угу!
Она смотрела на него смеющимися яркими глазами. Он взбил пальцами шелковые волосы:
— Зачем косы обрезала?
— Тяжелы были.
— Эх ты! Все такая же. Рыжик! Все такая же сумасшедшая. Еще не сломала голову? Смотри! Что мы делать будем без этой рыжей башки.
— Ты в отпуск, Юрка?
— Да.
— Ты же во ВГИК поступил.
— Твой поезд тронулся! Скорей! Бежим! С заочного берут в армию!
— Давайте руку! Прыгайте, черт бы вас побрал!
— Юрка! Милый, привет «могучей кучке». К Генке зайди, он что-то хандрит.
— До свидания, Рыжик, счастья тебе...
Поезд шел на полном ходу. На перроне стоял высокий двадцатилетний солдат и мял в руках пилотку.
— Странное у вас имя...
— Это школьное прозвище. Меня зовут Тоней.
— Тоня? Так зовут мою жену. А меня, как ни странно, Юркой. Он что — ваш бывший молодой человек?
От этих слов она скривилась, как от кислятины. Потом сказала очень грустно и тихо:
— Это школа. Мой сосед по парте.
— Сколько вы не виделись?
— Два года.
— Ну это не такой уж большой срок...
— Нет, это очень-очень много...
За окном уже заметно потемнело. Солнце затягивалось косматой тучкой у края синего леса. Тоня снова пристально смотрела на что-то за окном.

— Что вы там снова увидели?

Она усмехнулась:

— Так, детство свое, мечту... Я когда-то бредила вон той звездочкой. Вы знаете, как она называется?

Чуть-чуть выше солнца, не мерцая, искрилась и будто переливалась спелым соком большая красновато-желтая звезда.

— Это вот эта, здоровая, красная? А черт ее знает! — сказал он грубо-безразличным тоном и спрятал лицо в тень.

— Она не красная, она... оранжевая. — Тоня очень странно произнесла это слово: «оранжевая».

«Оранжевая, — подумал он. — Черт возьми, какое красивое слово!»

— В школе я все звездолеты конструировала. Надо мной сначала все смеялись, а потом и сами, — она тихонько засмеялась. — Да, это в школе, — Тоня вздохнула. — А сейчас... Сейчас я уже выросла. Только так... иногда...

Одинокая тоскливая звезда тянула светящиеся руки за ушедшим солнцем.

Тоня вдруг взглянула на него и, виновато улыбнувшись, сказала:

— Я даже стихи пишу.

— Прочтите, пожалуйста.

Когда мои подруги
Спокойно спят в кроватях
И видят сны наивные,
Как мои мечты,
Я в темноте предутренней
По треклятой слякоти
Спешу к дверям завода
В другую жизнь войти.

У нее был низкий, чуть хрипловатый, но приятный голос:

«Сыро, грязно, холодно,
Жизнь такая серая», —
Мысль стучится в голову,
Где мои мечты?
И тогда на небе
Вспыхнула Венера,
Облила оранжевым
Светом с высоты.
Кажется, так близко,
Синяя и красная,
С желтыми
Оттенками,
Зеленью дымя,
Самая хорошая,
Самая прекрасная,
Вечная мечта моя, —
Синяя звезда.

«Где это она успела повидать все это? — он улыбнулся в душе. — Эх ты, девчонка! Значит, жизнь серая!»

Я бы жизнь отдала,
Чтоб одним глазочком

В этот мир таинственный
Мне бы заглянуть...

У Тони дрожали ресницы, и темные тени легли в собравшихся морщинках на лбу.

«Э, нет... она неглупа. Она — фантазерка!»

У него стало так тепло-тепло на душе. Есть люди, которым тесно в буднях. Всегда чего-то мечутся, куда-то карабкаются. И очень тяжело переживают, когда падают. А падают часто. И всю жизнь считают себя несчастными, не понимая своей участи — будоражить жизнь...

Но пока по слякоти
Тороплюсь по скверу я,
А в лучах рожденного
Розового дня,
В пламени восхода
Плавает Венера,
Вечная мечта моя, —
Синяя звезда.

Поезд вдруг резко затормозил, и она чуть не упала. Он поддержал ее, тихонько прижал к себе и увидел, как вздрогнули ее ноздри и пыльная пелена окутала потемневшие глаза. Поезд остановился. Он взял ее за локти и заглянул в глаза:

— Тоня, ты необыкновенная девушка.

Она молчала, низко опустив голову и закрыв глаза. Потом вдруг порывисто вздохнула, прикусила губу и с неожиданной силой оттолкнула его от себя.

— Закон инерции, — пробормотала она, нахмурив лоб, и прислонилась к двери.

— Тоня...

— Кажется, чай раздают.

— Тоня, — сказал он снова и взял ее за плечо.

— Вас зовут Юра. Да?

— Да.

— Идемте, Юра, чай пить...

СВЕТА — ВОЛОДЕ

Почему ты думаешь, что мне не нравится, что ты ругаешь мои рассказы? Больше всего меня ругает моя Ирка, но я ей первой всегда несу их. У нас с тобой просто разные точки зрения на литературу. Ну скажи мне, пожалуйста, зачем я буду писать об инженерах и художниках, если я о них ничего не знаю? Ты говоришь, что в моих рассказах многое от литературы, а не от жизни. А я говорю, что как раз наоборот: чего не знаю — того не пишу, чего не чувствую — тоже не пишу. И тебе советую. Я могу смеяться над беспомощностью своего языка, но не над темой. Кстати, фантастический роман «Полет на Венеру» я все-таки напишу обязательно. А ты вот попробуй напиши рассказ о девушке, рабочей, пусть она будет обыкновенным слесарем-монтажником. Потом дашь его

почитать мне, и я с удовольствием посмеюсь над ним и еще раз уверюсь в своей правоте...

Что думаю о партийности литературы? То же, что и ты: надо писать только правду. Ни в коем случае не лгать! И если есть в мире пошлость — пусть она будет на чужих страницах. Вот и все! Это мой принцип, мое глубокое убеждение. И я буду писать о ласточках, собачках и первой любви до тех пор, пока не познаю (именно **познаю,** а не узнаю) чего-нибудь иного. Кстати, сейчас я пишу о своей бригаде.

СВЕТА — ИРЕ

Сегодня суббота. Завтра пойду в Стрыйский парк, а потом тебе напишу. Теперь о Вовке. Он объяснился мне в стихах. На его послание я ответила так: «Не хочу быть «пылью», которую поднимают с земли и северный, и южный, и западный ветер. Хочу выбирать, а не быть выбранной!»

ИЗ ДНЕВНИКА

Сегодня поссорилась с Нинкой (с работы). Сама поссорилась и наконец-то вывела ее из постоянного хладнокровия. Она заинтересовалась ужасно. Теперь сидит около меня и все удивленно смотрит мне в рот. Она умная девушка, и ей до меня, наверное, еще никто не говорил, что она ничего не понимает. Я зла на нее необыкновенно за Лермонтова и Паустовского, о которых она отзывалась неуважительно.

Сижу и язвлю. Упражняюсь в остроумии, этак утонченно оскорбляю ее так, что и не придерешься. Давно уже я не язвила! Нина удивлена. Как видно, этого она от меня не ожидала. Обычно в разговоре с ней я, потрясенная ее взглядами на литературу, начинала горячиться и нести какую-нибудь ересь. Меня взбесило то, что она меня считает глупенькой. О, нет, милая моя, я не так уж глупа, чтоб не справиться с тобой. Ты еще пожалеешь о том, что звала меня «деточкой» и говорила: «Ну, полно, успокойся».

Говорили мы с ней и о долге женщины. Она говорила, что высший долг женщины — воспитать умных, честных детей. Для этого совсем не нужно работать (если, конечно, не нуждаешься). Она вспомнила какую-то аргентинскую песню, содержание которой примерно таково:

«Строить дома, писать книги, бороться с врагом и защищать слабых — это может только мужчина. Не спать ночами в тревоге о здоровье мужа и детей, быть нежной, ласковой матерью, все прощать и быть незаменимой в жизни человека — это может только женщина».

Это, конечно, все правильно, если выбросить слово «только». «Если так, — говорю я, — то вся твоя жизнь только для того, чтобы нарожать детей?»

— Нет, воспитать!

— Хорошо. А если родится дочь и снова дочь, значит, жизнь твоя прожита бесполезно, потому что ты родила дочь, которая должна есть, пить для того, чтобы быть здоровой, сильной и по-

скорее родить сына? И только сын будет делать что-то, кроме детей?

На второй день она подошла ко мне и сказала:

— Знаешь, Света, я вчера целый день думала об этом и пришла к такому выводу: двое мы не можем быть правыми, кто-то из нас не прав, или ты... или я.

Наконец-то! Подожди, голубушка! Если я не буду горячиться, то ли еще будет впереди...

СВЕТА — ВОЛОДЕ

Если ты считаешь, что наша двухлетняя история была для меня «смешной и веселой», то я не знаю, Володя, что тебе сказать... Все равно я не виновата перед тобой, потому что я никогда не обманывала тебя.

Ну и вот еще что я хочу тебе написать. Неужели же ты, Володя, вот так просто уедешь и навсегда, навсегда забудешь меня? Или будешь вспоминать, как о «рыжем кошмаре»? Ведь это невозможно ни тебе, ни мне! Ты говоришь, что я не могу ценить дружбу. А может быть, наоборот? Да, наоборот! Я тебе всегда была другом. Запомни: всегда!

Белобылинникова Света

ИЗ ДНЕВНИКА

Почему все говорят, что я ребенок? Все как сговорились. Почему? Сегодня сказала это Лида на работе. Я спросила: «Почему?» — «Потому что ты слишком веришь людям».

Боже, как страшно! Ну да, верю! Верю! Да как же можно жить на свете, если не верить людям? Что за ерунда! Сейчас буду плакать. До чего же я омерзительная плакса. Таня небось не будет плакать из-за этого, а о Галке и говорить нечего. Нет, не буду, к чертям!

Боже мой, Любовь Васильевна, милая моя, хорошая, дорогая моя вы учительница! Я никого из учителей так не любила, как вас. И я хочу снова в школу. Что бы ни было. Я ведь все вижу: и мерзость вижу, и эгоизм. Ну почему, например, один мой хороший знакомый живет впроголодь, а его родители копят на машину? Почему люди бывают — и часто! — так невероятно грубы друг с другом? Почему некоторые из них идут на прямой обман?..

...Весна. Что говорить еще — Весна! Я думала, что ее уже никогда не будет. Весна! Господи, совсем как в прошлом году! Хочется встать среди улицы и закричать: «Балда ты, Светка, балда! Ведь, несмотря ни на что, пришла весна!!!»

* * *

Вот и кончились долгие, долгие годы юности: три года без трех месяцев. Что принесли они Свете?

Принесли они ей прежде всего — мужество. То мужество, которое нужно человеку не только для подвига, но и для повсе-

дневной жизни. Работа на конвейере тяжела для всех. Особенно тяжела она была для Светы. И все-таки она не ушла с завода и освоила свою специальность настолько, что могла уже учить других.

Вот этот самый «зловредный» конвейер, заводской коллектив, весь строй заводской жизни выработали в ней и чувство долга, подняв «хочу — не хочу» взбалмошной девчонки до степени «надо». А ведь чувство долга и есть основа всякого мужества.

И любовь к Родине, чувство гражданственности, присущие Свете, стали вполне осознанными, неотъемлемыми от натуры качествами тоже на заводе. Вспомните, как смело выступила она в цеховой многотиражке, защищая человеческое достоинство девушек. А рассказ «Обида»? Ведь когда Света писала его, у нее в ушах стояло насмешливое «бис» всего зала, не пощадившего одинокой женщины. Кто мог поручиться, что и рассказ не встретили бы так же?

Рассказ встретили по-другому. И это, наверное, принесло Свете огромную радость, ибо утвердило ее веру в Человека. И ту уже вполне осознанную «гуманность мысли», о которой говорил Аркадий Первенцев. Эта «гуманность мысли» и стала стержнем ее творчества. Особенно ясно это видно, если сравнить два рассказа Светы — «Мое возвращение» и «Мы ее не любили». В первом господствует прямолинейная детская жестокость, беспощадно рисующая старую учительницу жалким, никчемным существом. Здесь Света еще не может подняться над оценками, свойственными возрасту. Но она делает это в рассказе «Мы ее не любили», с глубокой скорбью рисуя образ старой учительницы, как хорошего человека, попавшего в трагическое положение. А вывод-то в рассказах один: если человек не нашел своего призвания, то и сам он не получает от жизни радости, и другим ее не дарит. И, более того, может принести вред.

«Гуманность мысли», позволив Свете выйти за рамки возрастных, а следовательно, и ограниченных оценок действительности, сделала ее творчество более профессиональным: раз есть стержень, значит, есть главное, и на него уже «наматывается» все остальное. Света уже не стихийно, а сознательно отбирает для своих рассказов значительные факты. И герои ее законченных рассказов — уже не списанные с натуры Галка, Рома, Женька, это уже почти собирательные образы. В характере Вити из рассказа «Кленовые звезды» есть черты характера самой Светы, и в то же время в него привнесено специфически мальчишеское, делающее этот характер именно Витькиным. В том же рассказе факты и эпизоды скомпонованы так, что из них естественно, как бы сама собой, вытекает мысль: «Есть на земле прекрасные чувства, и надо беречь их. Есть на земле красота вообще, в ней заключена великая облагораживающая сила. И опять-таки надо беречь ее». Характерно, что защитником красоты выступает в рассказе завод, и это делает его главным героем рассказа, хотя о заводе-то сказано всего несколько слов...

А рассказ «Баллада о сумасшедшем летчике» — какая же в нем «гуманность мысли»? Ведь он мрачен и беспощаден. Но «гуманность мысли» всегда сочетается с ненавистью к жестокости, разрушительству и насилию. Летчик в рассказе покушается на святое для Светы — Родину. На свободу и человеческое достоин-

ство ее народа. И разрушительная сила его ненависти оборачивается против него самого. Все логично...

Самым слабым в творчестве Светы был, пожалуй, сюжет, сюжет в смысле действия: завязка, кульминация, развязка. Но Света уже довольно хорошо овладела тайнами сюжета внутреннего, психологического, так сказать... На первый взгляд кажется незаконченным рассказ «Музыка звезд», но в нем — острые психологические столкновения со своей завязкой, кульминацией и развязкой. И все объединено темой совести человеческой. И оборачивается прекрасной звездой, которая повелевает человеку не терять человеческого достоинства.

Начиная писать почти профессионально, Света, однако, по-ребячески была убеждена, что профессиональным писателем можно стать, лишь окончив Литинститут. И никакие уговоры, вроде тех, что вот, мол, у Чехова было медицинское образование, а тем не менее он стал знаменитым писателем, на нее не действовали. Она говорила: «То Чехов — он был гением...»

Впрочем, в стремлении ее поступить в институт сказывалась и жажда систематических знаний. За время, прошедшее после окончания школы, она поняла простую, но в детстве трудно усвояемую истину: учиться нужно человеку не для папы и мамы, а для себя. И горько сожалела о том, что поняла это поздно, что по тем предметам, которые ей не нравились, училась спустя рукава... Ведь современный писатель должен разбираться и в точных науках...

В чемодане с рукописями Светы я нашла отрывок из фантастического романа «Полет на Венеру». В научном отношении он совершенно беспомощен: это ясно даже обыкновенному человеку, а не только специалисту. А ведь Света, судя по одной ее записи, буквально утопала в книгах по астрономии, когда писала этот роман. И читала она эти книги добросовестно. Но разве можно их понять до конца, не зная основ точных наук?..

Света и собиралась засесть вновь за учебники по физике, химии и математике, как только поступит в Литинститут: она привыкла к напряженной умственной работе, и перегрузка ее не пугала.

Судя по дневниковым записям Светы, некоторые люди считали ее ребенком. Они ошибались, ибо, скользя по поверхности ее натуры, не замечали в ней ни целеустремленности (такой — дай бог любому взрослому человеку!), ни продуманного взгляда на жизнь, ни осознанной ее любви к Родине. Но детство все же уходило от нее медленно. И едва ли ушло бы совсем: в дар таким натурам, как Света, оно оставляет впечатлительность, яркость ощущений, непосредственность восприятия действительности.

Но от детства в характере Светы задержалось и то, что должно было бы уйти, что взрослому человеку может не только помешать, но и принести беду. Прежде всего это прямолинейность в отношениях с людьми. Вот ведь правильно, по-взрослому Света оценила главную причину разрыва с Володей в последнем письме к нему. Но не поняла, что обидного для нее повода к этому разрыву могло бы и не быть, если бы не детская ее прямолинейность. Глубоко уважая Володю, она всегда была с ним честна. Но как резко и «в лоб» выражала она порой свои мысли

по поводу их отношений. Это не могло не накопить обиды в душе Володи. Только обида и позволила ему поверить неправде о Свете: будто кому-то она сказала что-то неуважительное о нем. Света доказала ему, что это была ложь. И Володя горько потом сожалел о случившемся. Но злой язык уже сделал свое грязное дело. И неизвестно, как потом сложились бы отношения Светы и Володи: тем, кому Света верила, она с трудом прощала даже мимолетное недоверие к себе.

Кроме того, последнее письмо Светы к Володе вместо обычного «Света Белка» было подписано «Белобылинникова Света». Это означало, что вновь хозяйкой вошла в сердце Светы незабываемая Первая Любовь.

Но, пожалуй, самая опасная черта детства, которая задерживается во взрослом человеке, это ломкость, незащищенность. Именно эта незащищенность была ахиллесовой пятой Светы. Один какой-то темный факт мог заслонить от нее весь белый свет. Пусть ненадолго, но заслонить. Если рядом с таким вот незащищенным человеком любимые и любящие люди, это не страшно. Когда они рядом, даже самая омерзительная скверна, на миг заслонившая мир, быстро отступает. И даже можно написать в дневник: «Я никому не нужна», зная, что за стеной папа и мама, готовые кинуться к тебе по первому зову...

Но Свете предстояло надолго уехать от близких. Сперва в Москву, вновь в Литинститут. А потом в командировку вместе с бригадой молодых писателей — в далекий, жаркий, неведомый город Сумгаит.

Треть часть книги — «Город на берегу моря» — начинается с того момента, когда Света готовится лететь в Сумгаит.

ГОРОД НА БЕРЕГУ МОРЯ

Здравствуй, Сумгаит!

ИЗ ПИСЬМА К МАТЕРИ

Письмо это отправлю потом, когда приеду в Сумгаит. А сейчас пишу потому, что очень, очень скучаю, что ли... Нет, не то. Вот принялась собирать вещи. И прямо не могу. Села вот, пишу. Как-то не принято писать матери нежных слов, а я вот реву сейчас. Подумать только — я уже совсем взрослая. Меня послали в командировку. Мне выдали большой аванс. Значит, мне верят, что я справлюсь. Ведь это не шутки! А мне сейчас ничего не хочется, только чуть-чуть посидеть бы дома. Я попросила папу, чтобы он передал тебе, чтобы ты позвонила мне до отъезда. Потому что я очень, очень хочу услышать твой голос. Я так скучаю!

Пишут в конце письма всегда: «скучаю», а это так жутко, хоть так обычно звучит. Знаешь, я тебе ничего не говорила, но, когда вы уехали в ГДР и я осталась одна с бабушкой, я тогда хо-

дила по городу и представляла, что хожу рядом с вами. А потом опять грубила вам. Я не знаю, почему это. Меня раздражали твои слова, а сейчас их так не хватает: хоть бы поругала, что ли...

ИЗ ДНЕВНИКА

Я начну рассказ с того, как я летела в Баку. Самолет отлетал в три часа. Я была в типично южных босоножках, похожих на греческие, и, чтобы согреться, прыгала с ноги на ногу.

Самолеты не были видны в темном небе. Только высокие серебряные в луне хвосты. Они казались парусами на море. Я лечу в первый раз. Мой сосед — иранский журналист. Он знает шесть языков, но русский выучить не успел. Я объясняюсь с ним на чудовищной смеси английского и испанского. Два раза я вставила даже по латинскому слову. Он понимает и, в свою очередь, экспериментирует в области смешения языков. Иранец не может понять только одного, что я его коллега. Я даже немного злюсь, потому что слово «журналист» знаю только на русском языке, и еще потому, что я еще не совсем журналист, я только обещаю стать таковым...

На восточном небе розовыми перьями фламинго лежат облака. Самолет сдвинулся с места. Неуклюже и медленно выезжал на боковую дорожку. Потом остановился, будто прислушался к чему-то, и вдруг задрожал. Он задрожал совсем как живой. Это было именно то, чего я ждала. Потом он стал брать разгон. Быстрее, быстрее. Чуть слышны толчки и вот... Огромный самолетище поднял в воздух сразу 150 человек.

— Великий аэроплан, — говорит иранский журналист.

Третий сосед по нашему трехместному креслу поворачивает узкое лицо и говорит с южным акцентом:

— Страна — вот! Самолет — во!

Он разводит широко руками, а журналист радостно кивает. Видно, это то, что хотел сказать и он.

С английским я явно не в ладах. Я забыла даже то, что знала, и, желая узнать, где он живет, настойчиво спрашивала, кого он любит. Журналист удивлялся моей бесцеремонности, но, видно, скоро сообразил, в чем дело. Поэтому, когда через три часа мы приземлились в Баку, он сказал, страшно ломая язык: «Спал — встал — Москва, спал — встал — Баку, спал — встал — Львов, спал — встал — Чукотка. Компрендо?»

— Си же компрендо. — Я понимаю, что он хочет сказать. Он опять белозубо смеется и подает мне плащ.

Сумгаит встретил меня ветром. Ветром с южного моря. Я не знала, есть здесь море или нет. Но я тотчас его почувствовала.

— Здесь есть море? — спросила я у спутника.

— О, с двух сторон!

Море всегда говорит о себе. И здесь оно было во всем. В горьковатом теплом ветре, в белых домах, в выгоревшем от жары небе.

Я его еще не видела, а оно встретило меня, и я чувствовала на губах его влажный привет.

Я иду по городу. Пахнет каким-то странным цветком. Похоже

на акацию: только цветет он желтыми охапками. Девушки с тонкими бровями поливают цветник из шланга.

Ленин. Он встал так неожиданно, и в то же время я давно уже искала его глазами. Потому что он должен был быть здесь.

— Ух ты, черт! — удивляется мой спутник по самолету. — Когда они успели настроить? — Он останавливается, по-детски хлопает глазами. — Вот верите ли, клянусь, три года назад здесь ничего не было: ну ничегошеньки!

Странный город. Что-то в нем есть необыкновенное, сказочное. Может, это город, в котором мы все живем в семь лет. Удивительная симметрия линий, четырехцветные скамейки, голубой отблеск неба на мостовых и красно-желтые фонари с лампами, похожими на дождевые капли. Здравствуй, Сумгаит!

ИЗ ПИСЬМА ЛЬВОВСКИМ ДРУЗЬЯМ

Я не писала так долго, потому что хотела получить ответ. А адреса еще не знала. Знаете, откуда я пишу вам письмо? Сижу на балконе, в нескольких метрах от меня море. Бешеный шторм. Брызги долетают досюда. Когда я сказала, что представляла это море спокойным гладким озером, мой спутник расхохотался. Здесь не говорят «Каспийское море». Здесь говорят «Каспий». Притом это слово говорится очень многозначительно...

Пятьдесят человек с первых буровых вышек снесло в море. После шторма по берегу подбирают разбитых тюленей. Каспий штормит через день. Притом зимой каждый третий шторм в девять баллов. Я бешусь вместе с ним. Ведь море одна из моих страстей. Я от него порядком отвыкла. Как-то даже не думала. А сейчас снова, снова!

В школе учат, что Каспийское море мелкое, самое мелкое. И я в период своего увлечения моряками с пренебрежением относилась к морякам Каспийской флотилии. Если бы вы знали, как великолепен и страшен Каспий! Я пренебрегаю правилами безопасности и хожу на берег даже в шторм...

Не ходи за мной

Генрих Байрамов — секретарь заводского комитета ВЛКСМ завода СК (синтетического каучука). Он высок и тонок в поясе, на голове — черный ерш.

— Смотри, видишь на горизонте трубы? Наш завод! Там видишь? Тоже наш завод! Видишь? Ты видишь, какой он большой? — спрашивает он удивленно. Ему кажется, что я недостаточно бурно реагирую.

— А почему пахнет петрушкой?

— Это газом. Дивинилом. Понимаешь? Газ — ничего нет. А мы из него — каучук. Понимаешь?

Я не понимаю, как это из газа может быть каучук. Гена даже радуется этому.

— Эх, эх, — говорит он. — Гляди! Вот здесь из газа латекс. Эта такая, ну... вещество. Идем в этот цех.

— Гена! — окликает кто-то. Генрих оглядывается, и ерш на голове встает дыбом.

— Говорил, не ходи за мной? Нет, и все! Уходи! Как ты мне, мне можешь говорить? Кто тебя устроил сюда?

— Ты.

— Устроиться на завод я всегда помогу. — Он кладет руку на сердце. — Но уходить, бежать чтоб я помогал? Уходи от меня, сказал!

Парень сверкнул глазами, махнув рукой, молча ушел.

— Прописали в Сумгаите, а теперь — прощай, завод СК! — объясняет мне Гена. — Его учили, учили, выучили, а теперь — прощай, завод СК! Черта с два! Пусть хоть отдаст, что взял. Гляди! Пасанов, Азизага! — кричит он. — Гляди, вот настоящий парень!

Он хлопает его по плечу и начинает распевать:

— Парень — во! Жалко, недавно женился...

— Уже дочка есть, — невероятно смущаясь, говорит длинный черный парень, с веселыми, немного усталыми глазами.

Я почему-то тоже ужасно смущаюсь и от этого с видом заправского журналиста выхватываю блокнот и спрашиваю:

— Как вы очутились в Сумгаите?

Парень встает чуть ли не по стойке «смирно» и четко и ясно докладывает:

— Приехал из деревни по комсомольской путевке!

Он плохо говорит по-русски. Узловатые руки шарят что-то в карманах. Темные до белого отблеска глаза так же смущенно что-то ищут у меня на лбу. Напрасные старания — там ничего нет: я это чувствую сама...

— Спасибо, — говорю я и прячусь за Генину спину...

— Ну идем, посмотришь наш цех...

От цеха идет дух. Такой дух, что я закрываю нос и закашливаюсь.

— Сейчас повязку наденешь, — говорит Байрамов, улыбаясь. Он улыбается чуть насмешливо и дышит-дышит этим невозможным воздухом с таким упоением, будто вдыхает аромат сирени.

— Вот это мой цех. Я здесь каждый болтик знаю.

— Почему?

Он смеется:

— Я здесь учеником аппаратчика начинал.

— А потом?

— Потом? Потом аппаратчиком, мастером, начальником смены.

Из душевой выходит женщина с метлой. Морщинистая, старая, со странно синими глазами.

— Здравствуйте, — говорит Генрих и уже лезет в какую-то дырку. Я устремляюсь за ним. Но он уже наверху. Сощурившись, читает решение товарищеского суда.

— Правильно, ой как правильно! — рявкает с восторгом и бежит дальше.

Два парня, один курчавый, другой светлый, в веснушках, красят голубой краской какие-то цистерны.

— Смотри: отказались от слесарей.

— Кто?
— Аппаратчики. Где какой ремонт — сами. Вот начальник смены. Знакомься: Сабир Асланов.
Сабир улыбается, блестя золотым зубом. На затылке берет, на ухе болтается повязка.
— Почему вы отказались от слесарей?
— Так ведь экономия какая: освободили пять слесарей. Что мы, сами не сможем, что ли? А у них работы хватит.
У Сабира глаза вскинуты углами к вискам. Ресницы густые, длинные.
Но Гена тянет меня дальше. Сегодня он мне показывает завод. Завтра будет знакомить с людьми. Мы с ним все никак не можем выбрать, о ком мне писать очерк.
— Пиши о Гасанове. Он почти мастер по волейболу.
— Гм-м. Это же не главное.
— О, ты б посмотрела, как он работает! Или вот про Ибрагимова. Работает — во! Учится — во!
— Где он учится?
— Мы с ним на одном курсе. В Индустриальном нефтяном. Нет, пиши про Тамару... молодая девчонка, а уже депутат. Понимаешь, не зря ведь выдвинули.
Тут он вспоминает, что и сам депутат, и краснеет.

Жидкое золото

— Когда зима в Баку?
Азербайджанцы отвечают:
— Когда пекло.
— А что бывает без ветра?
— Пекло, — отвечаю я.
Пекло — украинское слово, означающее ад. Однако здесь не ад. Когда ветра нет, спасает вода. Только ее не надо пить. Ею нужно дышать, умываться, капать на голову, лить за пазуху и мочить носовые платки. Тогда ничего. И все-таки это пекло...
На алюминиевый завод я попала в безветренный день, поэтому эмоции мои были тупы, как ножи в столовых. И огромные серые корпуса вызвали скорее ужас, чем восторг. «Может, подождать, пока жара спадет?» — прокралась в голову соблазнительная мысль. А сейчас бы в номере, ноги в таз с водой, на голову мокрое полотенце...
Но если на улице было пекло, то в корпусах — ад. Солнечные лучи падали сверху в цехи и были похожи на столбы. Печи с боков засыпаны какой-то белой мукой. Мука шевелилась, взрывалась крошечными вулканчиками. Кое-где пробивалось голубоватое пламя, в этих местах слышалось урчание, причмокивание, тяжелые вздохи: рождается алюминий.
— Это не мука, — ответили мне, усмехнувшись. — Это глинозем. Из него получаем алюминий. Глядите: вот катод, вот анод. Между ними насыпаем глинозем. Пропускают ток, и вот там, внизу, откладывается алюминий. Вот сейчас мы его будем отсасывать.
От этих слов мне стало немножко прохладно. Но все оказалось

проще. Огромный ковш с хоботом подъехал к печи. Сбоку у него горел красный пламенный глаз. Василий Болдарев, который только что говорил со мной, закрыл этот глаз синим стеклом и смотрит внутрь ковша. Хобот, деловито пофыркивая, опустился во внутрь печи и запыхтел.

— Вы заметили, что здесь жарче, чем на улице?

Заметила ли я?!

— Это потому, что у нас в ковше сидит жидкое солнце.

Все вокруг настолько фантастично, что я склонна поверить этому.

— Вот глядите, сейчас оно польется...

Ковш с хоботом медленно наклонился над другим. И вдруг брызнул свет и полилось жидкое солнце. Иллюзия была полной. Когда солнце поднимается над морем выпуклой дрожащей каплей, живое, темное книзу, оно имеет точно такой же цвет.

Жидкое солнце неслышно лилось из ковша в ковш, а люди стояли вокруг, как молодые фавны. Волосатые груди, глаза, обведенные черной тенью, блестящие, со струйками солнца в зрачках. Когда они смеются, зубы освещают белым темные мокрые лица.

— Жарко? — спрашиваю я.

— А как же? Нужно, чтоб было жарко!

Он меня не так понял. Он сказал «жарко», как говорят о бое. Они бились за небесный металл. Легкий, он будет голубым, когда остынет, потому что в нем отразится небо.

Мне стало стыдно. Я уже не хочу уходить с завода. Я хочу видеть, как люди получают алюминий.

Вот его разливают в формы. Он уже полуостывший и льется нежно-розовым серебром, как морская вода на заходе солнца. Люди сушат одежду у вентиляторов...

Потом опять в Светкиных записях Каспий и стихи о нем, «бесконечном, голубом и зеленом...».

Можно было бы и не упоминать об этом незаконченном стихотворении, но оно открывает тайну об одной сумгаитской привязанности Светы. Эта привязанность — очеловеченный ею Каспий. Неотразимо-привлекательный и злой, изменчивый и одновременно верный...

Вспомните, как изливала Света свое горе памятникам всегда живых для нее писателей. Так и Каспию она доверяла все, что волновало ее в Сумгаите, и, привыкнув к нему, как к живому, бродила по его берегам, пренебрегая опасностью даже в шторм.

И вот настал последний день командировки. Света готовилась к отъезду: собирала вещички, подсчитывала оставшиеся деньги («Ура! Хватит на все, еще и в кино могу сходить!»), написала письмо во Львов, поместив на конверте: «Обратный адрес — ту-ту-у-у». Потом нашлось для нее еще одно дело: верная своему девизу — «не быть равнодушной — никогда, нигде!» — повела она больного человека в поликлинику. И он, огромный по сравнению с ней, покорно шел рядом.

Что она делала потом, не знаю: записки ее об этом не рассказывают. Наверное, прощаясь с городом, спалившим ее жарким солнцем, яркими встречами и неожиданностью новизны. С городом, в котором — тоже верная себе — тосковала она по да-

леким маме и папе, по друзьям, по милому, навсегда самому любимому Львову.

Но записки говорят о том, что прощание с Каспием Света собиралась отложить на раннее утро дня отъезда. А потом, видно, передумала и пошла к нему, когда южная ночь готова была уронить черный свой бархат и на город, и на море.

Каспий в тот вечер буйствовал еще злее чем утром, бешено разбивая блестящие волны о камни и песок. И теперь, когда представляешь себе фигурку Светы, бесстрашно идущую навстречу волнам, хочется крикнуть ей через десятилетие:

— Берегись, девочка! Смоет тебя твой Каспий, как песчинку!

Но что ж теперь кричать...

...Море не щадит неосторожных: наутро бездыханную Свету нашли на берегу выдуманного ею и живого Каспия!

Так, трагической случайностью кончается жизнь Светы Бельченко. Тем можно было бы закончить и ее книгу. Но огненно-голубые глаза Светы так не вяжутся со смертью, что хочется закончить ее книгу словами из одного ее рассказа: «В последний день командировки она пришла на море до восхода. Сбросила платье на песок и вошла в воду. Каспий казался бесконечным стальным аэродромом. Но даль расступилась перед ней. И она поплыла туда, где вставало солнце...»

Иван САВЕЛЬЕВ

* * *

Сделаю, о чем бы ни просила,
В испытанье выстою любом, —
Имя твое красное —
Россия
В сердце не вмещается моем.

Поджигает солнце купол ранний,
День идет, судьбой твоею нов,
В сопряженье дальних расстояний,
Времени несхожих поясов.

Потому я выжил в лихолетье,
Что навеки, как бы ни жилось,
Горе всех униженных на свете
С молоком твоим передалось.

Ни к чему мне в крике напрягаться,
Если сердце отдано борьбе.
Для меня святое слово —
Братство
Как любовь к единственной, к тебе.

Все со мной — беда твоя и слава,
Потому что с изначальных лет
Нет у матери превыше права
И у сына выше долга нет.

* * *

Хочу представить:
В круговерти,
Где ни спасенья, ни наград,
Что думается перед смертью,
Когда о ней не говорят?

Когда поймешь в разгаре боя,
Где роты первых полегли,
Что вся земля — перед тобою,
А за тобою нет земли;

Когда средь дыма,
Стона, грома
Поймешь, не видя ничего:
Нет за спиной
Земли огромной,
Но вся — у сердца твоего.

СТИХИ О ФАКТАХ

Факт.
Но верится с трудом,
Что за нашим огородом,
Рядышком — аэродром,
Не простой — международный.

Факт.
Но трудно согласиться
И осмысленно понять,
Что не только до столицы —
До Луны
Рукой подать.

Фактов пестрое богатство!
Вот и мы —
Спокойно так —
Перестали удивляться

Этим фактам.
Это факт.

Как земное притяженье
Побеждают корабли,
Побеждаем удивленье
Всеми тайнами Земли.

Но в часы, когда беспечно
Ничего уже не ждем,
Вдруг увидим поле, речку —
«Ах!..» — и руки разведем...

* * *

Опять о несбывшемся чуде
К душе подступают слова.
А в поле потянешься к людям —
И станет светлей голова.

В душе утвердится порядок.
И с детства знакомой тропой
Проходишь у старой ограды —
У холмика с красной звездой.

И молча «...погиб в 45-м...»
На выцветшей жести прочтешь.
И станешь пред ним виновато,
А вот почему — не поймешь...

* * *

Мечта моя!
За временем спеши,
Чтоб, постигая смену настроений,
Я постигал и музыку души,
И музыку деревьев и растений.

Как будто, достигая синевы
И оттого смелея и нежнея,
Колышется мелодия травы
И проводов мелодия над нею.

И, к песне их причастны навсегда,
Как будто разучив ее по нотам,
Им с рельсов подпевают поезда
И в небе подпевают самолеты.

Все выше амплитуда скоростей.
Все громче мир,
Что, как всегда, прекрасен.
И стало сердце биться чуть быстрей,
Не нарушая этого согласья.

Алексей МЕНЬКОВ

* * *

В Брянском лесу
Нет дорог безымянных,
В Брянском лесу
Нет забытых криниц.
Не за грибами
Идут ветераны
В чащу,
Тревожа взлетающих птиц.
В этой глуши
Им опять отзовутся
Эхом
Погибших друзей
Голоса.
Их имена
У дорог остаются,
Их
Отражались в криницах
Глаза.
И потому
Никакие туманы
Память не смогут
Вовек заслонить.
В Брянском лесу
Нет дорог безымянных,
В Брянском лесу
Нет забытых криниц.

* * *

Холодна еще земля, холодна,
Не приляжет хлебороб, не задремлет,
Днем и ночью слышно поле из деревни,
Но зато деревня с поля — не слышна.
Гул моторов выселяет тишину,
И она привычно прячется в чащобы.
На завалинке седые хлеборобы
Вспоминают: тяжко было в старину.
Зерна падали послушно из горсти,
Время к полудню, и шаг все тяжелее.
И лукошко, как судьбу свою, на шее
Нелегко было по пахоте нести...
И хоть круто их сгибало, но они
Прошагали сквозь года и сквозь невзгоды.
И руками их взлелеянные всходы
Прорасти смогли в сегодняшние дни.

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

ТОВАРИЩ

Сегодня мы открываем новую рубрику — «ИМЕНИ ЛЕНИНА».

Немногим больше года осталось до славного юбилея — пятидесятилетия присвоения комсомолу имени Ленина. «Товарищ» начинает публиковать рассказы о комсомольцах, которые в далекие двадцатые го-

«...МЫ НАПИСАЛИ НА СВОЕМ ЗНАМЕНИ ИМЯ ЛЕНИНА»...

12 июля 1924 года в Москве, в Большом театре, открылся VI съезд комсомола. 996 посланцев из всех республик, краев и губерний страны представляли более чем семисоттысячную армию комсомолии.

«О переименовании РКСМ»— так формулировался первый пункт в порядке дня. И когда председательствующий сказал, что лучшим памятником, который мы можем воздвигнуть Ильичу, будет сплочение под знаменем комсомола многомиллионной массы трудящейся молодежи, воспитание из них твердых и непоколебимых ленинцев-большевиков и что Центральный Комитет решил переименовать РКСМ в Российский Ленинский Коммунистический Союз Молодежи, — делегаты съезда встретили эти слова громом оваций.

«Не просто, а Ленинский комсомол, — писала на другой день газета «Правда», рассказывая о первом дне комсомольского съезда. — В наименовании союзных организаций введено новое имя. В сочетание четырех букв, что знает каждый подросток во всей беспредельности шестой части света, введена пятая буква,

ды, в пору первых пятилеток, в суровые дни Великой Отечественной, в послевоенное трудное время, в пятидесятые-шестидесятые годы и в наши дни — дни претворения в жизнь величественных предначертаний XXIV съезда партии, — проникались и проникаются твердой решимостью ПО-ЛЕНИНСКИ ЖИТЬ, РАБОТАТЬ И БОРОТЬСЯ.

Мы приглашаем к нашему большому разговору и убеленных сединой ветеранов, не стареющих душой и сердцем, и комсомольцев семидесятых, уверенно несущих эстафету старшего поколения...

такая живая, горящая, трепетная пятая буква.

РЛКСМ.

Пять ярусов до отказа набитого Большого театра приняли пятую букву бурной радостью, счастливым гордым восторгом».

В тот же торжественный день съезд обратился с манифестом ко всем комсомольцам, ко всей рабочей и крестьянской молодежи.

«Не для красного словца, не из желания носить лучшее из всех имен, не только для того, чтобы почтить уважением память великого усопшего, приняли мы это решение, — говорилось в манифесте. — Нет, мы приняли его для того, чтобы вся трудящаяся молодежь всех народов, населяющих СССР, вместе со своим передовым отрядом — Коммунистическим Союзом Молодежи — прониклась единой волей и твердой решимостью научиться по-ленински жить, работать и бороться, осуществляя заветы, оставленные нам Лениным».

В манифесте подчеркивалось, что святой долг комсомольцев — выполнить заветы великого Ленина, с особой настойчивостью и упорством работать над решением задач, которые стоят перед молодым поколением трудящихся Советского Союза.

Первая задача молодого поколения состоит в том, чтобы объединить свои усилия на борьбу с экономической отсталостью, темнотой и некультурностью, с пережитками старого, двигаться вперед, к мощному развитию народного хозяйства, строить новое, коммунистическое общество.

Вторая задача состоит в том, чтобы учиться, накапливать знания, ибо коммунистическое общество можно создавать лишь на основе современного образования.

Но, овладевая знаниями, создавая новое общество, молодые рабочие и крестьяне, которые хотят выполнить заветы Ленина, должны всегда быть готовы поддержать Советскую власть против нашествия капиталистов, всегда быть готовыми отстоять рабочее государство, созданное Лениным, постоянно крепить обороноспособность страны, растить мощь Красной Армии и Красного Флота. В этом — третья

задача молодого поколения.

«Мы написали на своем знамени имя Ленина, учителя и вождя, который во всем будет нам примером...»

И потому, говорилось в манифесте, на комсомольцев ложатся большие обязанности.

Обязанность комсомольцев — не замыкаться в тесном кругу, не обособляться от молодых рабочих и крестьян, приобщать их к строительству нового общества, привлекать в ряды союза всех молодых тружеников — рабочих и работниц, крестьянскую молодежь, которая живет едиными с рабочим классом интересами.

Обязанность комсомольцев — стать твердокаменными большевиками, последовательными и непоколебимыми ленинцами, свято хранить революционную преемственность старой и молодой гвардии партии, крепить неразрывную связь всех партийных поколений под руководством испытанного большевистского штаба, в борьбе с антиленинскими уклонами, твердо идти по стопам старой гвардии.

Обязанность комсомольцев — вырастить из своих рядов поколение дей-

---

Н. К. КРУПСКАЯ

ПОДГОТОВКА

...30 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД в своей брошюре «Что такое «друзья народа» Владимир Ильич сочувственно приводил цитату из стихотворения Лессинга: «Кто не хвалит Клопштока? Но станет ли его каждый читать? Нет. Мы хотим, чтобы нас меньше почитали, но зато прилежнее читали!» Вот эта цитата, в которой говорится, что мы бы хотели, чтоб нас не столько прославляли, сколько читали, я думаю, может быть отнесена и к Владимиру Ильичу. Часто в разговоре он с сожалением употреблял презрительное слово «икона», когда речь заходила о каком-нибудь старом революционере, который не имел уже никакого влияния, слова которого не влияли никак на действия массы, но которого окружали почетом и всячески превозносили. Владимир Ильич говорил: «Что же, это уже икона», — и в его сочинении есть цитаты, в которых он говорит, что икона — это нечто такое, чему надо помолиться, поклониться, перед чем надо перекреститься, но что никак не влияет на действия людей.

Ленина не надо превращать в икону. Надо, чтобы его идеи служили руководством к действию. Эта мысль, мне кажется, должна быть руководящей идеей у тех комсомольцев, которые хотят стать ленинцами.

Вы, товарищи, хотите стать ленинцами, для этого вам надо научиться служить делу освобождения трудящихся, служить делу коммунизма.

В довоенные времена, в период мирного развития, в тех стра-

ствительных интернационалистов, каким был Ленин, не жалеть сил для единой с угнетенными братьями Запада и Востока борьбы под знаменем Ленина.

Принимая имя Ленинского комсомола, делегаты VI съезда и, значит, комсомольцы всей Советской страны дали клятву выполнить любые стоящие перед ними задачи, не уронить знамени Ленина. Комсомол торжественно заявил — по тысячам фабрик и заводов, по рудникам и шахтам, по всей советской земле, по деревням и селам пронесет он знамя и идеи ленинизма. Он поднимет и воспитает под руководством испытанной Коммунистической партии новые сотни тысяч ленинских бойцов.

На съезде, принявшем решение переименовать РКСМ в Российский Ленинский Коммунистический Союз Молодежи, с яркой речью выступила друг и соратник Ильича Надежда Константиновна Крупская. Может быть, никто, как она, не обладал редчайшим даром — в каждую минуту сказать именно то единственное, что наиболее важно для данной минуты, о чем именно сейчас не следует забывать...

РЕЧЬ НА VI СЪЕЗДЕ РЛКСМ 12 ИЮЛЯ 1924 ГОДА

ЛЕНИНЦА

нах, где социализм был допускаем, там часто социалисты считали, что им достаточно иметь партийный билет, выписывать социалистическую газету, посещать собрания, чтобы быть членом партии. Мы, конечно, так не можем смотреть на это. Мы живем в такую эпоху, когда мы уже ясно понимаем, что личная жизнь не может отделяться от общественной жизни. Это в прежние времена, может быть, было неясно, что такой разрыв между личной и общественной жизнью ведет к тому, что рано или поздно человек изменяет делу коммунизма. Мы должны стремиться к тому, чтобы нашу личную жизнь связать с делом борьбы, с делом строительства коммунизма.

Это, конечно, не значит, что мы должны отказаться от личной жизни. Партия коммунизма — не секта, и поэтому нельзя проповедовать такой аскетизм. Мне пришлось на одной фабрике слышать, как работница говорила, обращаясь к работницам: «Товарищи работницы, вы должны помнить, что раз вы вступаете в партию, вы должны отказаться от мужа и от детей». Конечно, так нельзя подходить к делу. Дело не в том, что надо отказываться от мужа и детей, а в том, чтобы из детей воспитать борцов за коммунизм, сделать так, чтобы и мужа сделать таким же борцом. Надо уметь сливать свою жизнь с общественной жизнью. Это не аскетизм. Напротив того, благодаря такому слиянию, благодаря тому, что общее дело всех трудящихся становится личным делом, — благодаря этому, личная жизнь

обогащается. Она не становится беднее, она дает такие яркие и глубокие переживания, которых никогда не давала мещанская семейная жизнь. Вот уметь слить свою жизнь с работой на пользу коммунизма, с работой, с борьбой трудящихся за строительство коммунизма — это одна из задач, которая перед нами стоит. Вы — молодежь, вы только что начинаете строить свою жизнь, и вы можете построить ее так, чтобы не было разрыва между личной жизнью и жизнью общественной.

Товарищи, Владимир Ильич писал, что не может быть революционного движения без революционной теории. Над выработкой этой революционной теории он много работал. Ясно поставленная цель, углубленное понимание цели, определение путей к этой цели — это то, что необходимо каждому революционеру, потому что, если он не будет ясно видеть, куда надо идти и какими путями идти, как бы горячо он ни относился к своей работе, он постоянно будет впадать в ошибки.

Ясно понимать цель, ясно видеть путь необходимо для того, чтобы уметь в своей деятельности различать основное от второстепенного. Вот у Владимира Ильича было это умение — различать основное от второстепенного. Во время борьбы во второстепенном иногда можно уступить для того, чтобы завоевать основное. Оппортунисты отличаются от революционеров тем, что они уступают важное, основное, забывают о цели, отказываются от нее. И вот мы видим, как на протяжении своей деятельности Владимир Ильич боролся с этим оппортунизмом, с этим неумением отстоять основное, принципиальное. И есть другая ошибка: если человек не отличает основного от второстепенного, он часто дает себя оглушить революционной фразой. Борьба с революционной фразой также проходила красной нитью через всю деятельность Владимира Ильича. Революционная теория не догма, говорил Владимир Ильич. Это руководство для действия, руководство для работы. И вот с этой точки зрения и надо подходить всегда к теории. В настоящую минуту изучение революционной теории нам всем чрезвычайно нужно. СССР в смысле экономического развития — страна отсталая, и поэтому в ней много прослоек пролетариата. Есть передовые слои пролетариата, работающие в крупной промышленности, есть более отсталые, есть ремесленники, степень классовой сознательности у разных групп очень различна. И потому устами не каждого пролетария истина глаголет. Надо уметь отличать передовую идеологию пролетариата, и поэтому для молодежи чрезвычайно важно внимательное изучение революционной теории.

Не надо слепо принимать все на веру: у каждого должна быть своя голова на плечах. Поэтому надо все основательно продумать, самому все основательно проверить. Это одна из задач молодежи, одна из задач комсомольцев, которые хотят стать ленинцами. Владимир Ильич говорил, что теория дает руководство к действию. И действительно, только благодаря тому, что он руководился революционной теорией, он умел нащупывать ту ближайшую цель, к которой надо в данную минуту стремиться.

Ясное понимание цели и путей ее достижения дает революционеру должный накал. Оно укрепляет его решимость в момент наступления. Оно не дает ему впадать в панику в момент отступления. «Мы должны *всегда* вести нашу будничную работу

и всегда быть готовы ко всему, — писал В. И. Ленин, — потому что предвидеть заранее смену периодов взрыва периодами затишья очень часто бывает почти невозможно, а в тех случаях, когда возможно, нельзя было бы воспользоваться этим предвидением для перестройки организации, ибо смена эта в самодержавной стране происходит поразительно быстро, будучи иногда связана с одним ночным набегом царских янычар. И самое революцию надо представлять себе отнюдь не в форме единичного акта (как мерещится, по-видимому, Надеждиным), а в форме нескольких быстрых смен более или менее сильного взрыва и более или менее сильного затишья. Поэтому основным содержанием деятельности нашей партийной организации, фокусом этой деятельности должна быть такая работа, которая и возможна и нужна, как в период самого сильного взрыва, так и в период полнейшего затишья, именно: работа политической агитации, объединенной по всей России, освещающей все стороны жизни и направленной в самые широкие массы. А эта работа *немыслима* в современной России без общерусской, очень часто выходящей газеты. Организация, складывающаяся сама собою вокруг этой газеты, организация ее *сотрудников* (в широком смысле слова, т. е. всех трудящихся над ней) будет именно готова *на все,* начиная от спасенья чести, престижа и преемственности партии в момент наибольшего революционного «угнетения» и кончая подготовкой, назначением и проведением *всенародного вооруженного восстания»*.

Надо уметь идти на компромиссы, если они неизбежны. «Задача истинно революционной партии, — писал Владимир Ильич в сентябре 1917 года в газете «Рабочий Путь»,— не в том, чтобы провозгласить невозможным отказ от всяких компромиссов, а в том, чтобы *через все компромиссы,* поскольку они неизбежны, уметь провести верность своим принципам, своему классу, своей революционной задаче, своему делу подготовки революции и воспитания масс народа к победе в революции».

Конечно, идти на компромиссы не всегда приятно. Владимир Ильич любил цитировать Чернышевского, который говорил: «Политическая борьба не тротуар Невского проспекта». Приходится и по грязи ходить иной раз.

Не любил Владимир Ильич фразерства, хвастовства, требовал от революционера, от члена партии самой напряженной работы.

Эта работа часто неприятная, будничная, но от нее не может отказываться революционер, для дела нужна не только эффектная, но и повседневная, будничная работа.

«От неверия в черную работу, медленную, трудную, тяжелую, люди впадают в панику и ищут «легкого» выхода...» — писал Владимир Ильич Мясникову.

Работать не покладая рук для достижения поставленной цели, не падать духом — таков завет Ильича.

Нужно связать свою жизнь с работой для дела коммунизма, руководиться революционной теорией, трезво смотреть жизни в глаза, не бояться упорной работы, тогда вы сумеете стать ленинцами.

Товарищи комсомольцы, вся жизнь у вас впереди, вы живете в момент громадного социального сдвига, берите же знамя Ленина и, идя нога в ногу с массами, впереди масс, идите к великой цели.

Рассказы из цикла „На Волге-реке“

В. БОЧАРНИКОВ

КРАСОТЫ ВВОЛЮ

На Волге поверх льда и снега выступили синие озерки. Местами лед проело.

У Волги сейчас суматошные «приемные» дни. Каждый крученый, разбежистый ручей, каждую новоявленную речонку, которой и жить-то, покуда солнце не растопит снег, принимает, без разбора принимает — сгодится.

Против пустого причала, где играют ребятишки, рыболов провертел лунки и в каждую опустил леску с грузильцем. Леску держит подставка, похожая на крошечный семафорчик; двенадцать лунок, двенадцать семафорчиков. Не зевай поглядывай — просигналят.

Я иду к рыболову. Спрашиваю:

— Есть ли удача?

Рыболов, не вставая с ящика, с лицом уже в загаре, молча отвернул кусок брезента; во льду — лунка, но не сквозная. Лунка наполнена зеленоватой ото льда талой водой. В садке — серебряная сорожонка с красными, как из пластмассы, плавниками, шевелит хвостом порядочный окунище, а в глуби сидит-затихла пара подлещиков.

— Вот с утра.

— С утра? Невелик улов.

— Улов что-о!.. Зато красоты вволю! — И рыболов повел рукой по Волге, такой напряженной и чуткой, по залитым солнцем берегам, где в предчувствии великих событий стояли березы, клены, тополя.

ВОЛГИН ПОМОЩНИК

Ручей родился из капли. А когда в одну точку серо-зеленого льда, может, в десятитысячный раз ударила капля — ручей тронулся.

Сверлил снег остро, весело, напористо.

Тут попалась ему сухая, жестко-неуступчивая ветка. Остановила.

Притих ручей, вроде бы сник. Задремала на солнышке ветка, а ручей с силенками собрался, метнулся влево, метнулся вправо и завязал узелок на былинке... Задрожала она, закланялась ручью.

Ямка попадалась, держала ручеек, плотиной вставал перед ним каждый малый бугорок. И приходилось работать, работать, работать, солнце просить: подсоби!

Добрался, допетлял до изволока и под гору полоснул резво своей туго скрученной синей бечевкой, просек и снег и лед до самой мерзлой земли.

И голос обрел.

«Э-эгей, приятель, куда спешишь-бежишь?» — спросил его снег.

«В Покшу-речку», — пробормотал весело.

«А зачем?»

«Чтоб с нею дальше бежать».

«Дальше? А куда — дальше?» — не отступал снег.

«Волге на подмогу».

«Ты?.. Волге?.. На подмогу?.. Хе-хе!..»

«А что?»

«Глупец, оглянись кругом! Видишь? Мои владения. Заблудишься в них. Сгинешь. Уж лучше не трать понапрасну сил».

«А ты не пугай. Я тебя не боюсь. Я сильнее тебя. Я — разведчик, первый, значит, а за мной другие идут, и столько-о, что со счета собьешься», — так отвечал ручей, не останавливая работы.

К вечеру мороз наведался на поле; ручей присмирел, умолк.

«Ну что я тебе втолковывал?» — прошипел снег, довольный собой, что предугадал судьбу непокорного.

Ручей онемел. Не потому, что он испугался, и не потому, что был очень гордым, а потому, что много работал, устал и уснул.

Снег не знал, что снилось ручью. А ему снилась весна и Волга — синяя, широкая. Расколыхала волны, лед крошит... Чайки вскрикивают над водой...

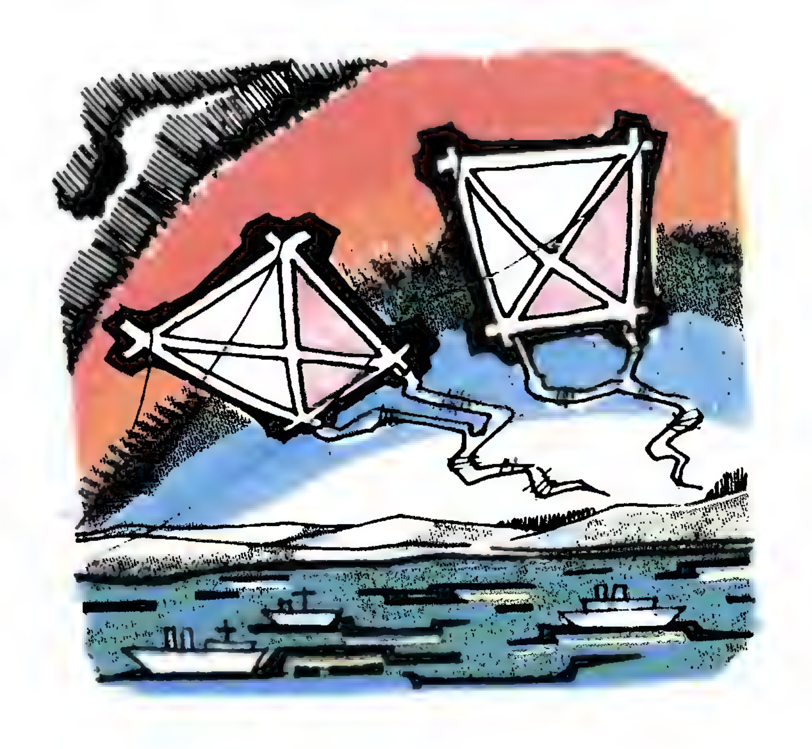
А наутро, к великому удивлению снега, ручей неутомимым путником снова был в дороге. Клокотал, играл с новой силой.

РАДУГА-ДУГА

Уже день клонился к вечеру, и тучищи поползли. Каждая грозилась дождем. Земля ждала.

Вот тут и повисла радуга одним концом дуги над правым берегом Волги. А второй конец дуги за тучами где-то оперся в Пышугских лесах; а медведь, видать, принял его за неведомое дерево и, известное дело, стал гнуть-перегибать в дугу на свой лад и испортил все...

Так вот и осталась радуга с одним концом, но всю яркость



успела влить в него: была она сиреневой, сиреневое сгустилось и пошло рядом с полосой голубого, а голубое слилось с темно-зеленым. Красота была полной, а только радуга в свой гнутый ствол приняла еще к тому, что было, и оранжевый, и розовый, и кремовый, и фиолетовый цвета. Тут теперь были сразу краски лета, осени, зимы, весны, и все они переливались в дуге, играя и волшебно посвечивая...

Пышуганский медведюшко, не осилив свой конец радуги, выпустил его, и левая половина радуги прорезалась над Заволжьем.

Дождя не было. Под величественной аркой шли буксиры и теплоходы. Мальчишки на берегу Волги пускали бумажных змеев, и змеи рвались в небо; и казалось, вот-вот своими легкими рамками и мочальными хвостами коснутся радуги.

У ЧАЕК — ХОРОВОД

У чаек — весенний хоровод. Толкутся и толкутся над заливчиком меж отмелью и берегом. Та сторона заливчика, что к сырой песчаной косе, к быстрине Волги, — в свечении солнца, в мятежных бликах; легкие волнишки вкатываются в границы заливчика полукружьями. Моя сторона заводи чиста, зеркальна и холодна от тени.

Чайки кружатся тут и кружатся... Вот одной выпала во̀да, а она упрямится, не соглашается, криком кричит:

«Зач-чем?.. Зач-чем?.. Зач-ччеееммм?!»

И тогда все осерчали на ослушницу и тоже закричали:

«Ты чего?.. Ты чего?.. Ты чего?..»

«Чем!.. Чем!.. Чем!..» — передразнила подружек во́да — и вон из круга. Рванулась в голубое небо.

Теперь у всей стаи смешались от возмущения голоса, и не разобрать было, кто и о чем кричит; резче других, пожалуй, выделялся голос крупной крыластой чайки с шоколадным носиком. Она все твердила про какие-то «чары»:

«Чары... Чары... Чары...»

Может, у нее эта молодка отбила дружка...

Вдогонку за беглянкой кинулись два молодца — свистят серебряные крылья... Гляди-ка, настигают! Вот-вот ощиплют хвост. Но та, дерзкая, вдруг без единого маха крыльев, только упруго дернув тельцем, рванулась вниз. Да так поспешно и круто, что преследователи растерялись и проскочили мимо, не сумев вовремя тормознуть.

Озорница пала к самой воде, угадав как раз в центр хоровода.

«Ничего... Ничего... Ничего...» — успокаивала она подружек и, как ни в чем не бывало, стала водить по кругу, кидаясь то к одной, то к другой из них.

ЖАВОРОНОК

Над пологим берегом Волги, куда спускалась пашня, повис — никак не угляжу где — жаворонок и запел. И пел-то каких-нибудь полминутки, но как! Всего себя переплавил в песню за эти полминутки. И — пропал.

ЧЕМ ПАХНЕТ ПАКЛЯ

Какой простор на волжских берегах — глядишь, и глядеть хочется! А тут весеннее солнышко и с Верховья ветер-свежак.

Я стою под березой. А справа от меня на земле, на только что вылезшей траве, равномерно и со вкусом постукивает дятел. Не сам дятел, а старик, похожий на дятла. Он берет пук просмоленной пакли, один конец зажимает в зубах, а другой конец сучит ладонями, и свитой паклей пробивает пазы лодки.

Тук-тук!.. Тук-тук!.. Этот древний и красивый звук летит прямо в волны реки и там глохнет, не пугая рыб.

Рядом со стариком мальчишки смело развели теплинку — то всхватываются малиновые языки пламени, то их пересиливает дым.

Лодка терпеливо ждет — еще денек-другой, и начнется ее долгий праздник.

К старику подошла бабка. Поглядела-пощурилась на Волгу, отделила от пакли пучок, нюхнула.

— Чем пахнет? — весело подмигнув, спросил дед.

Старая волжанка не подкачала:

— Нашими молодыми годами.

КОЛОДЕЦ В НЕБО

Как-то так случилось, что я не угадал расписание — теплоход отвалил минут двадцать тому назад.

На дебаркадере было пусто: кому требовалось уехать уехали, кому приехать — приехали, а приехавшие на Горелую Гряду, в основном дачники, успели разойтись.

Под крашеный карниз дебаркадера то и дело ныряли ласточки. Там, облюбовав пластмассовую чашечку пересечения проводов под свой фундамент, ласточки артельно лепили гнездо. Верхний поясок гнезда был темнее — сырой. Сразу видно: сегодняшней кладки.

Я поднялся по травянистому пойменному наклону к опушке соснового бора и, усталый, обожженный молодым июньским солнцем, лег. Лег ногами к Волге между спаренными соснами — две слева и две справа. Солнце честно отработало смену и заметно накренилось к завтрашнему дню. Оно оказалось правее меня.

Тут было тепло и тихо, даже легкий ветерок не задевал меня. Ему и без меня было чем позабавиться, шевелил ветви сосен, подергивал на стволах желто-красную шелушащую пленку, поскрипывал отмершими ветками, выдувал солнечную пыльцу, раскачивал светло-желтые, как полоски спелой ржи, молодые побеги.

Правой щеки касалась травинка, а когда я косил глазом в ее сторону, то глазом же упирался в другую травинку, которая все, что я видел, делила надвое своим зеленым жалом.

Колодец в небо я увидел не сразу. Вот только подумал о колодце, и тут же перед глазами встал другой колодец, из которого я пил. Со срубом, с воротком, с бадьей, прикованной к цепи. Где-то в темной сини глубины настаивалась на холоде вода. Всем водам — вода! Плескучая, в зубах и сейчас ровно бы мороз застрял... Пил и чувствовал, как катится первый глоток, расправляясь с жаждой и усталостью. По срубу, уже с зеленцой в углах, вглубь уходили натянутые шнуры. Они держали бидоны с молоком.

Стволы у сосен даже не в обхват — больше. Стройны и прямы. Ветки начинаются высоко-высоко. Снизу кора черная, крепкая, в трещинах. Постепенно цвет светлеет, светлеет и переходит в теплый — бронзовый.

Солнце цедилось, цедилось сквозь темно-зеленые ветви правых сосен и застряло в них; на стволы соседок теперь падали только светлые полосы и тени. И полосы солнца, и тени дрожали, ходили вверх и вниз.

В вышине сосны перепутались ветвями, не поймешь, где чьи... В это мгновенье вдруг кто-то сильно уколол меня в ногу. Я рывком сел, поддернул штанину выше колена:

— А-а, так это ты, разбойник!

Разбойник между тем, выполнив задание, мчался во весь дух к своим.

Как же я не заметил, что лег на муравьиную трассу и прервал движение по прямой? Все понятно: шевеля усиками, муравьи кинулись искать обходные пути. Нашли, сгоняли раз, подсчитали, что крюки получились изрядными, требовали новых и новых сил и времени, — и тогда на совете решили: применить к виновнику крайнюю меру. Пока это сделал один.

Я не стал дожидаться всеобщего муравьиного штурма, уперся ладонями в траву и на метр сполз вниз. И тут, как только я пригляделся к вершинам сосен, увидел колодец в небе. Как он прорылся в такой густоте веток — уму непостижимо! Колодец то суживался до горла кувшина, то расширялся до размеров футбольного мяча. Ветерок дул, ветки шевелились и то сжимали, то разжимали колодец. Это был единственный колодец, глубину которого никто никогда не измерял и не измерит. Бездонный колодец.

Он был необычен еще и вот чем: он одинаково доброжелательно принимал зеленый и бронзовый свет сосен, пока шел в их границах, поверху был залит неглубоким солнечным светом, а уже дальше налился голубизной неба, — и она владычествовала. Время от времени мой колодец пропускал то ласточку, то скворца или грача; один раз его благополучно пересек шмель.

Я лежал не шевелясь, гляделся в колодец и совсем забыл, что мне нужно ехать. Все заботы и тревоги утонули, разошлись в глубоком колодце. Он напоил меня светом, тишиной леса и новыми надеждами.

ПЕРЕКЛИЧКА ВЕКОВ

Русскому сердцу Волга мила в любую пору года. А что говорить о лете?! Летом на главной голубой улице России широко, бойко. Теплоходы, самоходки, буксиры с плотами, пластаются над волною ласточками крылатые суда, рои моторок.

Придешь на Волгу, глянешь — и все из головы. Ты покорен и пленен, а в груди радостно-радостно...

К нашей главной пристани иногда сходятся сразу по пять-шесть теплоходов: одним дорога вверх по течению, другим — вниз. Притрутся бортами и будто о чем-то совещаются.

Люблю читать названия теплоходов. Сегодня у пристани «Родина», «Минин», «Радищев», «Чернышевский», «Свердлов», «Гастелло», «Октябрьская революция».

Вот где изучать историю! Родина — это и Минин, и Радищев, и Чернышевский, и Свердлов, и Гастелло. И каждый из них, как мог, что-то сделал, чтобы жила Родина и воссияла Октябрьская революция.

Хочется сказать каждому: «Вы слышите? У причала боевая перекличка веков».

Рисунки И. Клешко

КРИСТАЛЛЫ

Слово «кристалл» в переводе с греческого означает «лед». Россыпи алмазов, рубинов, гранатов, сапфиров в ярких лучах света сверкают и переливаются всеми цветами радуги, они действительно похожи на мелкие льдинки. Именно это сходство и позволило назвать кристаллами некоторые минералы, встречающиеся в природе.

В середине века алхимики пытались получить драгоценные камни-кристаллы искусственным путем. Нелегкую задачу пытались они решить, не имея ни малейшего понятия о процессах, происходящих в недрах Земли, где рождаются кристаллы, не зная даже азов молекулярной теории, не представляя себе, что такое кристаллическая решетка — скелет любого минерала... То, что не удалось сделать алхимикам в средние века, оказалось под силу человеку XX века.

Быстрое развитие техники требовало все больше и больше кристаллов: для обработки сверхтвердых материалов применяется алмазный инструмент, для производства полупроводников потребовался сверхчистый германий, для лазерных установок — рубины и так называемые «нелинейные кристаллы», а микроэлектронике нужны тонкие, тоньше человеческого волоса, высокочистые кристаллы.

Опыт показал, что природные кристаллы могут быть с успехом заменены искусственными. Более того, рукотворные алмазы, сапфиры или рубины, то есть те, которые человек выращивает, намного чище по химическому составу — в них меньше посторонних примесей, нет необходимости обтачивать, разрезать или гранить их. Получены искусственные кристаллы, подобных которым даже нет в природе.

...В лабораториях кафедры кристаллографии и кристаллохимии Московского государственного университета непосвященного человека поражает неповторимая гамма цветов. Прозрачные кристаллизаторы — приборы, в которых рождаются кристаллы, — наполне-

Растворы залиты в кристаллизаторы. По мере выращивания кристалла и обеднения раствора необходимо вносить некоторые коррективы в режим и наблюдать за работой автоматики. Внимательно следит за режимом роста кристаллов старший лаборант Галина Гераськина.

ны разноцветной жидкостью. В них с точностью до сотых градуса поддерживается определенная температура. Все процессы получения кристаллических веществ автоматизи-

рованы: тут нужна абсолютная точность. Лаборант следит за размерами выращиваемого кристалла: в каждом из приборов растет кристалл строго определенных форм и «габаритов».

Но вырастить кристалл — это еще, как говорится, полдела. Новорожденный кристалл — это пока просто камень. Он подвергается разнообразным анализам. Основной из них — рентгеноструктурный анализ. Небольшая установка, которая совмещает рентгеновский аппарат с остро направленным лучом и ЭВМ, способна в несколько тысяч раз точнее, чем аналитические весы, определить содержание и состав примесей.

...Рядами стоят сложные приборы и автоматы, каждый из них предназначен для выращивания кристаллов особого вида. Их получают из жидких растворов путем выпаривания, они синтезируются из газов и сплавов, они растут в автоклавах, в вакуумных распылителях и плазматронах. Здесь, в ла-

Старший лаборант Алексей Александровский ведет исследование по теме «Электрооптический эффект в кристаллах» с помощью лазерного интерферометра.

Внешняя красота кристалла — еще не показатель его качества. Можно ли применять его в технике, насколько он химически чист, какова его структура — на эти вопросы дает ответы установка для рентгеноструктурного анализа. За несколько часов она делает то, на что обычными способами анализа затрачивались недели напряженного труда... Академик Николай Васильевич Белов (второй слева) с сотрудниками кафедры обсуждают полученные на установке результаты.

бораториях кафедры кристаллографии и кристаллохимии, можно увидеть кристаллы самых разнообразных форм и размеров.

Алмазы, рубины, изумруды, топазы, сапфиры, которые когда-то украшали короны королей, служили символом богатства и власти, в наши дни выполняют вполне будничную работу: обрабатывают сверхтвердые материалы, бурят скважины, образуют всемогущий лазерный луч...

А. ЕГОРОВ
Фото автора

КАЖДЫЙ РАЗ, когда отмечается День космонавтики, мы с глубочайшим уважением произносим имя академика, лауреата Ленинской премии, дважды Героя Социалистического Труда Сергея Павловича Королева. Выдающийся конструктор-ученый, организатор научного поиска, он стоял у колыбели первых советских ракет, которые высоко вознесли нашу космическую славу.

Спасибо журналистским дорогам: они подарили мне несколько памятных встреч с людьми, которые хорошо знали выдающегося конструктора, работали рядом с ним. Их рассказы о Сергее Павловиче Королеве и предлагаются вниманию читателя.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР

НАЧАЛО

Рассказ матери—Марии Николаевны Баланиной

ТЕПЕРЬ, КОГДА мне уже за восемьдесят, я иной раз задумываюсь: что требуется от человека, чтобы он полнее раскрыл свои способности, стал именно таким, каким мы его знаем? Ответил на это, пожалуй, лучше всего еще мой сын. Сохранился с довоенной поры листок пожелтевшей бумаги, на котором его рукой написано: «Жить просто — нельзя! Жить надо с увлечением!» В этих словах огромный смысл. Ведь именно тогда у человека пробуждается колоссальная энергия, расцветают его способности, когда он все свои действия, всю свою жизнь подчиняет благородной идее, увлеченно работает над осуществлением мечты. Так жил и Сергей Павлович. Небо и Космос — вот к чему он стремился всю жизнь, до конца.

С чего это началось? Трудно определенно сказать. Может быть, с того момента, когда, сидя на плечах своего деда, — чтобы лучше разглядеть происходящее, — Сережа в Нежине увидел, как знаменитый летчик Сергей Иванович Уточкин поднялся в воздух...

А может, еще раньше, когда я рассказывала ему сказки о ковре-самолете? Ведь не случайно же он попросил у меня однажды простыню: «Я сделаю крылья, как у птицы».

Сергей очень дружил со своим отчимом — Григорием Михайлови-

чем Баланиным, называл его папой. Григорий Михайлович — выходец из бедной семьи глухой вологодской деревни — с большим трудом, терпя лишения и нужду, получил высшее образование, стал инженером-механиком. Сережа часто наблюдал, как Григорий Михайлович часами что-то чертил. Однажды попросил и его научить. И вот они вдвоем стали проводить много времени у чертежной доски. Став уже конструктором, Сергей Павлович не раз говорил:

— Это отец научил меня работать.

Нет, он имел в виду не то, что его научили пользоваться готовальней. Его научили доводить начатое дело до конца, самостоятельности, упорству. Это ведь так важно в жизни и работе любого человека!

Когда мы жили в Одессе, на самом берегу моря, совсем рядом стояла эскадрилья гидросамолетов. Сережа хорошо плавал, он подплывал вместе с другими ребятишками к заграждениям. Часовой их прогонял. Но однажды он сказал Сереже:

— Тебе что, делать нечего? Иди-ка сюда, помоги перенести мотор.

Так он начал приобщаться к авиации. Было это уже после Великого Октября. Вскоре он меня удивил сообщением, что читает... лекции. Я спросила, для кого и о чем.

— Для рабочих-судоремонтников об авиации.

В семнадцать с небольшим лет, оканчивая стройпрофшколу, Сергей создал проект планера — сидел чертил, не жалея времени. Другие бегали погулять на Соборную площадь, а он садился за чертежную доску. Конечно, бегал и он, но все же не это было для него главным.

Встал вопрос, в какое высшее учебное заведение поступать. Он заявил: «Мамочка, ты не представляешь, как мне хочется строить самолеты и самому летать». Вижу, не отговорить, и решила не становиться поперек дороги. Два года Сергей учился на авиационном отделении Киевского политехнического института. Потом мы переехали в Москву, и Сергей перевелся в Московское высшее техническое училище имени Баумана, которое окончил в 1930 году. Здесь попутно с учебой он работал над конструированием планеров и самолетов.

Свою дипломную работу — легкомоторный самолет СК-4 он выполнял у Туполева. Одномоторный двухместный самолет был построен и летал. А на созданном Сергеем планере «Красная звезда» (СК-3) известный летчик Василий Степанченок в 1930 году впервые в истории воздухоплавания на безмоторном аппарате выполнил «мертвую петлю».

Работал Сергей всегда самозабвенно. Был случай в те еще далекие годы — пришел домой и потерял сознание от переутомления. Во время полетов и испытаиий, конечно, не обходилось без аварий, он падал, ушибался — обо всем этом я узнавала после. Был он молодой, крепкий, все заживало, а судьба его хранила — для главного, которое было впереди.

ПОДМОСКОВНЫЙ БАЙКОНУР

Рассказ Евгения Марковича Матысина, бригадира слесарей-сборщиков ГИРДа

В ГИРД (Группу изучения реактивного движения) я пришел в феврале 1933 года. Однако познакомился я с Сергеем Павловичем Королевым еще в 1928 году — оба работали тогда на авиациоином заводе. Мы все к Сергею Павловичу относились с большим уважением, хотя были его ровесниками: покоряла эрудиция, то, что он был еще и летчиком. Он вовлек меня в работу над планером «Красная звезда». Делали мы планер у него дома — там, где живет сейчас Мария Николаевна. Собирались вечерами и по выходным дням: чертили, выпиливали из фанеры детали. Сборку планера вели в Беговом проезде — в бывшей коновязи: с трех сторон доски, крыша, пол земляной, то есть сарай без одной стены. Испытывался планер в Коктебеле. Затем мы долго с Сергеем Павловичем не виделись, так как после облета «Красной звезды» он заболел брюшным тифом. В конструкторском отделе Королев появился лишь весной 1931 года.

Однажды мы встретились, я спросил:

— Чем будем заниматься?

Мне нравилось с ним работать, и я ждал, что он предложит. А Сергей Павлович неожиданно сказал:

— Полетим на Марс!

Я ничего не понял, а расспросить не успел, он быстро ушел. Через некоторое время мы встретились снова, и Сергей Павлович рассказал мне в нескольких словах:

— Будем создавать производственную базу. Будем заниматься интересными вещами.

Я не совсем понял какими. А он не уточнил. Только потом мне стало известно, что Сергей Павлович к этому времени познакомился с трудами К. Э. Циолковского и даже побывал у него.

В это время создавалась группа изучения реактивного движения. По предложению Сергея Павловича, ставшего начальником ГИРДа, я перешел работать в группу и возглавил бригаду слесарей. В мастерской уже стояли станки, кое-какое оборудование. У нас действовала даже аэродинамическая установка, — наверное, первая в стране со сверхзвуковыми скоростями. Мне приходилось выполнять различные работы и на цандеровском двигателе ОР-2, и на различных ракетах. Больше всего работал я с бригадой на ракете «09» конструкции М. К. Тихонравова, которая была пусковой.

Дело у нас пошло не сразу. Наша ракета на жидком топливе поднялась в воздух лишь с четвертой попытки... Это историческое событие произошло в Нахабине под Москвой 17 августа 1933 года. Ракета достигла высоты около 400 метров и потом свернула в сторону, перейдя в горизонтальный полет. По расчетам должен был открыться парашют, но пиропатрон не сработал, и ракета врезалась в землю.

Мы радостно выскочили из блиндажа, кричали «ура!», обнимались, девушки чуть не плакали. Тут же побежали искать ракету. Сфотографировались возле нее, составили акт о запуске. Горжусь тем, что среди четырех подписей (первой стояла фамилия С. П. Королева) была и моя как бригадира слесарей.

Запуску ракеты мы посвятили стенную газету. Передовую, помню, написал Сергей Павлович, и называлась она «От первой победы — дальше!». Он всегда так: сделаешь что-то, он скажет: «Это хорошо, но надо идти дальше!»

И конструкторы двигались дальше. В ноябре была запущена еще одна ракета на жидком топливе — конструкции Цандера. Спустя некоторое время — 5 мая 1934 года — ушла в воздух первая крылатая ракета...

НАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ

Рассказ группы инженеров, работавших под руководством С. П. Королева над созданием космического корабля „Восток"

НАМ ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ работать с СП (как все мы между собой обычно называли Сергея Павловича Королева) в период соз-

дания ракеты-иосителя для космического корабля «Восток». Это был новый, качественный скачок в ракетной технике — переход к мощным ракетам, развивающим первую космическую скорость и способным выводить объекты на орбиту спутников Земли.

Сергей Павлович Королев, как никто, умел до конца отдаваться труду. Взрывная сила его творческой энергии, жар полета мечты «обжигал» всех, кто был рядом, находил отклик в умах и чувствах тех, кто призван был в деталях разработать ведущую идею, облечь замысел конструктора в материальные формы.

Сергей Павлович больше всего не терпел в людях равнодушия, беспечности. Он мог простить ошибку (хотя и строго «разнести» за нее), но людей, которым безразличиа судьба общего дела, которые мерили свой рабочий день часами, проведенными за столом, а не результатами творчества, он попросту презирал. Он был одинаково требователен к многочисленным своим помощникам — будь то ведущий конструктор, рядовой инженер или младший научный сотрудник.

При создании мощных ракет-носителей перед коллективом конструкторов встало много серьезнейших научных и практических проблем. Их требовалось решить в кратчайшие сроки. С. П. Королев имел обыкновение выслушивать доклады непосредственных исполнителей о результатах исследований. Это давало ему возможность оперативно вносить нужные коррективы, кого-то поддержать, кого-то предостеречь от ошибки, кому-то дать новое задание, выявить перспективный путь исследования.

Сергей Павлович очень внимательно, предельно сосредоточенно слушал докладывающего. От всех присутствующих он требовал абсолютной тишины, сосредоточенности, вдумчивости.

Особенно памятно совещание, проходившее незадолго до запуска в космос первого искусственного спутника Земли. Началось оно в 10 часов утра, а закончилось... в час ночи. Вообще-то говоря, предполагалось закончить работу через несколько часов, но проблема была настолько серьезной, а в ходе обсуждения результатов исследований возникло столько сложных «подвопросов», что, когда наконец пришли к итогам, которые нас устраивали, часы показывали далеко за полночь.

Но памятно это совещание не своей продолжительностью, а исключительно деловой атмосферой, царившей на нем, достигнутыми результатами. Сергей Павлович умел увлечь ученых. Тут действовала и его сила воли, и личный пример. Надо что-нибудь сделать — сделай во что бы то ни стало, — таков был принцип СП. Все знали — ничто его не заставит свернуть с намеченного пути, хотя до принятия решения в ходе дискуссии Сергей Павлович прислушивался к мнению других конструкторов, научных работников, стремясь уловить в них все ценное и полезное.

...ТРИ РАССКАЗА разных людей. Но все они об одном — о красоте жизни и возвышенности свершений большого ученого. Работая вместе с народом и для народа, Сергей Павлович Королев отдал ему все, что мог: пламень души, огромный запас интеллектуальных сил, саму жизнь. А отдавая щедро, без счета, приобрел очень много — заслужил народное признание!

Б. БАРИНОВ

«СОЮЗНИК РУССКОГО АБСОЛЮТИЗМА»

Судьба книг... Порой она бывает необыкновенной, сложной, нередко трагической, а иногда связанной с забавными курьезами...

Вот какая курьезная история приключилась с четвертым изданием книги Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства», нелегально переправленной в Россию в начале девяностых годов.

В этом выдающемся труде Ф. Энгельса рассмотрены важнейшие явления древнейшей истории, показано происхождение частной собственности, причины, обусловившие раскол общества на антагонистические классы и появление государства. Энгельс убедительно показал исторически преходящий характер общественного строя, основанного на угнетении и эксплуатации одного класса другим, — класса трудящихся классом господ, и дал безусловные научные доказательства полной несостоятельности утверждений буржуазных идеологов о «вечности», «естественности», «незыблемости» капиталистического строя.

И вот эта книга — одно из основных сочинений научного социализма — нашла в царской России защитника в лице... Главного управления по делам печати, исправно, между прочим, оберегавшего интересы самодержавного государства и уверенного в его «вечности» и «незыблемости»...

...В 1892 году при обыске у одного из казанских марксистов была найдена книга с весьма безобидным названием на обложке — «Самоучитель простой и двойной бухгалтерии». Эта обложка маскировала работу Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Жандармы переправили книгу в департамент полиции. Департамент, в свою очередь, передал ее в Главное управление по делам печати (которое вело надзор за поступлением зарубежных изданий), выразив в сопроводительной бумаге тревогу по поводу того, что под легальными названиями в Россию попадает противоправительственная литература.

Главное управление, однако, оставило без внимания именно тревожный сигнал департамента о маскировке запрещенных изданий и направило все свои усилия на то, чтобы постичь сущность сочинения Энгельса и решить, содержит или не содержит таковое в себе крамолу...

Управление сосредоточило свое внимание на критике Энгельсом европейских конституций, которая была признана убийственной и которая привела начальника управления Феоктистова в восторг. Он даже пришел к убеждению, что, критикуя конституционный строй, всеевропейски известный революционер отдает предпочтение абсолютной, твердой власти. А отсюда рукой подать до признания надклассовой роли царизма, способного-де примирить всяческие противоречия, устранить взрывы протеста «низов», столь опасные для жизни государственного организма и потрясающие основы.

В ответном письме Феоктистова в департамент полиции от 25 февраля 1893 года говорилось:

«...В настоящем историко-фи-

лософском этюде о происхождении первых государств, о нынешнем незавидном положении конституционно-монархических и республиканских государств Западной Европы и о будущем их исчезновении автор нигде и намека не высказывает о необходимости насильственных мер и революционных движений рабочего класса; напротив, бичуя нынешний государственный строй в Западной Европе, автор скорее склонен дать предпочтение сильной власти абсолютной монархии, при условии, чтобы она в состоянии была примирить вожделения находящихся в антагонизме сословий и обуздывать те из них, кои злоупотребляют силой над слабыми. Вообще, критика Энгельса никоим образом не касается России, и книга его не может быть поставлена наряду с массой сочинений социально-экономического характера, кои отвергают собственность, правительственную власть и возбуждают к бунту рабочих против имущих.

Вследствие сего и ввиду того, что с 1885 года помянутое сочинение Энгельса поступает в очень ограниченном числе экземпляров, С.-Петербургский комитет цензуры иностранной пришел к заключению о возможности дозволения 4-го издания того сочинения к обращению в России.

Со своей стороны, Главное управление по делам печати таковое заключение комитета признало основательным».

Так Главное управление, возглавляемое Феоктистовым, «углубило» и «дополнило» Ф. Энгельса. Так автор самого распространенного, по словам Ленина, сочинения стал «союзником русского абсолютизма».

Неизвестно, как отнеслись к ответу Феоктистова в департаменте полиции. Скорее всего авторитет умов из Главного управления в известной мере притупил бдительность и умерил жандармский пыл. Хорошо известно лишь, что четвертое издание книги Ф. Энгельса стало вполне доступным для российского читателя уже в первой половине девяностых годов и не только на немецком, но и на русском языке.

А. МУСАТОВ

Эпоха великих путешествий еще не прошла. Об этом свидетельствует заслуживающий всяческих похвал спортивный подвиг молодого мотоциклиста Доминика Тоссо из Парижа. Он пересек на своей двухколесной машине Сахару. Три с половиной месяца пробивался Тоссо

через пески, проделав путь почти в четыре тысячи километров. Еще четыре тысячи он проехал по джунглям и саваннам, ибо конечным пунктом его удивительного рейса в одиночку был Берег Слоновой Кости.

Оказывается, для канареек тоже существуют свои «олимпийские игры». Отборочные состязания проходят в разных странах, а вот финалы проводятся всегда в Сингапуре. В 1972 году на «олимпиаду» приехало несколько тысяч тренеров со своими питомцами. Пришлось провести дополнительный отбор на месте, чтобы выявить самых лучших птиц. Это ежегодное событие в Сингапуре отмечается как всеобщий музыкальный праздник. Птиц показывают по телевидению, их пение транслируют по радио.

Жюри состоит из четырех человек. Все они отличаются великолепным слухом и чисто восточным терпением, ибо каждую певунью необходимо подолгу проверять. Только после тщательных сравнений выбирается одна «примадонна», которой присуждается приз «Золотой голос».

Уникальный подводный заповедник создан близ болгарского города Варна. В заливе водолазы случайно обнаружили огромное кладбище древних кораблей — греческих, римских, византийских. Вслед за водолазами пришли археологи. Их исследования только начались и продлятся несколько лет. Уже обнаружены и подняты со дна свинцовые части якорей и несколько амфор — своеобразных контейнеров античного мира. По-видимому, в давние времена близ Варны находился весьма оживленный порт. По мнению некоторых специалистов, он мог существовать в течение тысячи лет.

Причину массовой гибели грузовых судов еще предстоит выяснить.

Голливудский фильм, получивший в США рекордные кассовые сборы и одобренный обозревателями всех основных газет, вдруг подвергся жесточайшей критике со стороны... заправил гангстерских синдикатов. Картина снята по роману, в котором рассказывается о темных делах итало-американской мафии. Руководителям подпольных банд не понравился разоблачительный характер ленты. Они наняли продажных писак, чтобы облить грязью фильм, затем приступили к прямым угрозам в адрес создателей картины. В кампанию травли были втянуты даже сенаторы и видные адвокаты. Денег не жалели. Неудивительно, что под таким давлением

фирма «Парамоунт» была вынуждена вступить в переговоры с заправилами преступного мира. Стороны приняли компромиссное решение: во второй серии все будет смягчено, а слово «мафия» не станет упоминаться вообще. Сами мафисты за баснословные гонорары выступят в качестве консультантов и советников...

По просьбе ветеринаров патологоанатомы определили, что причиной систематической гибели дорогих хищников в Нью-

Йоркском зоопарке являются не эпидемические заболевания и не простуды, а высокая концентрация выхлопных газов в воздухе города. Содержащиеся в этих газах соединения свинца и цинка вызывают смерть ягуаров, тигров и пантер. Львы теряют аппетит и спят по 22 часа в сутки; в столь же длительной «спячке» пребывают гепарды и пумы.

Рис. И. Клешко

СМЕРТЬ, КОТОРУЮ НЕСЕТ империализм человечеству, многолика, а способы убийств разнообразны. Это не только безработица и голод, террор и войны. Это и производство, и продажа наркотиков — «супергешефт», опустошающий души и убивающий жизнь сотен тысяч юношей и девушек в «свободном мире».

В Соединенных Штатах Америки, где особенно широко расплескался яд наркомании, насчитывается 400 тысяч «требующих» ежедневной порции героина или гашиша, марихуаны или ЛСД. И они получают свое «вещество» (пользуясь жаргоном наркоманов), «выстреливают» его или «кейфуют» — и гибнут. В 1969 году в Нью-Йорке зарегистрировано 950 смертей: их принес героин — больше, чем различные аварии. Среди погибших — свыше 200 юнцов, двадцати из них не было еще и пятнадцати лет... Чудовищная статистика! А за последние два года, по утверждению американского судебного врача профессора Хельперна, число «медленных самоубийств», как называют смерть от наркотиков, — возросло. Никто теперь не оспаривает того мнения, что наркотики — главнейшая причина смерти американцев в возрасте от восемнадцати до тридцати пяти лет. По меньшей мере у 550 детей, родившихся в нью-йоркских больницах в 1971 году, обнаружены симптомы наркотических заболеваний; смертность среди них достигает страшной цифры — от 50 до 95 процентов.

Как заявил один из нью-йоркских врачей-наркологов, «не водородная бомба, а наркотики уничтожат американский народ».

Наркотические таблетки или ампулы — удовольствие дорогое: торгаши — не благодетели! Наркоман платит за порцию «вещества» до 150 долларов. Чтобы добыть деньги, он идет на все — даже на преступление: воровство, насилие, убийство. Более 100 тысяч наркоманов Нью-Йорка буквально терроризируют население, опустошая целые районы города.

Волна наркомании перекатилась через океан, и ядовитые воды ее хлынули в Западную Европу. Перевалочной базой и поставщиком наркотиков стала ФРГ. Здесь можно без особого труда купить различные наркотические средства. Только в 1971 году в стране было продано 2,1 миллиона пачек возбуждающих средств. Они свободно рекламировались и поступали в продажу без государственного контроля.

30—40 процентов западногерманской молодежи в возрасте от пятнадцати до двадцати пяти лет так или иначе соприкасаются с наркотической отравой. И здесь верными спутниками наркотиков остаются грабеж и насилие, преждевременная смерть. И хотя официальная статистика занижает число жертв, а многие случаи гибели от наркотиков относит к категории «несчастных» или к обычному самоубийству, — опубликованные данные тем не менее зловещи.

В феврале 1971 года газета «Ham burger Abendblatt»

писала: «Ровно 1500 человек в этом городе идут навстречу смерти. Это молодые люди, которые нуждаются в неотложной помощи».

Двадцатилетнему Норберту из Гамбурга помощь уже не нужна, — он из числа тех, кто шел навстречу смерти и нашел ее в трущобах города. Ему было двенадцать лет, когда умерла его мать. В пятнадцать лет он начал странствовать. Ночевал на чердаках и в подвалах, иногда — у случайных знакомых. Однажды попробовал «таблетку» и нашел, что это лучший способ избавиться от мрачных мыслей. Так он стал наркоманом. Не было денег, чтобы купить крупицу опиума или ЛСД, и он попросил милостыню. Не хватало милостыни — участвовал в грабежах аптек. Правда, Норберт пытался устроиться на работу, но тщетно... Полиция нашла его мертвым. Яд поразил мозг.

Смерти в наркотическом угаре следуют одна за другой. И не только в Гамбурге. До ста человек погибли от наркотиков в Кёльне. Не лучше обстоит дело и в других городах и провинциях ФРГ.

Все чаще наркоманами становятся и дети. В Баден-Вюртенберге зарегистрирован случай курения гашиша шестилетним ребенком. В апреле 1972 года западногерманский министр юстиции признал, что наркомания со скоростью эпидемии распространяется среди детей двенадцати - тринадцатилетнего возраста. Другие официальные лица в ФРГ отмечают, что 10 процентов наркоманов — моложе четырнадцати лет, 47 процентов — от пятнадцати до восемнадцати лет.

По официальным данным,

Нью-Йорк. Преждевременная смерть от героина...

На специальном заседании комиссии по борьбе с наркоманией при ООН в сентябре 1970 года были приведены следующие данные: примерно миллион людей страдает от пристрастия к героину и морфию, более двадцати миллионов курят гашиш, от двух до четырех — жуют листья кока. Число наркоманов в настоящее время продолжает возрастать.

в ФРГ в 1971 году на борьбу с наркоманией было ассигновано свыше 36 миллионов марок. Сообщается, что «исцеление» одного наркомана обходится в... 100 тысяч марок. Неудивительно поэтому, что многие врачи

Девушка из Мюнхена в состоянии наркотического возбуждения, вызываемого ЛСД или мескалином.

ЛСД — синтетическое вещество. Единственным природным материалом для него служит лизергиновая кислота, которую добывают из черного гриба. Мескалин — алколоид одного из видов южноамериканского кактуса. Оба вещества обостряют чувственные восприятия, приводят в состояние бешенства.

с горечью говорят: «Из-за этого мы не можем выделять средства на жилищное строительство».

Буржуазные демографы, пытаясь установить причину все более растущей в западном мире наркомании, ссылаются то на технический прогресс, как источник всех зол, то на «конфликт поколений» или даже «индивидуальные», «интимные» конфликты. В качестве причин упоминают также «международные потрясения», «страхи перед возможными утратами или расставаниями», «баловство», «любопытство».

Но не в этом дело, и не эти причины обусловили массовое паломничество молодежи капиталистического мира в «страну грез», чудовищную страну смертельного дурмана, из которой нет обратного пути.

Двадцатилетний гамбургский чернорабочий Ф. Шварц, обвинявшийся в ограблении аптеки, сказал: «Ничего хорошего меня не ожидает. Я знаю, что проживу не более пяти-шести лет. Но мне это безразлично. Вокруг дерьмо, и наше общество смердит...» Он заявил далее, что в капиталистическом обществе сотни тысяч молодых людей ежедневно испытывают на себе социальную несправедливость. Растут капиталы миллионеров, становится более глубокой нищета трудящихся...

Да, гамбургский чернорабочий куда более точно назвал причины «медленных самоубийств» молодежи в «свободном мире». Капиталистическое общество, основанное на волчьих законах, не сулит молодому поколению никаких перспектив на будущее и стимулов к дальнейшему существованию.

Империализм несет человечеству голод, нищету, безработицу, террор, войны. Он растлевает души, опустошает сознание юношей и девушек, предлагая им на выбор смерть любого вида: в подворотне от голода, на панели от полицейской дубинки или в «райской обители» — от наркотиков...

Н. НЕПОМНЯЩИЙ

Анатолий ГОРЛО

Преступность в США увеличивается в 11 раз быстрее, чем прирост населения.
(По данным американской статистики)

12 октября 1492 года Христофор Колумб случайно открыл Америку.

12 октября 1972 года американцы Джон, Пит и Тэд случайно раскрыли свои бумажники.

— Только подумать, среди бела дня остаться без единого цента! — произнес Джон, мыслитель по натуре, и плюнул в потолок.

— ...без единого цента! — повторил Тэд, молчун по натуре, и разрядил свой кольт в плевок Джона.

А болтушка Пит добавил, что можно лопнуть со злости, если только подумать, что в то время, как они сидят в этой вонючей дыре без цента в кармане, в банке напротив лежат без всякой пользы миллионы.

— Миллионы мертвым грузом, — произнес мыслитель Джон, сдувая со своего рукава пылинку.

— ...мертвым грузом, — повторил молчаливый Тэд, разряжая кольт в невидимую пылинку, слетевшую с рукава Джона.

А болтушка Пит, глядя в окно, добавил, что можно лопнуть со злости, если подумать, что в то время, как они сидят здесь без единого цента, из банка напротив выезжает машина в сопровождении трех полицейских, а полицейские не имеют обыкновения сопровождать пустые машины.

Джон и Тэд нехотя подошли к окну.

— Не могу я стрелять натощак, — произнес мыслитель Джон, вытаскивая из кармана гранату...

Она разорвалась под колесами машины, выехавшей из банка.

— ...стрелять натощак, — повторил молчаливый Тэд, разряжая кольт в разбегающихся полицейских.

А болтушка Пит добавил, что можно лопнуть от злости, если подумать, что в то время, как они сидят здесь без единого цента за душой, банковская машина решила провести «день открытых дверей».

И он пошел разгружать машину, в то время как молчаливый Тэд продолжал разряжать кольт в зазевавшихся прохожих.

Через несколько минут болтушка Пит вернулся, тяжело дыша, с двумя мешками на плечах.

Рисунок В. Недогонова

— Как погодка? — осведомился мыслитель Джон, который уже успел развалиться в кресле с бестселлером в руках.

— Градусов десять, — сказал болтушка Пит, добавив, что можно лопнуть от злости, если подумать, что у человека лишь две руки и, значит, больше двух мешков ему сразу не унести.

— Одиннадцать, — сказал молчаливый Тэд, разряжая кольт в нос любопытного гражданина, который высунулся из окна соседнего небоскреба.

— Одиннадцать парней и, наверное, не все были круглыми болванами, — произнес мыслитель Джон, развязывая один из мешков.

— Двенадцать, — поправил молчаливый Тэд, разряжая кольт в затылок мыслителя.

— Можно лопнуть от злости, если подумать... — начал было болтушка Пит, потроша другой мешок, но не успел закруглить свою мысль, потому что у молчаливого Тэда оставался еще один патрон и ему не терпелось перезарядить обойму.

С улицы доносился нарастающий вой сирены: полицейские машины мчались в соседний квартал разгонять антивоенную демонстрацию.

Это искусственные кристаллы. Их не шлифовали и не полировали. Они сами принимают такую форму в кристаллизаторах.

Рассказ о получении искусственных кристаллов читайте на стр. 206.

На первой странице обложки «Товарища» — младший научный сотрудник кафедры кристаллографии и кристаллохимии МГУ Вера Авчухова. Фото А. Егорова.

Ало ХОДЖАЕВ,
секретарь ЦК ЛКСМ
Узбекистана

ФЕСТИВАЛЬ В РАБОЧЕЙ СПЕЦОВКЕ

Такое «рабочее» название дали мы смотру трудовых достижений молодежи республики, откликнувшись на призыв Коммунистической партии достойно отметить 50-летний юбилей нашего многонационального государства.

Молодежь Узбекистана пришла к этой знаменательной дате в жизни страны крепко спаянным, идейно закаленным, политически сплоченным отрядом. Наши старшие товарищи, коммунисты, видят в нас продолжателей великого ленинского дела. Трудом, учебой, дальнейшим неуклонным ростом сплоченности и политической организованности своих рядов комсомол Узбекистана стремится оправдать те надежды, которые партия возлагает на нас, молодых, на поколение, получившее из рук своего народа высокую честь включиться в созидательный труд в исторические дни, в период развернутого строительства коммунизма.

Придавая серьезное значение фестивалю молодежи, ЦК Компартии Узбекистана принял по фестивалю специальное постановление. Партийные работники возглавили все 159 районных и городских фестивальных штабов, своим примером показывая нам, как должно организовывать и проводить политическую и трудовую работу в массах.

Это с первых минут создало на нашем фестивале обстановку настоящей праздничности, той хорошей, по-деловому, приподнятости, которая всегда и во всем должна быть главной, отличительной чертой, определяющей нашу комсомольскую жизнь. Ощущение праздничности дела, которое делаешь, неизменно вызывает желание лучше работать. Наш фестиваль стал событием подлинно массовым, и это в конечном счете определило высокий деловой уровень всех тех мероприятий, которые мы в его рамках проводили и проводим.

Фестиваль стал праздником в жизни молодежи Узбе-

кистана потому еще, что лишний раз дал понять и почувствовать каждому юноше, каждой девушке, какая это великая сила — комсомольская организация республики, насчитывающая в своих рядах более миллиона человек, какие значительные дела мы можем делать, если возьмемся за них сообща. Самим своим ходом фестиваль продемонстрировал молодежи: только работая коллективно, можно рассчитывать на выполнение поставленных перед нами задач. А от нас многого ждут, и не оправдать этих надежд мы не имеем права.

В атмосфере праздничности старались мы проводить все фестивальные мероприятия, сделав обязательным их элементом выступления молодежных коллективов и ансамблей художественной самодеятельности, и это тоже было истинным праздником: дарить радость соратникам по комсомолу, многие из которых своим героическим трудом заслужили признание, выходящее далеко за пределы нашей республики.

Но все же в главной сути своей наш фестиваль, проведенный под девизом «Мы — патриоты, интернационалисты», был фестивалем в рабочей спецовке. Потому что при всех прочих условиях мы рассматривали его прежде всего как смотр достигнутых нами успехов, как подведение итогов сделанному, как разработку перспектив на завтрашний день. «Фестиваль — это прежде всего конкретное дело», так можно охарактеризовать все, что осуществлено молодежью республики за те месяцы, пока по земле ее шел фестиваль.

И самое главное, что создавало праздничную атмосферу, — сознание того, что в общем трудовом успехе народа во втором году пятилетки немалая доля принадлежит молодежи Узбекистана, немало трудовых побед одержано благодаря ее самоотверженному труду.

Хлопкоробы республики сдали в минувшем году государству 4 миллиона 710 тысяч тонн хлопка. Никогда прежде Узбекистан такого количества хлопка еще не давал.

На хлопковых полях республики работало более трех тысяч комсомольско-молодежных бригад и звеньев. Три тысячи молодых механизаторов, воспитанников комсомола Узбекистана, личным трудовым примером вели вперед товарищей по труду. На них равнялись, их опыт перенимали. Благодарностями Родины, орденами и медалями отмечен труд хлопкоробов республики — молодежь составляет половину от общего их числа.

Во всех районах Узбекистана знают сегодня имя Чиннихол Худояровой, секретаря Шерабадского райкома комсомола — замечательной девушки, настоящего товарища, настоящего комсомольского вожака. Свои отпуска она проводит за штурвалом хлопкоуборочной машины, и показатели ее на уборке подчас куда более высоки, чем даже у опытных парней-механизаторов. Свое решение отправиться на уборку Чиннихол объяснила так: «Нельзя, чтобы пропадал хоть грамм «белого золота», дающегося таким нелегким трудом. И если я могу хоть чем-то конкретным помочь хлопкоробам, я обязана это сделать».

Родина высоко оценила трудовой героизм девушки: она была награждена орденом Ленина.

Следом за Чиннихол на хлопкоуборочные машины, увлеченные

ее примером, пришли еще многие десятки девчат — комсомольских работников из многих районов республики. И теперь в лице этого «незапланированно» возникшего отряда комсомол республики имеет не только надежное рабочее звено, но еще и образец, на котором должна учиться коммунистическому отношению к труду молодежь, быть может, не только Узбекистана.

На месяц раньше установленных строительными ГОСТами сроков научилась монтировать и с отличным качеством сдавать дома комсомольско-молодежная бригада Тулкума Самигова, кавалера ордена Ленина. Бригада, принявшая на вооружение опыт знаменитого московского строителя, Героя Социалистического Труда Н. Злобина. Бесценный опыт этот мы стремимся теперь сделать достоянием всех молодых строителей республики. Мы хотим, чтобы каждый из них, подобно ребятам из бригады Самигова, познал в свой час истинное счастье в труде, которому посвятил жизнь. Это возможно только при условии, что, отдавая делу весь жар своего сердца, ты владеешь еще всеми секретами мастерства. Комсомольская организация республики взяла на себя ответственность за внедрение злобинского опыта в жизнь.

Замечательные дела есть на счету у нашей юной трудовой смены — членов ученических производственных бригад. Юные хлопкоробы колхоза «Правда» Балыкчинского района собрали в минувшем году с каждого закрепленного за их бригадой гектара по 50 центнеров хлопка — при средней по республике цифре, приблизительно, в 30 центнеров. Правление, парторганизация, комсомольцы колхоза, обсудив просьбу ребят, решили выделить им еще дополнительно 15 гектаров поля. Юные хлопкоробы полны решимости доказать, что доверие оказано им не зря. А мы испытываем чувство счастливой уверенности в завтрашней трудовой судьбе наших младших товарищей по комсомолу.

Более половины комсомольцев маргиланской фирмы «Атлас», продукция которой — шелковые и атласные ткани — известна далеко за пределами СССР, уже работают в счет 1974 года. Остальные трудятся над успешным завершением планов текущего, третьего, решающего года пятилетки.

Одними из первых в республике выступили с почином выполнить задания девятой пятилетки за четыре с половиной года комсомольцы ташкентской швейной фабрики № 3. Одна из комсомольско-молодежных бригад этой фабрики, бригада Светланы Колос, завершившая план 1972 года к 12 декабря, на восемь дней раньше намеченного трудовыми обязательствами срока, получила высокое право именоваться коллективом имени 50-летия СССР.

С каждым годом все большую популярность и значимость приобретает такая форма трудового и интернационального воспитания молодежи, такая реальная, немало дающая народному хозяйству страны сила, как студенческие строительные отряды. В минувшем году 27-тысячный республиканский студенческий строительный отряд освоил капиталовложений на 27 миллионов рублей. Студенты отлично работали на самых ответственных объектах, в том числе на 14 республиканских ударных комсомольских стройках. Будущие командиры производства, педагоги, ученые записали в личные трудовые счета первые добрые дела, практически осуществляя принцип «ни одного дня, прожитого без пользы для общества» — принцип, который мы стремимся сделать жизненным для каждого носящего на груди комсомольский билет.

Фестиваль, праздник труда, освященного девизом «Пятилетке — ударный труд, мастерство и поиск молодых!», не только выявил много славных имен и замечательных трудовых починов, но и еще более убедил нас в том, что в деле трудового воспитания молодого пополнения рабочего класса и колхозного крестьянства республики мы шли верным путем, избрав одной из форм этого воспитания конкурсы на лучших по профессиям, состязания на звание мастеров своего дела.

Конкурсы такие можно проводить по-разному и разные результаты получать. Настоящую пользу они приносят только при условии широкой гласности, позволяющей возбудить у молодых тружеников необходимый для дела интерес к ним. Приступая к проведению конкурсов, мы заботились, в первую очередь, об обеспечении именно такой гласности. Состязание молодых в профессиональном умении, в мастерстве регулярно, широко, с выдумкой и желанием освещали республиканская партийная и комсомольская печать, радио и телевидение, с которыми мы давно работаем в самом тесном товарищеском и творческом контакте. Широкая информация о проводящихся конкурсах мастерства помогает нам делать активным их участником, а не просто заинтересованным зрителем практически весь отряд республиканской молодежи. На сегодняшний день в республике прошли состязания по 18 массовым рабочим профессиям. Популярность этих состязаний, желание утвердить себя в избранном деле, с которым все новые отряды тружеников республики включаются в это нужное дело, привели нас к решению и в дальнейшем проводить их, придавая им с каждым разом все больший размах и гласность, не ограничиваясь только чествованием лауреатов, но делая профессиональное мастерство победителей предметом изучения в школах передового опыта. Комсомольская организация республики видит в этих школах, количество которых год от году растет, прекрасную возможность для завязывания и укрепления контактов между молодежью различных предприятий, для повышения уровня профессионального мастерства ребят и девчат, занятых во всех отраслях народного хозяйства. Здесь мы видим эффективную возможность добиться выполнения одной из главных трудовых заповедей комсомола: «Сегодня — рубеж передовика, завтра — рубеж всего коллектива».

Нельзя быть настоящим ленинцем, настоящим строителем коммунизма, не будучи по-настоящему культурным, политически грамотным, идейно закаленным, экономически образованным человеком. Ленинская заповедь «учиться коммунизму» приобрела в ходе нашего фестиваля особенное значение и важность: фестиваль подтвердил, что регулярная проверка уровня общеобразовательных, политических и экономических знаний, постоянная, а не от случая к случаю работа по эстетическому воспитанию молодежи, комсомольский контроль за овладением марксистско-ленинской наукой должны оставаться для комсомольской организации республики объектом самого пристального внимания.

На сегодняшний день в системе партийной учебы активно занимается более 70 тысяч комсомольцев. В системе комсомольского политпросвещения, насчитывающей более 11 тысяч кружков, семинаров, лекториев, в том числе и по эстетическому воспитанию, постоянно повышают уровень знаний 369 тысяч человек. В школах коммунистического труда — около 60 тысяч. Различными видами

экономической учебы в городе и на селе охвачено 150 тысяч юношей и девушек. В вечерних школах, на вечерних отделениях вузов и техникумов готовятся получить аттестаты зрелости и дипломы более 300 тысяч человек. Партийные органы республики не раз отмечали высокое качество теоретической подготовки слушателей системы комсомольской политучебы. Сейчас из общего числа руководителей сети комсомольской политучебы около 90 процентов — коммунисты, люди с высшим или незаконченным высшим образованием.

Общие итоги, таким образом, вполне удовлетворительны. Но если быть принципиальными до конца — а быть иными мы не имеем права, — надо сказать, что для спокойствия все-таки нет оснований. Да, в школах, вузах и техникумах успешно овладевают знаниями более 300 тысяч человек, но по-прежнему все еще высок процент отсева именно из вечерних школ. Да, у нас есть отлично работающие звенья в сети комсомольской политучебы, есть положительный опыт, которым мы можем гордиться. Но фестиваль выявил по республике более 200 тысяч юношей и девушек, которые до сих пор еще не охвачены ни одним из видов общественной работы или учебы. Это значит, что мы до сих пор еще, наверное, не всегда и не везде с должной требовательностью подходим к вопросам подбора кадров комсомольского актива, не всегда еще умеем дойти в работе до каждого человека. Фестиваль — принципиальная проверка состояния наших дел — с особой четкостью обозначил для нас эти недочеты и недоработки. Нам еще много предстоит сделать для того, чтобы уровень политического, коммунистического воспитания подрастающей смены соответствовал требованиям, предъявленным комсомолу решениями XXIV съезда КПСС.

Фестиваль молодежи республики вылился в запоминающийся праздник молодости, красоты, здоровья и силы. Массовые спортивные состязания, проведенные и проводящиеся в рамках фестиваля повсеместно, помогли еще выше поднять в сознании молодежи авторитет массового спорта, выявили много спортивно одаренных ребят. Вместе с тем они заставили задуматься и о том, что мы могли бы иметь больше представителей узбекского спорта в сборных командах, защищающих честь Родины на международных спортивных аренах, чем мы имеем сегодня. Одной из причин, не дающей нам пока права сказать, что комсомол республики делает все для развития спорта в Узбекистане, является нехватка спортивных баз. Тяга к спорту у молодежи год от году растет, растет гораздо быстрее, чем возможности ее удовлетворения. У нас, например, есть много безусловно способных ребят, которые могли бы успешно заниматься, скажем, авиационным спортом. Но готовить летчиков-спортсменов пока, в сущности, негде. Слушая ветеранов комсомола, ветеранов-спортсменов на встречах со спортивной юностью республики, мы часто думали: а не поторопились ли мы отказаться от такой, например, идеи, как возведение спортивных сооружений методом народной стройки — методом, таким популярным в пору юности наших отцов, когда запевалами, застрельщиками выступают сами комсомольцы-спортсмены? Может, стоит к этой форме массового спортивного воспитания молодежи вернуться — разумеется, продумав ее во всех деталях так, чтобы она полностью отвечала духу задач и требований нашего сегодняшнего дня?..

...Пока существует капиталистическое окружение, пока не исчезла в принципе угроза новой мировой войны, нужно, чтобы каждый год, выполняя свой долг граждан СССР, шли на службу в Вооруженные Силы молодые ребята. Эта сторона деятельности комсомола тоже прошла серьезную проверку в ходе нашего фестиваля.

У нас уже имеется некоторый опыт в деле военно-патриотического воспитания молодежи: хорошо зарекомендовали себя такие формы работы, как походы по местам революционной, боевой и трудовой славы отцов, регулярные встречи с ветеранами армии, авиации и флота, военно-спортивные оздоровительные лагеря, викторины «Знаешь ли ты армию?»; такие формы работы, как комсомольский контроль за работой учебных пунктов ДОСААФ при военкоматах, участие комсомола в работе приписных комиссий. Фестиваль вызвал к жизни новую, открывающую значительный простор для творчества форму военно-патриотического воспитания юношества — организацию комсомольских лекториев при военкоматах, предложенную Маргиланским горкомом комсомола. Здесь главное — тщательный подбор соответствующего лекторско-преподавательского состава. Думается, этот вопрос стоило бы обсудить (с целью выработки его наиболее разумного решения) на самом широком, всесоюзном уровне. Ведь всегда все лучшее, чем славен и силен был комсомол, рождалось в коллективных усилиях, а традиции коллективизма — главное, что определяет и всегда должно определять нашу комсомольскую жизнь.

Выступая на Торжественном совместном заседании ЦК КПСС, Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР, посвященном 50-летию нашего многонационального Союза, Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев сказал: «И чем дальше мы идем по пути строительства коммунизма, чем многообразнее и прочнее становятся экономические, культурные и иные связи, соединяющие воедино все народы СССР, тем сильнее и глубже благородное чувство великой общности, которое мы называем общенациональной гордостью советского человека».

«Мы — патриоты, интернационалисты», таков девиз нашего республиканского молодежного фестиваля. Красной нитью прошла эта мысль через все фестивальные дела.

Мы интернационалисты. Такими нас учил быть В. И. Ленин. Такими воспитала нас наша страна — братский союз равноправных народов. Страна, для которой интернационализм — один из главнейших принципов внутри- и внешнеполитических отношений.

Фестиваль показал высокий уровень интернационального сознания наших юношей и девушек — комсомольцев, наследников великих интернациональных завоеваний советского народа.

Мы регулярно проводим на нашей земле встречи с посланцами комсомола братских республик, — встречи рабочей и сельской молодежи, семинары, научно-теоретические конференции молодых ученых и инженеров. Одним из запомнившихся фестивальных событий была межвузовская студенческая научно-теоретическая конференция по вопросам интернационального воспитания, организованная комсомольцами Наманганского пединститута, собравшая в его стенах представителей педагогических вузов всех среднеазиатских и почти всех союзных республик нашей страны. С каждым годом мы придаем этой форме интернационального воспитания мо-

лодежи все большее значение: творческое общение молодежи укрепляет дружбу; знание жизни молодежи братских республик, обмен трудовым, научным опытом, опытом общественной и комсомольской работы вносит значительный вклад в наше общее дело, в главное дело нашей жизни — строительство коммунизма.

Мы регулярно принимаем у себя делегации и туристские группы молодежи из капиталистических и братских социалистических стран, наши ребята, в свою очередь, бывают за рубежом: молодежь должна знать, как живут ее зарубежные сверстники. Это необходимо для выработки каждым нашим юношей, каждой девушкой четкой политической программы, которая, являясь отражением политико-интернациональной программы Коммунистической партии, позволит каждому найти свое точное место в ряду борцов за международную демократию, за мир, против угрозы новой войны.

С молодежью многих братских социалистических стран — как, например, Болгарии — молодежь Узбекистана связывает очень давняя дружба. Многие области нашей республики дружат с округами в Болгарии. Молодые болгарские строители оставили добрую память о себе, построив для нашей детворы несколько замечательных школ. Молодые производственники Узбекистана щедро делятся опытом со сверстниками-болгарами, приехавшими к нам осваивать рабочие профессии.

В школах, вузах, техникумах, на предприятиях, в колхозах и совхозах республики действует широкая сеть клубов интернациональной дружбы.

...Идет время. Близится к своему завершению республиканский фестиваль молодежи Узбекистана.

Очень скоро мы узнаем имена лучших — победителей областных конкурсов по профессиям. Имена лучших молодых спортсменов. Комсомольцы назовут имена лауреатов областных смотров-конкурсов самодеятельного искусства. Победители соберутся в Ташкенте на завершающий этап фестиваля, чтобы здесь, подведя окончательные итоги, назвать имена тех, кто в составе делегации советской молодежи должен будет представлять молодость Узбекистана, молодость Страны Советов на X Всемирном фестивале молодежи и студентов в Берлине.

Все это будет. А год 1973-й, третий, решающий, год девятой пятилетки, уже идет по стране. Продолжается жизнь. Продолжается труд. Новые величественные задачи поставили перед советским народом, перед комсомолом страны, перед комсомолом и молодежью Узбекистана решения XXIV съезда КПСС, совместные постановления ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о развертывании социалистического соревнования среди работников сельского хозяйства, промышленности, строительства и транспорта за успешное выполнение народнохозяйственного плана на 1973 год. «Ударным трудом, отличной учебой ознаменуем третий, решающий год пятилетки!» — призвало комсомольцев и молодежь страны Всесоюзное комсомольское собрание. Новые горизонты участия молодежи в социалистическом соревновании, призванном выполнить задания пятилетнего плана, наметил январский пленум Центрального Комитета комсомола.

И уже идут в ЦК ЛКСМ республики радостные вести из всех уголков Узбекистана: не по 50, а по 55 центнеров хлопка с гектара

обязуются убрать в текущем году девчата-механизаторы. В новые, еще более сжатые сроки обещают выполнить годовые задания молодые текстильщики и градостроители. Учащиеся профтехучилищ республики записывают в свои личные комплексные планы: строить работу по научно-техническому творчеству так, чтобы конечным ее результатом были новые приборы, аппараты, станки, инструменты, необходимые для нужд народного хозяйства...

Молодежь Советской страны — и в ее рядах юность Узбекистана — готовится к штурму и штурмует уже новые высоты трудовых достижений. Молодость не может иначе. На то она и молодость, чтобы засучив рукава браться за самое трудное. Чтобы идти впереди, трудом своим оправдывая высокое звание ленинцев, оправдывая доверие Коммунистической партии, которая видит в ней, в молодости, будущее страны.

■

Боевая задача молодых строителей и монтажников — внести свой трудовой вклад в выполнение намеченной решениями XXIV съезда КПСС программы капитального строительства, заданий решающего года девятой пятилетки.

Из постановления VIII пленума ЦК ВЛКСМ

Людмила **АТРАШЕНКО**

ЮНОСТЬ СТРОИТ ГОРОДА

Сегодня у нашей молодежи появился еще один город на карте — Набережные Челны. Сколько их — городов молодости? Комсомольск-на-Амуре, Мирный, Анадырь, Нурек, Новополоцк, Зеленоград, Дивногорск... Строили их комсомольцы и молодежь различных поколений, но едины они были в главном — в желании, чтобы их город стал самым красивым на земле. И каждый новый город действительно по-своему красив: у него свое лицо, свой характер, свои традиции... Побывав в Набережных Челнах, ты не вдруг ответишь, почему город на Каме тебе стал ближе, чем, скажем, Новополоцк или Анадырь. Ведь не широкими проспектами и высотными зданиями покорил он тебя. Проспекты эти к тому же не везде благоустроены, в некоторых местах они напоминают — особенно в зимнее время — огромное, бесконечное в длину поле, только по бокам его выстроились аккуратными рядами многоэтажные дома. Правда, пространство между проспектами и тротуарами, тротуарами и домами уже в некоторых местах засажено деревцами. Но стоят они пока тонкие, слабые, годы пройдут, прежде чем они станут большими деревьями.

А может быть, пленяют Набережные Челны тем, что уже сейчас видишь: все здесь продумывается заранее. Еще не столь интенсивно движение транспорта, а уже делают подземный переход, с перспективой на будущее решена «развязка» дорог на центральной площади. Да и сам город строится вдали от заводов, чтобы люди дышали свежим воздухом. Магазины, столовые, бытовые пункты не только в центре, но и на окраинах. А детские сады и ясли — в самых тихих и чистых районах. И строят их уже сегодня целыми комплексами, по четыреста мест каждый — в расчете на будущее.

Или жилье. Вроде бы только вчера фундамент закладывали, а сегодня уже первый этаж готов: работают

на строительстве круглые сутки. А там смотришь — люди и новоселье празднуют. Ничего, что пришлось некоторое время пожить в вагончиках, не в палатке все-таки. И сейчас еще многие живут в вагончиках. Тесно, конечно, но знают — временно это, не сегодня-завтра и они переедут в свой дом, в свою квартиру.

А новые корпуса общежитий... Стоят под самое небо великолепные здания, облицованные желтым кирпичом. Зайдешь в подъезд, там, как в гостинице, дежурная сидит. «Вам на восьмой? — спросит. — Пожалуйста». Поднимаешься на восьмой, а перед глазами мелькают на каждом этаже за широкими стеклянными дверьми холлы. В них мягкая мебель, столы, телевизор. Просторные комнаты обставлены тоже современной мебелью, в каждой секции — кухня, туалет, душевая.

Говорить о настоящем — значит показать светлое, красивое здание политехнического института; огромный, как и сам город, Дворец культуры; мясокомбинат, молокозавод, хлебозавод, промышленные объекты.

Можно еще многое рассказать о Набережных Челнах, перечислить то, что уже давно вступило в строй. Давно — это год-полтора, здесь свои измерения времени. Поликлиника, роддом, школа, филиал инженерно-строительного института, техникумы, Дом пионеров, главтелеграф со множеством телефонных кабин — ведь звонят из Набережных Челнов во многие города и села страны.

Если заглянуть в завтрашний день — значит увидеть новую линию скоростного трамвая, которая свяжет город со всем промышленным комплексом; стадион, водно-спортивные базы на Каме, птицеферму и, конечно, сам КамАЗ. Уже достраиваются некоторые заводские корпуса, ведутся отделочные работы, устанавливается оборудование. Некоторые заводы комплекса дают продукцию. К концу следующего года страна ждет первый автомобиль.

Но не только этим покоряют Набережные Челны. Город, он ведь что человек. На иного посмотришь — красивый, а душа корявая. Но уж если душа у человека красивая, то и веснушки на его лице тебе будут милы. Так и у каждого города есть свое лицо и своя душа. Душа его — это люди. Видимо, людьми своими и покоряет новый город на Каме.

Человек утверждает себя

В горкоме комсомола, куда я приехала сразу из аэропорта, было на редкость многолюдно. Формировали поезд дружбы в Болгарию. Отбирали триста лучших молодых производственников. Я наблюдала за ними, прислушивалась к их разговорам и ловила себя на мысли, что эти парни и девушки чем-то отличались от тех, с которыми мне когда-либо приходилось встречаться. Пыталась понять: чем же именно? Сдержанностью, деловитостью, зрелостью, сплоченностью? Чувствовались в этой молодежи какие-то новые черты.

Потом, встречаясь с челнинцами на строительстве, в общежитиях, кинотеатрах, в магазинах и просто на улице, я снова убеждалась в верности первого впечатления.

Вот и вечер в кафе навел на эти же размышления.

Каждый четверг комсомольцы и молодежь КамАЗа устраивают в

кафе «Ровесник» вечера отдыха. Мне особенно запомнился есенинский, который организовали комсомольцы Минмонтажспецстроя.

В нарядно украшенном зале висел огромный — почти на одну треть стены — портрет Есенина. Тихая лирическая музыка создавала определенное настроение.

Более часа продолжалась литературная часть вечера. И все присутствующие, казалось, жили едиными чувствами, одним настроением. Потом танцевали, пели. Пели все вместе и в одиночку. Разные песни, и современные и старые, но дружно, — здесь часто поют:

Тот, кто скучен и сердцем скуден,
Тот напрасно коптит года.
Человек оставляет людям
Песни, книги и города.

Запевал чистый девичий голос. И все бережно подхватывали:

Город нас переживет,
Городам не страшны года.
Смелость города берет!
Смелость города берет!
Смелость строит города!

Эта песня стала как бы гимном стройки. Ее поют и ребята-монтажники, и девушки-штукатуры, и в общежитиях, и на улицах.

Я уходила из кафе в начале двенадцатого, вечер продолжался, двери были распахнуты настежь, и ни одной души вокруг: ни любопытных, ни милиции. Тишину и спокойствие жителей охраняет боевая комсомольская дружина. С вечера до поздней ночи патрулируют улицы ребята с голубыми повязками — это молодые строители: каменщики, бетонщики, монтажники, плотники, механизаторы... Они для хулиганов, пьяниц и дебоширов пострашнее милиции. Сейчас в городе почти не стало грубых нарушений общественного порядка.

Да оно так и должно быть. Еще В. И. Ленин говорил, что люди, строящие новое общество, сами изменяются в процессе этого созидания. А тут молодежь в упорном труде рождает новый город, мощный промышленный комплекс. И безусловно, в процессе этой борьбы за новую жизнь сознание молодых людей претерпевает немалые изменения: расширяется кругозор, развиваются способности, совершенствуется мышление, закаляется воля.

Этот процесс ускоряется и за счет того, что на КамАЗе, как и на всякой другой стройке, происходит естественный отбор. Поначалу отсев был велик. Приезжали в Набережные Челны люди, и ровно столько же уезжало обратно, нанося огромный и материальный и моральный ущерб строительству. Сейчас положение изменилось. Приезжает много, уезжают немногие. И не потому, что стало гораздо легче. Конечно, строительство стабилизировалось, какие-то трудности остались позади, но основные — главные, на чем человек проверяет силу воли и утверждает себя как личность, никуда не делись. Они есть и будут, пока существует стройка. А вот коллектив здесь сплотился и окреп. И этот коллектив приостановил процесс отсева. Каждого вновь приехавшего теперь стараются окружить заботой, поддержать морально.

— Я не знаю, что бы со мной было... — говорила Лиля Максимова, та самая, что была ведущей на есенинском вечере. — Наверное, через несколько дней уехала бы обратно, не окажись рядом надежных товарищей. Они-то и помогли мне в трудную минуту поверить в себя.

Характеры куются в труде

После отъезда поезда дружбы опять загудела, заспорила молодежь в горкоме — началась подготовка к диспуту. Тему для него комсомольцы избрали наболевшую: каким должен быть твой современник — строитель КамАЗа?

Сам факт, что молодые строители поставили перед собой именно этот вопрос, а не какой-либо иной, попроще и полегче, говорит не только о значении, которое они сами придают стройке, но в первую очередь о тех больших требованиях, которые предъявляют к себе.

Есть ли у тебя рабочая совесть? Добрая и ложная слава? Как проявляется героизм в наши дни? Красивое и доброе в человеке? Это только некоторые из тех многочисленных вопросов, по которым еще до диспута спорили молодые строители.

Приходили комсомольцы и в горком с этими вопросами. Смотришь, соберутся человека три и доказывают каждый свое.

— А ты как думаешь, Юра? — Это обратились уже к Юре Кедрину, работнику обкома комсомола, он в то время часто приезжал в горком, и многие привыкли к нему как к своему. Глядишь, и Юру втянули в спор.

Однажды заспорили о славе подлинной и ложной. Кто-то спросил:

— Ну а кому она нужна, мнимая-то слава?

Все задумались.

— Да хотя бы некоторым нашим маякам, — горячо заговорил пышноволосый молодой человек, — бригадирам комсомольско-молодежных бригад: Филяшиной, Вдовиной, Мавликову.

— Почему же ты их в этом заподозрил? — недоуменно спросили у него.

— А как же?.. Филяшина в бригаде бучу подняла для чего, думаете? Всех девчат против прежнего бригадира восстановила, чтобы потом ее место занять. Теперь Вдовина. Не за здорово живешь она из своей бригады к гэпэтэушникам ушла...

Парень говорил зло, торопливо, словно боялся, что сейчас перебьют, зашумят на него и не дадут досказать, видимо, наболевшее. Но его молча дослушали. Парень остыл, успокоился и, приняв молчание за солидарность, бодро улыбнулся.

— Ну видите... — А на его самодовольном лице читалось: «Прав же я».

— Ничего мы, Ренат, не видим, — спокойно осадил его сосед, невысокого роста плотный молодой человек лет двадцати шести. Черные гладкие волосы у висков уже поредели. В больших, глубоко посаженных глазах светилась насмешинка. — Всех ты под одну гребенку стрижешь? А все потому, что близорук ты, приятель. Давай по порядку разбираться. Ты вот о Филяшиной сказал. Галю я хорошо знаю. Ничего, кроме хорошего, о ней сказать не могу.

И он стал рассказывать о Гале.

Город на Каме не первая новостройка в жизни Галины Филяшиной. Она работала на Ангаре и Урале, в Закавказье и Средней Азии. А в 1970 году приехала в Набережные Челны и пошла работать штукатуром.

Есть такие люди, которым свойственно любую работу, какой бы

она ни была по значимости и сложности, выполнять быстро и хорошо. И это, видимо, уже в крови у человека: за какое бы дело он ни брался, а вложит в него свою душу, одухотворит любовью. Такие и других заражают своей одержимостью. И не дай бог, если на их пути встанет нерадивый, нерасторопный или лентяй. Не пощадят. Ради общего дела не пощадят. Так вот и с Галей случилось. Попала она в бригаду, которую возглавляла равнодушная, черствая женщина. Раствором вовремя девчат не обеспечит, кричит на них. Невзлюбили ее в бригаде, а вот к Гале сразу потянулись. Она утвердила свой авторитет отличной работой: оштукатурит стену, так не только глазом, на ощупь бугорочка не найдешь. А увидит, не ладится что-либо у соседки, подойдет, поможет. Или посоветует: «А ты вот так раствор клади. — Возьмет мастерок, покажет. — Так ловчее и ровнее получается». И ко всем она внимательна, хоть порой и резковата бывает.

Давно уже подмечено, что в коллективе человека не за чины, а за его полезность, за умелость, за знание дела почитают. Полюбили, видимо, за это девчата Галю и решили выбрать ее бригадиром.

— Так что, видишь, не ради личной славы отдает себя Галя работе. Сознание у нее другое, чем, скажем, у тебя. А то, что коллектив вознаградил ее за добрые дела славой, так это естественно. Я думаю, радует такое признание и Галину. И тоже не вижу в этом ничего плохого. Потому что человеку вообще свойственно стремление оставить добрую память о себе, добрый след в жизни.

Пышноволосый парень невозмутимо, даже снисходительно, с высоты своего роста посмотрел на говорившего.

— Ну а чем, скажи, своим личным ради общественного пожертвовала Филяшина?

— А ты о случае с «дикой дивизией» слышал?

Об этом как-то рассказывала сама Галя:

«Работали мы на отделке жилого дома. Девочки мои, конечно, в первый же день осмотрели все, что им предстоит сделать, прикинули и приблизительный срок себе назначили. Они у меня сознательные, понимают, что каждый дом, каждый объект на КамАЗе с нетерпением ждут все строители. Сдадут каменщики дом на полтора месяца раньше срока, да мы недельку другую нагоним — люди быстрее жилье получат. Мы-то знаем, какой это праздник для человека — новая квартира. Ну, определили срок — и работаем. Я слежу, чтобы фронт работ был обеспечен, чтобы раствор вовремя и качественный доставляли. И девочки мои стараются.

А в соседнем подъезде другая бригада работала. Иду я как-то мимо, дай, думаю, посмотрю, как у них дела двигаются. Захожу, а они собрались все в одной комнате, сидят ругаются. Кругом грязь, беспорядок, раствор валяется. Я прямо взбеленилась.

— Что вы тут устроили?! — кричу. — Где ваш бригадир?

Ну а они на меня:

— Ты, — говорят, — иди своими командуй, а на нас не ори. Мы завтра все уезжаем: платят здесь гроши, есть в столовке противно — готовят черт те как...

Девчонки все молоденькие — по семнадцати-двадцати лет. Только-только от маменькиного подола, жизни-то еще не нюхали. Жалко мне их стало.

Тут же разыскала начальника участка и привела его к ним.

— Отдайте, — говорю ему, — мне эту «дикую дивизию»!

— Помилуй, у тебя своя бригада есть.

— А я и с этой управлюсь, пока вы им хорошего бригадира подберете.

«Дикая дивизия» так с лица и слиняла. Испугались они, что их и вправду мне отдадут. А я на начальника наступаю.

— Это что же получается? — кричу уже на него. — Людям жить негде. Они каждый дом ждут, как майского дня. Мои девочки это понимают, не жалеют себя, а эти цацы расселись. Дальше своего носа ничего не видят. Их, понимаешь ли, в столовой не так кормят. Там, может, такие же уроды работают, тоже только о себе, а не о людях думают.

— Ладно, — согласился начальник. — Забирай.

Ну начала я приводить этих «диких» в человеческий вид. Мои девочки вначале на меня обиделись, заревновали, но вскоре отошли, видимо поняли меня. «Ты только смотри от нас к ним не уходи», — просили. Потом даже помогать стали. Смотрю, девчушки мои, «дикие»-то, преображаться начали, стараются. Только толк от этого старания пока небольшой — сноровка, опыт не те еще. Ну да лишь бы, думаю, желание было, а мастерство придет. Так незаметно и месяц к концу подошел. Наряды нужно закрывать. Мои-то опять много заработали, а у «диких» на хлеб разве с трудом наскребется. Тогда я схитрила. Закрыла своим девчонкам наряды пониже, а тем, естественно, прибавила. И стыдно мне было, и больно, а пошла все же на это. Не для себя, а ради девчат тех пошла. Может, думаю, этот момент в их жизни решающим окажется. Сама молчу, никому ни слова. Пришел день зарплаты, мои «дикие» прямо остолбенели от удивления и радости. А работать еще лучше стали, и ни одна уже не заикалась об отъезде домой.

Подошло время опять наряды закрывать, о «диких» я уже не беспокоилась, самостоятельными они совсем стали. Собрала я две бригады вместе и рассказала им все.

— Пришел, — говорю, — девоньки, черед долг отдавать.

Так все по-доброму и уладили. А когда прощалась я со своей «дикой дивизией» — слез было...»

Галя рассказывала об этом случае, а сама как бы заново все переживала. Временами глаза ее влажнели, резковатый голос вдруг начинал садиться.

О случае с «дикой дивизией» знал и Ренат, и все же он — то ли из чувства ложного самолюбия или просто из упрямства — не хотел сдаваться.

— Подумаешь, «дикая дивизия»! — сказал он вызывающе.

С ним уже не спорили. Мне показалось, что всем сразу стало стыдно. Ведь настолько было ясно, что, думай Галя о своей славе, прошла бы она мимо этой «дикой дивизии». И не чувство тщеславия руководило и руководит поступками Галины Филяшиной, а осмысленная ответственность, высокое чувство долга перед людьми, перед Родиной, перед самой собой.

Ошибся Ренат, говоря и о Жене Вдовиной.

Четыре года назад она приехала по комсомольской путевке на строительство завода в Тольятти. А с сентября семидесятого, что называется с первого колышка, работает на КамАЗе. Уже через три месяца Женю назначили бригадиром. Не за какие-то особые организаторские способности, а чисто из деловых соображений — как

самого добросовестного и квалифицированного работника. В то время никто и не предполагал, что эта маленькая, хрупкая и тихая девушка сможет не только руководить комсомольско-молодежной бригадой, но и в короткий срок вывести ее в число передовых. И когда Женя, отказавшись от приличной зарплаты и от бригады, которую она вывела в передовые, ушла к совсем еще беспомощным выпускницам ГПТУ, это никого не удивило, потому что ее уже знали как человека большой души.

Иногда, конечно, за одинаковыми с виду явлениями скрывается разная сущность. Бывает и так, что стремление сделать что-то полезное для общества из смысла жизни превращается лишь в цель, которая сводится только к погоне за славой. Вот тогда вдруг радость славы затмевает у человека все другие чувства — удовлетворение от своего труда, заботу о людях...

На строительстве больничного городка одна из бригад завершила кладку корпуса раньше срока и сэкономила при этом немалые народные деньги. Прекрасно, скажете вы. Но все это сэкономлено... за счет качества. Только на «удовлетворительно» оценила приемочная комиссия работу бригады. Отделочники потом, чтобы выправить огрехи каменщиков, потеряли на этом корпусе лишних полтора месяца.

И факт этот поворачивается уже несколькими гранями. Ради славы, собственного престижа ребята работали наспех, боролись не за качество, за количество. Это с одной стороны. С другой — надо говорить о рабочей совести как самого бригадира, так и всей бригады. Ведь знали же они, что отделочникам после них тяжело придется. Потеряют они много сил и времени, пока всю их корявую кладку заштукатурят. Знали, но, видимо, их это не волновало.

Слава таких бригад продолжает пока шагать в цифрах по сводкам и отчетам, а люди выносят им свой приговор.

Каков он, строитель КамАЗа?

О доброй и ложной славе человека, о зазнайстве и тщеславии говорила молодежь и на диспуте, который состоялся вечером после работы в конференц-зале горкома партии.

Помню, накануне в горкоме комсомола шел разговор о том, как подготовить зал. Ничего особого вроде бы не требовалось. Художник на куске белого или красного полотна напишет тему диспута, а вопросы — каждый на отдельном листе ватмана с какими-либо забавными иллюстрациями. На деле все получилось «проще и оригинальнее». И тема и вопросы уместились на одном листе бумаги, напоминавшем обыкновенное объявление. Можно было, конечно, и его приколоть у входа в конференц-зал, все, глядишь, как-то бы обозначили мероприятие, но и об этом забыли, так и провалялось оно на столе.

Молодые строители пришли на диспут задолго до начала. Все были празднично одеты, и чувствовалось, с какой тщательностью готовились они к этому событию. Ребята группами ходили по коридору, возбужденно беседуя.

Ровно в семь прошли в зал. Диспут начался только минут через

пятнадцать. Ребята за это время как-то немного размагнитились, поэтому, когда на эстраду вышли ведущие, показалось, что собравшиеся в зале уже сидели с настроением зрителей.

Все сразу оживились, когда попросила слова Галина Филяшина.

Галина на КамАЗе считается хорошим оратором. «Она и за словом в карман не полезет, и правду не побоится сказать», — говорят о ней. Но главное — выступления ее всегда содержательны, злободневны, она и о недостатках говорит, и о том, как от них избавиться.

И вот Галя, которая не пасует даже перед Батенчуком, заместителем начальника строительства, здесь в первый момент растерялась. Ведь тут она, бригадир передовой комсомольско-молодежной бригады, должна рассказать своим товарищам, каким она представляет себе строителя КамАЗа. Ей он видится красивым и добрым, гордым и нетерпимым к нарушениям общественных интересов, непримиримым к несправедливости, тунеядству, нечестности, карьеризму, стяжательству. Он выступает во весь голос против плохой работы соседа, против безынициативности и равнодушия. Иначе какой смысл жить, если ни за что не волноваться, не бороться? Не ждать же, что кто-то придет, взмахнет волшебной палочкой — и все станут хорошими. За человека надо бороться неустанно и повседневно.

Галя обводит глазами зал, словно ищет знакомые лица, и начинает низким голосом:

— Сегодня говорят: КамАЗ — это Магнитка, потому что КамАЗ — самая большая новостройка девятой пятилетки. Я много читала о строителях Магнитки. Значимость и масштабы ее меня поражали. Поражали мужество и героизм наших отцов.

Читая газеты, я искала самую большую в стране стройку и ехала на нее с путевкой комсомола. Достраивала одну, ехала на другую. Я все боялась опоздать, как опоздала родиться к первым домнам Магнитки, к первым палаткам Комсомольска-на-Амуре. Вот и сюда, на КамАЗ, я неслась сломя голову, как бы и здесь без меня не произошло что-то главное.

Мы с вами должны гордиться, что своими руками возводим этот гигант. Нам доверили его строить, значит, в нас верят. И доверие это обязывает нас предъявлять к себе очень высокие требования. Мы должны смотреть на это так: мы строим КамАЗ — самый мощный в Европе промышленный комплекс, а КамАЗ «строит» человека, помогает нам совершенствовать самих себя. Сегодня мы и собрались, чтобы поговорить о нас самих, о нашем современнике, о том, как помочь строителю КамАЗа сформировать в себе черты человека коммунистического общества.

Галя как бы дала общее направление диспуту. А потом заговорила о трудовой славе человека. Ее слова, что слава некоторых бригадиров на костылях ходит, развеселили аудиторию. Оживились ребята, загудели, заволновались.

Люди с чистой совестью

Когда заговорили о бригадах, добившихся славы нелегким трудом, а потом так обидно потерявшим ее, к эстраде вышел худощавый стройный молодой человек в спортивном свитере. Это был Виктор

Шатунов — бригадир комсомольско-молодежной бригады бетонщиков треста «Спецстрой».

Виктор Шатунов приехал на КамАЗ одним из первых, еще в 1969 году. До этого он жил в Удмуртии, работал слесарем на машиностроительном заводе.

Помню, я спросила у Виктора, сколько у него человек в бригаде.

— Если с Александром Матросовым, то двенадцать. — И он рассказал, как они решили зачислить почетным членом бригады Александра Матросова. — Только вот небольшая неувязка с бухгалтерией иногда у нас получается. У всех есть табельный номер, а у Матросова нет. Приходим получать зарплату, — Матросов у нас по третьему разряду числится, его деньги мы в фонд мира переводим, — и вдруг спрашивают: «Матросов, где Матросов? Какой табельный номер у тебя?» Мы уж им объясняем, объясняем — забывают...

В Набережных Челнах Виктор решил обосноваться навсегда. Здесь он получил квартиру, привез мать — Татьяну Георгиевну.

Татьяна Георгиевна поначалу не хотела с насиженных мест уезжать, но Виктор убедил ее.

— Куда же, — говорил он ей, — я из Набережных Челнов теперь поеду, ведь своими руками город строю. Хожу по дорогам и говорю себе — это мои дороги. Будут у меня дети, подрастут, я и им скажу: «Этот город построил я, значит, он ваш теперь».

Виктор повел разговор о рабочей совести. Чувствовалось и по количеству выступающих, и по той страстности, с которой обсуждали этот вопрос, что говорит молодежь на эту тему часто. Говорит и будет говорить, пока всем и каждому в отдельности не привьют сознательное отношение к труду, к государственному добру.

Особенно запомнилось выступление одного парня. Он сидел в задних рядах, говорил с места, и, видимо, поэтому его вначале даже не особенно и слушали. Но потом в зале установилась полнейшая тишина, и каждое его слово отчетливо легло в памяти.

— Я тоже хочу рассказать о своих ребятах, о рабочей их совести. Случилось это в первый день после Нового года. Многие ребята уехали на праздник домой. Те, кто поблизости живет, а таких на стройке много. Уехала часть ребят и из нашей бригады. И вот как назло погода испортилась: ни самолеты не летают, ни машины не идут. Вот и пришлось выйти на работу не полной бригадой, а вшестером. Ставим опалубку, а тут бетон привезли. Мы приняли две машины. Не успели уложить этот бетон, еще подвезли, просят: «Примите, ребятки, не пропадать же добру». Оказывается, людей не хватало и в других бригадах. Приняли мы. Сняли тужурки — и давай работать. Смотрим, а к нам уже целая очередь самосвалов выстроилась, и шоферы просят — выручайте. Поняли мы тогда, что в других бригадах бетон не принимают, боятся животы надорвать. А бетон, черт с ним, пусть пропадает. Не свой — не жалко. Разозлились мы тогда и приняли еще больше двух десятков машин. Решили: не успеем сами уложить, сменщикам оставим. А сменщиков-то только двое пришло. Делать нечего, не оставлять же бетон на дороге: к утру он пропадет. Решили работать вторую смену. Никто не спорил: надо — значит надо. А вот один нашелся — Вася, фамилию называть не буду, может, еще человеком станет. «Что мне, больше всех надо? — заявил он. — Подумаешь, бетон пропадет — жалеют. Вы себя пожалейте, бетон-то он каменный, а мы живые».

Послали мы Васю с его «философией» подальше, а сами снова за работу. Управились уже в первом часу ночи. Возвращались в город пешком, десять километров оттопали — это после двух смен работы. И никто не ныл. Представляете: мы ведь тогда три нормы сработали!

Выступающий — Федор Исламов, комсорг бригады, о которой он рассказывал и которой в тот день пришлось ему руководить. Ему только-только исполнилось двадцать два, но уже кандидат в члены КПСС. Приехал Федор с Урала. После армии погостил дома несколько дней — и сразу сюда, в Набережные Челны. И вот третий год на стройке. Вначале работал бетонщиком, сейчас — монтер подкранных путей. Он руководитель одной из групп боевой комсомольской дружины.

Здесь на диспуте мне вдруг невольно вспомнились разговоры о том, что в Набережные Челны едут в основном неудачники: не задалась у человека жизнь на месте, пустился за счастьем, к почти необжитым камским берегам. Неверно это. И Федора Исламова, и Галину Филяшину, и Виктора Шатунова, и Юрия Петрушина, да и многих, многих других, с кем мне довелось встретиться, повлекло на КамАЗ стремление быть полезным людям, созидать для общества.

Но я снова возвращаюсь к диспуту. Диспут здесь название, конечно, условное, потому что само это понятие предполагает спор. А тут, в общем-то, не столько спорили, сколько рассуждали о себе и своих товарищах. И разговор шел глубокий, осмысленный, все время соприкасающийся с производственными делами.

— Сейчас у нас почти на каждой строительной площадке висят лозунги: «Вдвоем трудиться за троих, выполнить пятилетку за три года», — говорил Анатолий Васильев, рабочий из Автозаводстроя. — Иду я как-то и вижу: сидят под этим лозунгом двое и курят. Обратно иду — все курят. Невольно подумалось: так и есть, двое работают за троих, а у третьих бессрочный перекур. Кто-нибудь с такими толковал о рабочей совести?

Да, не все еще гладко у строителй КамАЗа.

Трудность забудется, чудо свершится

Мы живем в эпоху становления нового человека. Процесс этот особенно ощутим на комсомольско-молодежных стройках, где происходит открытое столкновение различных идеалов, взглядов на жизнь.

Конечно, большинству не надо доказывать, что смысл жизни человека состоит и в содействии общественному прогрессу. Но порой и здесь можно встретить своего рода скептиков, не стремящихся проникнуть в глубину действительности и считающих, что вообще никакого смысла жизни нет. Скептиков переубеждать трудно. Тут голыми рассуждениями ничего не добьешься, нужны факты из жизни. К счастью, скептиков меньшинство. Есть тут и просто люди, не нашедшие себя в жизни. Они как невспаханная целина.

На КамАЗе борьба за нового человека, за нашего передового

современника, который бы гармонически сочетал в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство, развернулась в полную силу. Нашла она свое отражение и в диспуте.

На первый взгляд может даже показаться, что говорит молодежь все о производстве да о производстве, а где же сам человек, его духовная красота?

Да, действительно, молодые строители очень много места посвятили трудовой проблеме, и, думается, это вполне закономерно, ибо труд и прекрасное в жизни человека взаимообусловлены. Поэтому, когда Лиля Максимова заговорила на диспуте о добром и красивом в человеке, о том, что формирует эти черты, как они проявляются в жизни, она невольно увязала эти понятия с трудовой деятельностью людей:

— Я всегда с какой-то внутренней завистью читала о комсомольцах тридцатых годов, о бессмертном «Колумбе», на котором приплыли первые смельчаки строить в приамурской тайге город Комсомольск. Мне они казались необыкновенными. Самыми добрыми и красивыми людьми, потому что они в невероятных условиях творили будущее. Как мне хотелось понять, почувствовать этих людей. Я думала, что мы — теперешняя молодежь — уже не способны на такую самоотверженность.

Когда я узнала, что КамАЗ — самая большая ударная стройка девятой пятилетки, меня потянуло сюда. Мне захотелось испытать себя. На КамАЗе я увидела, как много у нас людей, богатых душой и чистых помыслами. И трудности им никакие не страшны. Это достойные продолжатели дела своих отцов и дедов — строителей Комсомольска-на-Амуре, легендарной Магнитки... И тут нельзя не вспомнить слова, с которыми к нам обратились прославленные ветераны труда Алексей Стаханов, Иван Гудов, Петр Кривонос, Мария Виноградова и Александр Бусыгин. «У каждого поколения,— писали они в своем обращении, — есть своя Магнитка. Мы штурмовали ее на своих стройках, в шахтерских забоях, в заводских цехах, на железнодорожных магистралях. И мы счастливы, мы горды тем, что в истории Родины есть страницы, написанные рабочим разумом, нашим самоотверженным трудом.

И все-таки мы завидуем вам. В ваших руках могучая современная техника, о которой мы когда-то и мечтать не могли и которую страна могла дать только теперь, в эпоху научно-технической революции. У вас, молодых рабочих семидесятых годов, гораздо больше возможностей для проявления себя в труде, чем было у нас в тридцатые годы. И ведь не зря говорят, что кому многое дано, с того много и спрашивается». Нам, друзья, дано очень многое.

Герои КамАЗа

Около четырех часов шел этот пристрастный разговор ребят. Расходились неохотно. И даже по дороге домой продолжали рассуждать. Говорили и на следующий день в бригадах, на строительных площадках. Здесь можно было высказаться всем, да и среди своих ребята чувствовали себя как-то проще, а на вечере присутствовали репортеры и операторы с Казанского радио и телевидения.

Дня через два встретились мы с Юрой Петрушиным, руководи-

телем штаба Всесоюзной ударной комсомольской стройки Камского автозавода. Вспомнили о диспуте.

— Хотите мое мнение о героях наших дней? — спросил он.

— Разумеется.

— Мне кажется, — начал Юра, — очень точно сказал об этом Юлиус Фучик: «Герой — это человек, который в решительный момент делает то, что нужно делать в интересах общества». Мы вот готовились к 50-летию Союза ССР. Молодые строители выступили с новыми патриотическими починами. А комсомольско-молодежные бригады Гидростроя стали инициаторами соревнования в честь юбилея за право приема и передачи эстафеты Всесоюзных ударных комсомольских строек страны. В начале прошлого года бригада Геннадия Коржавина заявила: «50-летию СССР — 50 ударных недель!». Вы знаете, как работали коржавинцы?! Сорокаградусные морозы, а они под открытым небом монтировали металлоконструкции литейного завода. А ведь их никто в такие морозы работать не заставлял. Все три месяца первого квартала плановые задания они выполняли на 193 процента и с высоким качеством.

Или взять бригаду Филяшиной... Вы уже о ней много знаете. Но далеко не все. — И Юра рассказал о тридцати четырех девушках, которые совершили настоящий подвиг.

Однажды в городе создалось критическое положение с водоснабжением. Выход был один: в кратчайший срок ввести в строй новый резервуар водозаборного сооружения. Кратчайший срок — это считанные дни, максимум неделя. Бригадиры-отделочники пожимали плечами. «Минимум» десять дней, раньше не управимся», — говорили они.

Тогда сам Батенчук пришел в бригаду Филяшиной:

— Выручайте, девчата, вся надежда только на вас.

Тридцать четыре девушки работали трое суток в резервуаре под землей. От застоявшегося воздуха кружилась голова, пары раствора жидкого стекла воспаляли глаза. Бригада закончила работу на четвертые сутки в четыре часа утра.

— Вот они, настоящие герои, точнее, героини.

Юра замолчал. Может быть, и он думал о том, о чем думала я, услышав его рассказ о девчатах бригады Филяшиной. В самом деле, какой энтузиазм! Какой исключительный духовный подъем от значимости выполненного долга! И поэтому недаром наши знаменитые ветераны труда в своем обращении к молодым строителям КамАЗа писали:

«Приятно и радостно сознавать, что в ваших делах продолжают развиваться замечательные традиции нашего общества, что эстафета трудовых свершений, которую достойно несло наше поколение — ваши деды и отцы, — теперь переходит в надежные руки энергичных, хорошо образованных, вооруженных самой передовой техникой строителей семидесятых годов. Мы видим в вас, дорогие друзья, свою кипучую молодость, мы слышим в ваших девизах продолжение дел героических первых пятилеток. Жизнь наша дает все более полный простор для расцвета рабочих талантов, крепнет поступь бойцов трудового фронта, все задорней звучат призывные марши ударных бригад, полные оптимизма и радостной веры в неисчерпаемые силы рабочего класса».

■

Валентина ТЕРСКАЯ

СКВОЗЬ ПЕСЕННОЕ БЕЗДОРОЖЬЕ

Во дворе, где каждый вечер...

Наш двор как двор. Таких не счесть. Днем он безраздельно принадлежит детям. Они резвятся здесь под зорким наблюдением бабушек и молодых мам. Слышится веселый и беззаботный смех. Но вот начинает смеркаться, и появляются иные «хозяева» двора — двое длинноволосых гитаристов. Вскоре их окружают сверстники такого же «паспортного» возраста, и начинается концерт.

Под отчаянный «бой» гитар юноши и девушки поют «свои» песни. Чего только нет в их репертуаре!

Подобные «произведения», к сожалению, поются не только во дворах и подъездах. Их поют и на вечеринках, горланят в тишине ночных улиц. Нередко кое-что из «дворового» репертуара попадает и на туристическую тропу. Наивно было бы усматривать в этом тоску юных путешественников по родному дому. Просто они поют то, что знают. Хранись в их музыкальной памяти другие произведения, более подходящие к данному моменту, они, безусловно, предпочли бы их.

Многие песни, которые сегодня поет молодежь, сочинены непрофессионалами. Это и понятно: дефицит порождает самодеятельность. Было бы, однако, неправильно напрочь зачеркивать все сделанное этими авторами. Они руководствуются лучшими побуждениями, и некоторые их произведения действительно подкупают своей искренностью и яркостью образов. Например, «Серега Санин» журналиста Юрия Визбора, «Зимняя сказка» физика Сергея Крылова, «Червона рута» студента Владимира Ивасюка, «Тебе половину» тоже студента Олега Иванова. Другие же, как наросты и бурьян, засоряют и где-то даже ком-

прометируют самодеятельную песню. Набор трескучих фраз, за которыми не видно содержания и образов, подчас выдается за песню. Внешне эффектные поделки с обедненной музыкальной культурой создают в подражание западным образцам и недостаточно грамотные любители. Случается, что такие песни приобретают популярность среди молодежи. Оказавшись живучими как всякие сорняки, они оттесняют настоящие песни.

В чем же дело? Очевидно, некоторые композиторы изготавливают для молодежи песни методом холодной штамповки, явно рассчитывая на невзыскательность неискушенной юности. Но кого могут ввести в заблуждение такие ремесленнические опусы?

Их, что называется, надолго не положишь в рюкзак. Ведь нельзя, например, считать, что песня Ю. Зарицкого, в которой есть такие слова:

По горам ты топай, топай,
За веревочку держись!
Концентрат перловый лопай —
Вот такая наша жизнь... —

может чем-то обогатить нашу молодежь. А тем не менее такие песни, как эта о «перловом концентрате», включаются в сборники и даже передаются по радио...

Ни для кого не секрет, что литературная основа песни должна быть добротной, должна передавать мысли и чувства поэта, глубину переживаний, личное отношение к событиям и времени. В свое время Пушкин заметил: «Как стих без мысли в песне модной, дорога зимняя гладка». Вот еще когда поэту, у которого каждое слово, каждая строка несет мысль, претила никчемность сентиментальщины, вызывавшей восторг кисейных барышень.

Песни, которые создавали народ и талантливые поэты, всегда несли и несут большие мысли и глубокое содержание. Именно потому лучшие из них неподвластны времени. Символами революционной борьбы стали «Варшавянка», «Беснуйтесь, тираны», «Смело, товарищи, в ногу!», «Марсельеза» («Отречемся от старого мира...»), «Замучен тяжелой неволей...».

Много замечательных песен осталось от гражданской войны. Все они возвращают нас к далеким героическим событиям, ставшим теперь историей.

Сколько лет прошло с того времени, когда наши отцы и деды шли в бой, чтобы отстоять правое дело, а память сердца и поныне хранит их имена. Сергей Лазо, Николай Щорс, Чапаев, Котовский и многие безымянные герои воспеты в песнях, которые просты и мудры, как судьба этих солдат революции. Произведения, воспевающие безграничную любовь к Родине, веру в нее, живут и будут жить в веках. Как откровение прозвучало однажды на концерте «Смело, товарищи, в ногу!» в исполнении молодого певца В. Макарова. Он пришел на эстраду с гражданской песней, вдохнув в нее высокий пафос, пламенность, увлеченность современного дня. Его пафос не был наигранным, а родился от собственных размышлений и переживаний. И именно такое искреннее волнение передавалось слушателям. Артист еще раз продемонстрировал прекрасное качество искусства, которое позволяет художникам снова и снова обращаться к вечным темам, каждый раз обновляя и одухотворяя их.

С новой силой и страстью зазвучал в наши дни «Орленок» в исполнении Елены Камбуровой. В мягкой и скорбной манере подано начало песни — «в живых я остался один...» Горе, хотя и сглаженное временем, чувствуется во всей музыкальной новелле. В последующих строках звучат резкие ноты, ритм становится суровым — это ритм борьбы. Всего шестнадцать лет герою песни, по годам он еще совсем мальчишка, но на деле настоящий солдат. Актриса поет это произведение строго, мужественно, сдержанно.

Песни, как и люди, имеют свою судьбу. Таким, как «Дальневосточная партизанская», «Тачанка», «Марш танкистов», «Авиамарш», «Песня о краснодонцах», уготована долгая и прекрасная жизнь. Это своеобразные памятники свободе, мужеству, верности и смелости. В этих песнях увековечены исторические события, которые никогда не изгладятся в памяти людей, ратные и трудовые подвиги во славу Родины и ее могущества.

...Вихрастая, задиристая, в блузе и брюках стоит на сцене Татьяна Гречко. Она поет «Комсомольскую песню» Соловьева-Седого, «Бандьеру россу». Звонкий мальчишеский голос несется в зал. И кажется, ожили Гаврош и «Красные дьяволята». Кажется, что эта девчонка с гитарой стоит не на сцене, а поднялась на баррикаду и в руках у нее не гитара, а оружие. Глаза горят. Она вся в песне, она зовет на подвиг, на борьбу.

То, что Гречко выступает с гитарой — самым популярным сейчас музыкальным инструментом — сближает ее с молодежью. «Песня о краснодонцах» и «Молодая гвардия» покоряют зал, люди горячо откликаются на них. После таких песен, пронизанных настоящей романтикой, пробуждается жажда подвига, стремление быть похожим на тех, о ком сложены эти песни.

Пример Е. Камбуровой, Т. Гречко и других молодых певцов, которые обращают сегодня свое внимание на «старые» песни, заслуживает, по-моему, всяческого поощрения. Своим талантом, свежестью исполнения они как бы заново открывают их, возвращают им прежнюю популярность. Надо поддерживать интерес певцов к песням революционной тематики, их стремление пропагандировать такие произведения, потому что знать и петь эти песни — значит еще сильнее чувствовать и любить свою Родину и свой народ. Песни наших отцов и дедов помогают и современной молодежи решать важные вопросы, побуждают задумываться над смыслом жизни.

В народе говорят: разделенное горе — полгоря, разделенная радость — две радости. Вот так и песня. Когда случается горе, песня помогает перенести его, когда радость — песня словно придает крылья... Она воспитывает чуткость, протягивает прочные нити взаимного понимания. Вспомните, какое, к примеру, важное значение имел в свое время «Гимн демократической молодежи мира»!

Нет, недаром считается, что «песенка — лесенка в сердце другое». Многому могут научить, многое могут рассказать и подсказать лирические и героические песни прошлого и настоящего. С теми песнями, что родились у нас в суровые годы гражданской войны, шли потом в сражение бойцы республиканской Испании, партизаны-антифашисты. И сегодня они звучат на многих континентах...

А как же те, «дворовые»? Чему они учат, к чему призывают, чему служат, кому помогают?

Песня не пустая забава, которой можно скоротать досуг и скрасить времяпрепровождение. Ее по праву считают одним из могучих средств эстетического и нравственного воспитания. Такие высокие понятия, как доброта, чуткость, отзывчивость, щедрость, входят в душу человека и через песню. Сначала через ту колыбельную, которую «пела нам мать», а позже и через те песни, которые мы поем сами. Но если в песне никчемные слова и пошленький мотивчик — чему она научит, чем обогатит?

Сейчас молодежь тянется ко всему новому, хочет угнаться за модой. В этом нет ничего противоестественного и предосудительного. Плохо лишь то, что в таком стремлении к новизне от юношей и девушек ускользает главное — они не могут порой отличить настоящее от ложного, истинное от поддельного. Относится это и к песням.

Коверкая еще не сформировавшиеся характеры, некоторые «новинки» создают превратное представление о благородстве, героизме и дружбе, портят эстетический вкус.

Идеология мещанина, идеология буржуа стремится любыми путями, даже через песни, проникнуть в души, заронить сомнение, неверие, пробудить низменные инстинкты, опустошить. Для того чтобы полностью сменился «дворовый» репертуар наших ребят, чтобы они не засиживались до глубокой ночи, слушая бешеную какофонию модерновой музыки, надо, чтобы композиторы и поэты прислушались к тому, что делается сегодня во дворах. Пусть эти «дворовые» и магнитофонные песни прозвучат им горьким упреком за то, что у нас еще мало таких массовых молодежных песен, которые юноши и девушки признали бы насовсем своими.

Что-то теряет, что-то находит...

«Бьется в тесной печурке огонь...» А вокруг солдаты. Они тихонько напевают под баян или гитару «Землянку» — близкую, понятную и дорогую каждому из них. В ней звучали тоска по родному дому и вера в негасимую любовь близких. От этой песни теплели глаза и разглаживались на лицах суровые складки.

...Прошли годы. А «Землянка» и другие песни, созданные в годы Великой Отечественной войны, звучат и поныне, по-прежнему волнуют нас. «Соловьи», «Вечер на рейде» В. Соловьева-Седого, «Заветный камень» Б. Мокроусова, «В лесу прифронтовом» М. Блантера и многие другие и сегодня частые гости на наших концертных площадках. И встреча с этими песнями не проходит бесследно. Кто-то вспомнит суровые годы войны и погибших товарищей, кто-то помянет отца или деда, отдавших жизнь за родную землю.

Но бывает порой и так: ведущий объявляет исполнение знакомой и милой всем песни. Люди встречают артиста благодарными аплодисментами, но уже первые аккорды повергают в не-

доумение и заставляют разочароваться. Дорогая и памятная всем песня искажена так, что не навевает никаких воспоминаний, а исполнение только коробит. Оказывается, ее «осовременили». Сделали это бездумно, безжалостно, лишь бы не отстать от так называемой моды.

Что ж, жизнь всегда побуждает композиторов и музыкантов создавать и находить какие-то новые ритмы. Эта же самая жизнь подготавливает слушателей к восприятию и пониманию тех или иных ритмов. Естественно, что сегодняшние условия благоприятствуют своеобразному музыкальному явлению, которое выражается в стремлении по-своему интерпретировать, аранжировать заново популярные советские песни прошлых лет, русские народные песни и старинные романсы. Мы знаем, что интерпретировать ту или иную песню — это значит воплотить ее содержание и характер в свежих выразительных средствах, показать не открытые в ней доселе глубины.

Подобный творческий интерес не является чем-то необычным. История классики знает много примеров, когда великие композиторы и исполнители отдавали свой талант и мастерство аранжировкам народной музыки.

Один и тот же мелодический оборот допускает разнообразную интерпретацию, и это дает возможность показывать его в песне в различной гармонической окраске. Собственно, так и в устной речи, где все зависит от того, какое слово выделишь интонационно, где сделаешь паузу. В умении правильно владеть голосом, выделять в речи главное и состоит актерское мастерство. Бывает, что певец или музыкант однажды исполняет произведение так, как потом это ему уж никогда не удается.

Еще большей неповторимостью обладает народная песня — неотрывная от национального характера, быта и природы. Она живет с далеких времен, запав в душу, как та колыбельная, которую когда-то напевала мать...

Есть у Пушкина проникновенные стихи, обращенные к няне. Он написал их уже зрелым человеком. Жизнь обогатила его многими впечатлениями, но по-прежнему остались милы и дороги сердцу те песни, которые когда-то услышал в детстве. «Спой мне песню, как девица за водой по утру шла». Он и теперь хочет услышать их из уст няни, хочет, чтобы они прозвучали только так, как тогда, впервые...

К интерпретации народной песни надо подходить крайне осторожно и бережно, сохраняя существо ее интонации, не отрывать от родной почвы, где она родилась и бытовала. А вот с чем приходится сталкиваться иной раз. Популярные русские песни: «Комара муха любила», «Вдоль по улице метелица метет», «Зачем тебя я, милый мой, узнала» — оказались доведенными до неузнаваемости («усовершенствование» это на совести ансамблей «Дружба», «Голубые гитары» и «Веселые ребята»).

Настоящие песни чаще всего входят в нашу жизнь постепенно. Чем больше слушаешь их, тем сильнее они захватывают, тем острее ощущаешь их красоту и глубину.

И время не старит такие песни. Настроение, с которым были написаны «Степь да степь кругом», «Меж высоких хлебов», «Коробейники», «Калинка» и многие другие, продолжает в них жить. Их искренность, прозрачность и душевность притягивают и современного человека.

К сожалению, не всегда эти песни попадают в чуткие, бережные и надежные руки. Сейчас старинные русские народные песни, романсы и советские песни 30—40-х годов в большой моде.

Их поют на эстраде абсолютно все, поют как только могут, часто в той самой недоброкачественной обработке, которая сделана с претензией на последнюю моду. Знакомые всем песни стараются преподнести непременно как можно эффектней, порой с ложным пафосом, с чрезмерной жестикуляцией. Настроение и образность песни, которые призваны воздействовать на эмоции слушателей, подменяют иллюстративностью, наивно полагая, что именно она может кого-то затронуть по-настоящему. Артист словно не доверяет своим слушателям, считает, что сами они, без его «выразительных» жестов и мимики, не в состоянии понять, о чем песня. А может быть, он интуитивно чувствует собственное бессилие захватить зал своим вокальным искусством?

Смотришь иной раз на такого исполнителя, который из кожи вон лезет, чтобы вызвать у зрителей интерес к себе и модернизированной песне, и становится грустно и обидно за судьбу драгоценных народных сокровищ.

Когда ансамбль «Дружба» поет известную всем песню о Стеньке Разине с каким-то цыганским надрывом, а потом изображает «выбрасывание» княжны «в набежавшую волну», это выглядит как пародия и оставляет на душе неприятный осадок. Такая же участь постигла песню волжских бурлаков «Эй, ухнем!», о которой Цезарь Кюи сказал, что «по силе музыкального вымысла она поспорит с самыми могучими мыслями хоть самого Бетховена». Она оказалась превращенной в некое подобие латиноамериканского пляса.

Вообще, надо сказать, у ансамбля «Дружба», хотя его состав и обновляется периодически, какая-то странная тенденция искажать русские песни и песни советские, ставшие классикой. Певцы, музыканты и, наконец, руководитель ансамбля А. Броневицкий с легкостью необыкновенной подгоняют под модерновый стиль близкие сердцу каждого произведения, будь то «Катюша», «Сама садик я садила», «Тачанка», «Распрягайте, хлопцы, коней» и т. д. Они сдабривают их крикливыми акцентами, интонациями, несвойственными русской речи, нагружают иллюстративностью, «удобряют» будоражащими, ничем не оправданными изломами ритма. От старых песен фактически остается только название — напрочь исчезают задушевность, мелодичность...

Подражая не лучшим западным образцам, ансамбль изо всех сил хочет быть модным. Он бездумно и безжалостно «бросает под откос» то, что дорого народу — его песни, которые создавались душой и сердцем. К этому нельзя относиться безучастно. Однако в Ленконцерте как-то уж очень благодушно и снисходительно взирают на все это и тем самым потакают ансамблю «Дружба» во всех его сомнительных новшествах.

Я привела в пример именно «Дружбу» лишь потому, что на этот ансамбль многие смотрят как на эталон, с него берут пример, ему подражают. Вот почему ответственность «Дружбы» больше какого-либо другого ансамбля и спрос с него больше, чем с какого-либо другого коллектива.

Когда наши родные русские мелодии поются зарубежными

певцами в сверхсвободной манере — нам это неприятно, нас это коробит. Например, югославская певица Радмила Караклаич превратила всем известный романс «Очи черные» в солянку из псевдоцыганских попурри, и это, право же, не привело в восторг наших слушателей. То же можно сказать и о Дж. Марьяновиче, перекроившем русскую песню в подобие ча-ча-ча.

Можно простить, когда иностранный певец плохо выговаривает русские слова. Вспомните, как вдохновенно пел Поль Робсон песню из «Тихого Дона» Дзержинского — о народе, который встает «за землю, за волю, за лучшую долю», и «Песню о Родине» Дунаевского, которая славит нашу страну, где каждому человеку дышится свободно и легко. Мы не замечали сильного акцента певца, захваченные горячим стремлением быть верным подлиннику. Певец показывал свое уважение к патриотическим чувствам советских людей.

Так почему же мы теперь так часто остаемся равнодушными (и даже принимаем за должное) намеренное искажение того, что нам дорого и для нас свято? Почему мы так спокойно слушаем или, немного повозмущавшись, продолжаем терпеть бесцеремонное «осовременивание» наших лучших песен нашими собственными молодежными ансамблями или молодыми популярными певцами? Почему подобные «упражнения» считаются у нас в порядке вещей? Самое печальное то, что у этого «течения», как у всякой моды, есть немало приверженцев, особенно среди молодежи. Они считают, что поскольку новое время требует новых песен, следовательно, необходимо обновление всей вообще образности. Старые, по их мнению, устарели и поэтому перестали быть интересными. Не понимают они, что важна не бездумная погоня за модой, а настоящий, подлинно творческий поиск нового, индивидуального. Непонимание этой простой истины ведет к тому, что и некоторые исполнители оказываются не очень требовательны к себе.

В. Трошин — популярный певец. Его мягкая и какая-то особая, задумчивая манера исполнения всегда находит отклик у слушателей. Но многие тем не менее предпочитают слушать его по радио или в записи на пластинках. Дело тут, очевидно, в том, что Трошин со сцены не очень «воспринимается». Многие песни он играет утрированно. Зачем, например, в песне Пляцковского на стихи Шаферана «Прости меня» изображать какую-то неслыханную трагедию, заламывать руки, закатывать глаза или закрывать их руками, раскачиваться из стороны в сторону, имитируя «безысходное горе и печаль»? Драматическое содержание песни артист должен раскрывать прежде всего вокальными средствами. А такое изображение, к которому в данном случае прибегает Трошин, оборачивается против самой песни, наполняя ее ложной значительностью. Зритель видит искусственность ситуации, видит, что артист хочет «показать» песню, видит, как он любуется собой.

Излишней и довольно неумелой «игрой в песню» страдает и Э. Горовец. Так, в итальянской «Юлии» изображение бесшабашного, развязного парня доведено до полного искажения образа. В самом деле, зачем весьма солидный (и по возрасту, и по внешности) человек вдруг начинает «резвиться» на манер «зеленой» молодежи? Право же, в такие минуты становится как-то неловко за него... Когда на певца смотрят сотни глаз, в его по-

ведении на сцене не должно быть лжи и подделки. Игра в искренность и темперамент, сердечность и простоту воздвигает глухой барьер холода между артистами и слушателями.

А исполнители из ансамбля «Дружба» решили, что песня «Шаланды, полные кефали» будет лучше усваиваться, если они еще прибегнут к помощи наглядных пособий. Для вящей убедительности одновременно со словами «в ответ достав «Казбека» пачку...» они показывают зрителям... этикетку «Казбека». Словно хотят сказать этим: не подумайте, что одессит Костя только пускал пыль в глаза, а на самом деле курил «Прибой». И дальше по ходу песни изображается все, о чем там говорится.

Надо всегда помнить, что подвижность не должна перерастать в суету, жест переходить в ужимки, мимика — в гримасы. А то ведь довольно часто к неоправданной иллюстративности прибегают М. Кодряну, М. Лукач и некоторые другие. Жаль, что почти нет режиссеров, которые могли бы подсказать, как надо вести себя на сцене.

Бывает, например, и так: исполняется интересная песня, зал внимательно слушает ее. Но вдруг артист снимает микрофон со штатива и начинает расхаживать по сцене. А за ним тянется длинный шнур. Чтобы не запутаться в проводе, певец то старательно откидывает его ногой, то придерживает рукой. Словом, делает массу движений, которые не имеют ни малейшего отношения к его выступлению, но за которыми волей-неволей начинают следить зрители, тоже обеспокоенные проблемой: запутается в шнуре или не запутается? А песня? Она отходит на второй план.

После всего сказанного кто-то может подумать, что русские народные песни и советские песни прошлых лет при современной аранжировке неизбежно утрачивают прелесть и богатство. Это неверно. Вот песенка «Жил отважный капитан». Кто, казалось, лучше Н. Черкасова мог бы исполнить ее? Но сегодня эту песню молодости, бодрости, оптимизма по-своему, с новым настроением блестяще поет польская певица Хелена Майданец. Вдохнула новую жизнь в старинную песню «Сулико» Венера Майсурадзе, а Валентина Левко силой своего таланта обновила народную песню на стихи Некрасова «Меж высоких хлебов» и революционную «Слушай». Первая из них — трагическая поэма с эмоциональным распевом мелодии, вторая — мужественная, суровая. По-своему, оригинально трактует романсы Алябьева «Иртыш» и Гурилева «Колокольчик» Валентина Ивантеева. С большим вкусом и тактом редактирует «для себя» русские песни Иван Суржиков. По-новому звучит «По улице мостовой» у Т. Синицыной. Всегда что-то необычное и в то же время до боли знакомое и близкое находит слушатель в песнях Людмилы Зыкиной.

У нынешних вокально-инструментальных ансамблей тоже бывают отличные работы. Особенно хочется выделить «Ялла» из Узбекистана, «Орэро» и «Аиси» из Грузии, «Самоцветы» из Москвы, «Червону руту» с Украины, «Песняров» из Белоруссии. Вот, например, «Ялла» (что означает «песня, зовущая танцевать»); его профессиональная жизнь началась чуть больше года назад. Родился же ансамбль в стенах Ташкентского театрально-художественного института.

Особенность репертуара «Ялла» — в его оригинальности. Он почти весь создан руководителями коллектива Е. Ширяевым и Г. Рожковым. Это — «Песня о Ташкенте», «О комсомоле», «Акация», «Дон-Кихот», «Война продолжается». Е. Ширяевым весьма профессионально и тонко сделаны аранжировки русской народной песни «Плывут туманы», узбекской народной песни «Кызбола» («Шаловливая девчонка»), «Андижанской польки», песни из фильма «Простая история» и ряд других.

«Ялла» интересен тем, что в нем отлично уживаются общераспространенные и национальные инструменты. Дойра и нагора (ударные), рубаб (струнный) и тамбур (щипковый) полноправно звучат в слаженном ансамбле. Колорит, создаваемый ими, придает исполняемым произведениям своеобразную свежесть. На примере «Ялла» еще раз можно убедиться, как плодотворно сказывается на творчестве современного ансамбля включение в него национальных элементов. Такой ансамбль ни с кем не спутаешь.

Все мы любим песни. В жизни каждого песня значит очень много. Так давайте же беречь ее самобытность и охранять от капризов моды. Только тогда она будет всегда созвучна нашим сердцам, будет нашей верной и преданной спутницей. Не случайно жизнь создала песню, слова которой «нам песня строить и жить помогает, она как друг и зовет и ведет» стали крылатыми.

А где мне взять другую песню?

Телевизионный, транзисторный век. Круглые сутки вокруг нас гремит музыка и звучат песни. Некоторые из них живут, пока звучат. Как одно время самозабвенно увлекались «Ландышами», «Черным котом», «Ладой»! Кое-кому, наверное, казалось, что эти песни войдут в музыкальные скрижали. Но прошло совсем немного времени, и о них накрепко забыли. Если спросить у молодых людей, какую песню они считают самой модной сейчас, они в один голос ответят: «Ромашки спрятались, поникли лютики...»

Да если серьезно разобраться, в этих «Ромашках» нет никакого глубокого смысла. Где-то они даже напоминают одряхлевшую «Отцвели уж давно хризантемы в саду». И что всего печальнее — написали эту песню отнюдь не приверженцы старины глубокой, а современные авторы Е. Птичкин и И. Шаферан.

«Ромашки» и другие подобные песни приобретают вдруг популярность отнюдь не благодаря своим исключительным музыкальным достоинствам и глубокому содержанию. Людей подкупает их внешняя похожесть на привычную слуху народную мелодику. Человек устал от рваных, изломанных ритмов и тянется к простоте и безыскусности, к спокойным и плавным мелодиям. Он не всегда на первых порах умеет разглядеть подделку. Прозрение приходит позже, и тогда происходит то, что случилось с «Ландышами», «Ладой», «Черным котом» и что в ближайшее время наверняка ожидает «Ромашки», в которых нет настоящей народной основы.

Зато песни, истинно претворившие народные мелодии, спокойно выдерживают испытание временем. Тонко чувствуя тра-

дицию, не сворачивая с фольклорной тропы, идет в песенном творчестве Григорий Пономаренко. И год за годом звучат не старясь его «Ивушка» и «Белый снег», «Сани» и «Оренбургский платок», «Колокольчик» и «Тополя», «Растет в Волгограде березка» и «Отговорила роща золотая»... Все эти песни вобрали в себя лучшие народно-музыкальные элементы.

Почему до сих пор живы и любимы такие песни, как «Зачем тебя я, милый мой, узнала», «Что ты жадно глядишь на дорогу»? Да потому, что в них яркие образы, в них бьется сердце, живет душа, в них истинная борьба страстей. Это песни-рассказы, песни-исповеди о настоящих жизненных драмах.

Вспоминаю вечер в одном педагогическом училище. Шел концерт самодеятельности. Одна за другой выходили на сцену девушки, деловито подходили к микрофону и голосами Пьехи, Кристалинской или Ненашевой начинали петь под аккомпанемент весьма шумного и разбитного «бит»-ансамбля. Конечно же, не обошлось без «Ромашек». А когда начались танцы, то динамик заревел на весь зал какими-то мяукающими звуками. Невольно подумалось: «Всему здесь учат, но только не музыке». А ведь это будущие педагоги, воспитатели. Чему они смогут научить своих питомцев, если сами находятся в плену бездумных и одуряющих звуков?

А выступающие девушки? Ни одна из них не сумела по-своему пропеть песню, ни одна не проявила индивидуальности.

Я не заметила ни одной группы студентов, которые хотя бы попытались запеть все вместе, посоревноваться друг с другом, кто споет веселее и звонче...

Пусть не расценивают мои слова как обычное брюзжание: «Вот, мол, раньше...» Лично мое «раньше» было тоже не так давно. Но сколько веселых часов проводили мы на школьных, а потом на студенческих вечерах! Магнитофоны и транзисторы тогда еще не были в большом ходу. И ничто не могло нам заменить песни. Мы пели хором на вечерах, на праздничных демонстрациях, на субботниках и веселых вечеринках в студенческом общежитии. И, честное слово, нам было в ту пору куда веселее с живой песней, чем ребятам на этом нынешнем вечере с металлическим поющим ящиком.

Ни в школе, ни в институте у нас не было микрофонов. У кого есть слух и голос, тот и пел со сцены. А сейчас — есть голос, нет голоса — микрофон ко рту, и ты уже певец. Конечно, было бы неверным утверждать, что в школах, училищах, институтах нет сейчас ребят, которые не понимали бы и тонко не чувствовали музыку. Например, вокальный квартет «Подсолнухи» из педагогического института имени В. И. Ленина — дипломант телевизионной передачи «Алло, мы ищем таланты!», неаполитанский оркестр из МВТУ имени Н. Баумана известны не только в своих учебных заведениях. Их знает и любит наша молодежь. Но, к сожалению, есть (их немало) и ансамбли и певцы, похожие на тех, которых я увидела на том случайном вечере. «Наши песни — в них наша вера» — емко сказано у Горького в «Матери». Песня распрямляет людям плечи. Она помогает им поднять голову, вливает в них новые силы.

Искусство — это всегда борьба за высокие и светлые идеалы, за человека, за то, чтобы он стал лучше. Искусство создания

песни — ответственно и серьезно. Слишком серьезно, чтобы к нему относиться легкомысленно или поверхностно.

Наша песня и наши исполнители должны добиваться углубления художественного образа, большей смысловой значимости. Именно потому и любят во всем мире лучшие советские песни, что в них огонь революции органически сливается с сердечностью и теплотой народной души. Поэтому хочется, чтобы спутницей нашего времени и вкладом его в музыкальное богатство всегда была хорошая песня, чтобы слышен был в ней отзвук наших сердец, наших дел и чувств, чтобы она подлинно выражала идеалы времени.

Радио, телевидение, фирма «Мелодия» и различные издательства, в том числе музыкальные, знакомят людей с огромным количеством песен. На первых порах трудно бывает отличить в этом бурном потоке настоящее произведение искусства от явной макулатуры. Случается, что «лобовая», лозунговая песня получает «зеленую улицу», хотя при внимательном разборе иначе как пустозвонной ее не назовешь. Громогласие такой песни до сердца слушателей, по существу, не доходит. Все в ней вроде бы верно, а никого не волнует, не трогает.

Чтобы вдохновить человека на настоящее дело, совсем не обязательно кричать в рупор. Поднять людей, вселить в них бодрость, затронуть сокровенные струны можно и такими, казалось бы, чисто лирическими песнями, как «Подмосковные вечера» В. Соловьева-Седого, «Гляжу в озера синие» Л. Афанасьева, «Я люблю тебя, Россия» Д. Тухманова, «Любите Россию» С. Туликова.

Эти песни глубоко патриотичны благодаря своей простоте и человечности. В их основе живительный и неиссякаемый источник — народное творчество. Такие произведения пополняют нашу песенную сокровищницу. И тем строже надо подходить к той лавине песен, которая обрушивается на нас.

Сейчас, например, в плане издательства «Советский композитор» значится песенный сборник «Стоп! Красный свет!». Аннотация сообщает, что «в сборник войдут песни советских композиторов, которые в своеобразной форме напоминают о правилах уличного движения и о том, как важно их соблюдать водителям и пешеходам». Одно утешает, что песни из этого сборника не зазвучат даже во дворах, в походах или на студенческих вечерах. А о перекрестках с оживленным движением я уж не говорю...

Людям нужны песни настоящие, с добротной литературной основой и мелодикой. Таковы, например, популярные песни А. Прокофьева «Гармоника играет», «Свадьба милой», музыку к которым написал Г. Свиридов. Замечательный поэт-песенник черпал ритмы, лексику, образность из фольклора, сплавляя их с современной поэтикой.

У нашего песенного творчества прочные и славные народные традиции. Так давайте укреплять и умножать их, а не пропагандировать умиленно-слезливое однообразие взамен песни от души. А ведь известно, «где нам взять такую песню...»!

■

Борис ЛЕОНОВ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЕЛИКОЙ ПРАВОТЫ

О ПЯТИТОМНИКЕ АНАТОЛИЯ СОФРОНОВА

Появление собрания сочинений — факт в творческой биографии писателя знаменательный. Значительность его обусловлена общественным признанием труда писателя. Этим в какой-то степени подтверждается народный характер его таланта. Столь высокая оценка существа дарования завоевывается многолетней жизнью произведений художника в сердцах все новых и новых поколений читателей.

В самом деле, кто не знает песен «Шумел сурово Брянский лес» и «Расцвела сирень», «Краснотал» и «Дай руку, товарищ далекий», «От Волги до Дона»? А ведь у стихов, на которые написаны эти песни, есть автор — Анатолий Владимирович Софронов. И тем не менее подчас их поют, не зная имени создателя песен. Не скрыт ли в этом факторе своеобразный критерий оценки труда мастера? Ведь не случайно по такому же поводу Александр Блок сказал однажды: не лучше ли для поэта такая слава, чем сто критических статей или мраморный памятник?! Софронов написал и такие народные в первооснове своей пьесы, как «Сердце не прощает», «Стряпуха», «Судьба-индейка», и многие другие.

В прошлом году уже довольно солидная библиотека собраний сочинений советских писателей пополнилась еще одним собранием — пятитомником Анатолия Софронова.

За свою более чем сорокалетнюю работу в литературе А. Софронов создал больше того, что представлено в пятитомнике. И это естественно: зрелый мастер от каких-то вещей отказывается, другие подвергает рано или поздно редактуре, особо тщательной при подготовке собрания сочинений.

Анатолий Софронов принадлежит к разряду литераторов с разносторонней одаренностью. Он не только поэт, но еще и превосходный драматург, и отменный публицист. В этих трех ипостасях и представлен

А. Софронов в пятитомнике. Первый том составили стихи, песни и поэмы. Второй том — драмы. Третий — комедии. В четвертый и пятый том включены путевые очерки, публицистика, литературные портреты.

Интересным представляется издание и с точки зрения снабжения его комментирующим материалом. Помимо общей вступительной статьи Василия Федорова о жизни и творчестве Анатолия Софронова, каждый из томов сопровождается небольшим послесловием и справочным указателем о первых публикациях произведений и о первых постановках пьес. Так, ко второму и третьему томам послесловия о драмах и комедиях написал известный театровед и критик Вл. Пименов, а к четвертому и пятому томам — об очерках и публицистике — Н. Цветкова.

Разговор о собрании сочинений такого многогранного в своей творческой практике художника, как А. Софронов, предполагает прежде всего разбор его поэзии, драматургии, публицистики. Но еще важнее выявить органичную цельность всего созданного им за годы творчества.

Мысль о цельности, единстве и общности произведений Анатолия Софронова можно подтвердить даже текстуально и тематически, если, скажем, вспомнить путевой очерк «Анаконда» (1958), строки из «Поэмы времени» (1970) и одно из его стихотворений 1958 года.

В очерке «Анаконда» рассказывается о том, как группа советских журналистов, в составе которой был А. Софронов, находясь в Латинской Америке, оказалась в районе Панамского канала объектом провокации, санкционированной определенными кругами США. У журналистов были аннулированы въездные визы, а затем и билеты на самолет авиакомпании «Панагра», целиком подчиненной компании «Пан-Америкэн». Наступила ночь. Отрезанные от внешнего мира стенами панамского отеля, журналисты не могли даже связаться с советским посольством в Мексике. В таможенном зале были взломаны их чемоданы, из них исчезли записные книжки, которые вскоре были сфотографированы взломщиками, чтобы «уличить» советских журналистов якобы в клеветнических измышлениях о панамской действительности и вообще о жизни в странах Латинской Америки. «Мы, — писал А. Софронов, — чувствовали, как невидимые силы руками «Панагры» пытаются накинуть на нас петлю».

Настроение, переданное в очерке, созвучно тому, которое запечатлено в строках из «Поэмы времени»:

А ты идешь,
идешь
по улицам Нью-Йорка.
Бродвей.
Манхэттен.
Тьма.
Водоворот.
И кажется, что следом
кто-то зорко
Прицел винтовки за тобой ведет.

«Петля» в очерке и «прицел» в поэме оказываются внутренне связанными.

Но поэт увез с континента не горечь и озлобленность. Он от-

лично понимает истинную подоплеку случившегося в Панаме и многих аналогичных случаев, а потому и не выстраивает на подобных фактах концепцию понимания жизни в этих странах. Собственно, за такими впечатлениями и ездить не стоило. Советскому поэту важно было увидеть жизнь народа, ощутить в человеческом рукопожатии теплоту отношений простых людей к своей стране.

И потому в «Поэме времени» на вопрос:

Да есть ли люди здесь,
в кошмарном этом мире,
Кто носит отблеск солнца на лице?
А может, лишь убийцы и громилы,
Что всю планету взяли на прицел? —

он совершенно определенно отвечает:

Нет, люди есть
Я видел их. И знаю.
Я был меж них. Я слышал их слова.

Об этом он сказал уже тогда, в 1958 году, вернувшись из Панамы, в стихотворении «Чем запомнится мне Панама?».

Нет! Стоило пересекать меридианы
Назло фэбээровской шатии!
Стоило лететь в Панаму
Только за одним рукопожатием!

Как-то к советским журналистам подошел негр и сказал, что он хочет пожать руку сыновьям России и сказать им большое спасибо за то, что они борются за свободу негров.

Вот что запомнилось мне в Панаме,
Что в душу мою запало
В строго очерченной раме
Колючей зоны канала.

Стоило испытывать нервы,
Летя к угнетенным братьям;
Стоило пересекать Кордильеры
Только за одним рукопожатьем!

Вот как, оказывается, накрепко спаян мир поэзии и публицистики в творчестве Анатолия Софронова. Собственно, как и мир его лирики и драматургии.

В приведенных аналогиях, кроме того, наиболее обостренно выявляется идейный нерв творчества А. Софронова. В таком поэтическом и публицистическом понимании важности своей миссии звучит во всеуслышание правота советского человека, его весомая значимость в жизни простых людей разных континентов. Постичь цену такой правоты может лишь тот, кто познал высший смысл человеческой справедливости, исторической справедливости, которую принесла с собою эра Великого Октября.

Анатолию Софронову, как и его поколению, выпало, по его признанию, великое счастье не только видеть, не только сопереживать происходящее на родной земле обновление жизни, но и самим утверждать в ней великую правоту Революции, строить новое общество и отстаивать его в битве с фашизмом. Вот поче-

му все созданное Софроновым во всех жанрах одухотворено пристрастным авторским свидетельством великой правоты совершенного нашим народом под руководством партии Ленина. И эта великая правота — категория отнюдь не временная, а историческая в ее нравственно-социальном звучании. И потому о чем бы он ни писал, на каком бы материале ни подтверждал справедливость сказанного, А. Софронов постоянно сверяет частное в жизни, частную судьбу с общим в мире или в истории страны. Об этом он прямо говорит: «Соединю историю, свяжу вот эту маленькую с нашей всей гигантской...»

Эти слова из «Поэмы времени» можно было бы поставить эпиграфом ко всему многопроблемному, многообразному и многокрасочному его творчеству. Потому что «реализация» связи отдельной, частной судьбы с судьбой народной явно обнаруживается и в лирическом герое его песен, стихотворений и поэм, и в любимых героях его пьес, и, наконец, в публицистике автора, который открыто выступает в ней перед читателем со своими мыслями, чувствами, идеями. И везде писатель проявляет свою самобытность, художественную оригинальность. Хотя законы создания лирического героя и героев драмы или комедии различны, Анатолий Софронов преуспел и в том, и в другом. Даже неизвестно, чему больше отдать предпочтение: поэзии его или драматургии.

Вас. Федоров во вступительной статье прямо и недвусмысленно обратил внимание на паритетность поэзии и драматургии у А. Софронова. Оставив за собой, как за поэтом, право отдать предпочтение поэзии, он заметил, что, «вероятно, свою статью об А. Софронове критик начал бы с разговора о пьесах, ибо их удельный вес в его творчестве по сравнению с поэзией не менее значителен».

Свой разговор о пятитомнике А. Софронова я намеренно начал с обращения к его песням, стихам и поэмам, а также к его публицистике, потому что в этих жанрах с наибольшей откровенностью выявляются личность художника и созвучие со временем всего того, что им создано. Больше того, читая его поэмы, особенно «Поэму времени», можно сказать, что вообще все написанное А. Софроновым — своеобразная поэма времени. Именно в этом сочетании: поэма времени выявляется как основной пафос творчества художника, так и сама природа таланта А. Софронова, его обостренное чувство времени и чувство современности.

Если же говорить конкретно, то, думается, не случайно поэт так назвал эту свою поэму. В ней сконцентрировано все прожитое и пережитое, в ней сосуществуют с присущими им характерными чертами лирика, драма и публицистика. «Поэма времени» как бы синтезировала в себе и жанровое и тематическое многообразие предыдущих произведений в их идейно-эмоциональном единстве. Этим идейным единством как раз и становится свидетельство великой правоты Революции, Партии, Народа.

Поэма органично вобрала в себя опыт лирики поэта, ибо в конечном счете это опыт жизни одного лирического героя, за которым прямо или опосредствованно стоит сам поэт. И когда сегодня читаешь:

Мечта твоя заветная
сбылась:
Надел спецовку.
Это в духе века.

Еще недавно
за мячом ты бегал, —
Теперь — рабочий.
Это значит — Власть.
Какая власть?
Зубило, молоток,
И гром железа, и шуршанье стружек,
И рядом пилы радугою кружат, —
Ты у тисков,
и ты не одинок, —

то вспоминаются такие ранние стихи А. Софронова, как, скажем, «О самом главном» (1930), «Новый цех» (1930), «Третья смена» (1931), «Обыкновенный день» (1932) и др.

В самом деле, разве не перекликаются эти строки со строками из стихотворения «О самом главном»:

Молоток мой в руке загудит,
Замелькая в незримом прицеле.
Это значит, что я и ты
На заводе в порывистом деле.

. . . .

Мы в бригаде. Бригада — одно.
В блеск зубила заточены славно,
И поют молотки давно
Об ударном и самом главном.

Но созвучие этих мотивов, за которым чувствуется лично пережитое, обогащено в поэме накопленным мастерством: поэтической техникой, изобразительностью в образном решении привычного, умением «загрузить» это образное решение темы философским прочтением жизни. То, что раньше в молодости припималось за открытие, за откровение, ныне вызывает добрую улыбку иронии или вздох взрослого человека, вспомнившего свое детство и свою молодость. Так смотрит лирический герой поэмы на обиженного им мастера, которому когда-то не сказал о том, что женился:

Он будет долго обходить станок,
Не отвечать на все мои вопросы...
Ах, мастер, мастер! Я не одинок,
Я стебелек
среди других колосьев...
Ах, мастер, мастер,
ты, наверно, прав,
И все ж сердиться долго
ты не сможешь...
У каждой жизни есть и свой устав,
Пусть будет он,
как жизнь сама, тревожен.
Не просто ты строгаешь и куешь
Железо, сталь
в багряно-жарких бликах;
Ты постепенно
в жизни познаешь,
Что приобщен к деяниям великим...

Собственно, в поэме мы видим и своеобразный драматический «ход» А. Софронова. Он постоянно находит оппонента своему лирическому герою. Здесь в этой роли выступает мастер. В другом случае — сын. В третьем — читатель. И в этих так отчетливо слышимых диалогах его с оппонентами (при всей монологичности речи автора!) выявляется эпичность повествования о прожитом и пережитом, ибо свое вплавляется в опыт каждого, и таким образом происходит соединение своей истории с историей страны и народа.

В этой особенности одна из причин социальной и долговременной значимости пьес Анатолия Софронова. Они вместили в себя опыт пережитого автором вместе со страной на войне и вобрали в себя неистребимую жажду жизни, созидания, с которой вышел наш народ из великих испытаний войны. Потому-то любимыми героями его пьес стали те, кто «честь свою хранил по-русски смолоду, не только как слова и как пословицу», кто «с трудностью не дал себе знакомиться и не склонял в боях суровых голову».

А патетический монолог автора в поэме, обращенный к своему современнику:

Ты шел туда,
где высятся вершины,
Где время
не годами исчисляется;
Где новый день зарею занимается,
Где все лежит,
что мы еще
не завершили, —

как раз и воплощен в пьесах А. Софронова, в делах их героев.

«И если взглянуть с этой площади вниз, то увидите, какие широкие каменные ступени плавно спускаются к реке, к гранитной набережной...» — такими словами героя, главного архитектора города Горбачева, начинается первая пьеса А. Софронова «В одном городе» (1947). Поднятые в пьесе проблемы строительства и реконструкции и по сей день не утратили своей остроты и актуальности. Горбачев видел широкие каменные ступени на том месте, где еще живут люди. Значит, чтобы построить каменную лестницу к гранитной набережной, нужно будет снести дома. А жильцов переселить во вновь построенные. Но их пока нет. Вне этого утрачивается сам смысл начинающейся реконструкции города в понимании секретаря горкома Петрова.

«Петров. Значит, сначала мы выстроим дома, не правда ли?

Горбачев. Нет... Мы будем делать это одновременно.

Петров. А получится ли одновременно? По-моему, сначала надо построить дома и вселить в них горожан и уже потом делать, говоря вашим языком, эту самую красивую жизнь. Не так ли?»

Горячим дыханием живет в пьесе жестокая память только что завершенной войны. Петров уже в самом начале разговора с Горбачевым вспоминает 1943 год, Новороссийск, Цемесскую бухту, словно желая напомнить о великом долге перед теми, кто ценой жизни своей завоевал возможность созидания красивой жизни на земле. Эта память и по сей день не остыла в сердце писателя. Она продиктовала ему пьесы последних лет — «Цемесская бухта» (1969), «Наследство» (1970), шестую и седьмую главы «Поэмы времени». И как сгусток памяти — слова:

Ты вспомнишь это,
скажешь сыновьям:
Вы живы тем,
что т е х
в живых уж нету,
Рожденных подвигом,
ракет военных светом,
Что осветил дорогу жизни вам...

Дорога жизни послевоенных лет сложна и многоконфликтна. Она пролегает через все творчество А. Софронова, вбирая в себя вопросы текущего момента и переплавляя их в сердцах героев пьес и в сердце лирического героя в сложные нравственно-социальные конфликты времени. Народность таланта, пожалуй, и проявляется в этом умении прозреть в быстротечности жизни ведущие проблемы времени в их воздействии на судьбы людские. Такому художнику чуждо было спокойствие теории бесконфликтности. В самый разгар ее процветания А. Софронов, словно вопреки ей, создает пьесу резкого конфликта, большого социального звучания — «Карьера Бекетова» (1949). В центре сатирической комедии страшная в сути своей фигура карьериста Бекетова, этого, как верно определил его Вл. Пименов, современного Растиньяка. Человеческое в нем подавлено одной страстью — страстью к карьере. На эту карту поставлено все.

Судьба пьесы была далеко не комичной. Но критики того времени просмотрели главное, основное, а именно, что при всей страшности Бекетова пьеса полна оптимизма, полна веры в крах нынешнего Растиньяка, ибо ему противостоит жизнь общества, основанного на принципах великой человеческой правоты.

Сатира у А. Софронова проявляется и в жанре драмы, в частности, в одной из лучших его пьес — «Деньги» (1956). Страшная картина открывается нашему взору: люди, считающиеся днем членами лучшей передовой рыболовецкой бригады, ночью превращаются в браконьеров-мародеров, хищников, одержимых жаждой наживы. Рецидивы мелкособственнических, кулацких пережитков в душах людей оказываются очень живучими. Эти люди используют наше доброе доверие к человеку и наше подчас равнодушие к пережиткам. Именно этим пользуются разного рода нравственные и моральные уроды: оборотни, двурушники, предатели и изменники, собирательный образ которых нарисован поэтическими средствами в «Поэме времени». Сила его обусловлена обнаженным высказыванием поэта: «Как презираем мы отступников от Родины... Вычеркиваем их имена и фамилии из памяти без жалости, с брезгливостью».

Пристрастность поэта находит опять-таки драматическую форму решения сатирической задачи: нарисованное воспринимается и визуально (как ходят по нашей земле скрытые ее ненавистники) и эмоциально (ощущаешь в себе ту энергию активного презрения к отщепенцам, которую внушает поэт). Последнее возможно потому, что социальное в поэме А. Софронова не усыхает в лиризме. Социальность в художественном мире этого поэта синонимична современности. Особо ярко это как раз и выявляется в его драматургии.

Однако не надо думать, что сила и прочная прописка на сценах театров пьес А. Софронова основаны только на их острой современности. Лучшие из них всегда глубоко психологичны.

И, кстати, степень психологичности — немаловажный показатель жизненности пьесы, а стало быть, и художественной подлинности, народности. Таковы в основе своей «Стряпуха», «Стряпуха замужем», «Павлина». Не во всем они равнозначны и равноценны. Но в одном значимы и значительны: они открыли нам неповторимый человеческий характер нашей современницы во всей его исторической глубине и во всем его жизненном проявлении.

Остросовременное произведение всегда публицистично. Иногда эта публицистичность скрыта в образной системе, иногда выходит на поверхность в высказываниях и откровениях автора или героев. В той или иной степени произведения А. Софронова заключают в себе элемент такой публицистичности, той самой человеческой точки зрения на жизнь, которая закалилась в авторе, как сталь рабочего характера в могучем коллективе «Ростсельмаша». Отсюда и ощущение своей вечной причастности к рабочему классу:

Пусть будет табель заводской
бессрочен
И вечно в сердце — заводской устав!
Я никогда не откажусь
от прав
Считать себя пожизненно рабочим.

Эта классовая позиция обусловливает активное действенное начало всего творчества писателя и наиболее откровенно выявляется в его публицистике. Путь А. Софронова-публициста обусловлен лирическим началом, драматичным жизненным материалом живой действительности, который он обязательно включает в свои путевые очерки и статьи, страстью полемиста. Именно в этом как раз наиболее ощутима его классовая позиция.

По многим странам разных континентов проводит нас вместе с собой автор. Проводит не как участников туристских путешествий, а как сотоварищей по трудной общественной работе, направленной на укрепление дружбы между народами, на укрепление мира. Автор постоянно ощущает себя одним из многих действующих лиц драматических явлений истории. Отсюда осознание величайшей ответственности перед временем, перед грядущим.

Постепенно, в процессе чтения публицистики, перед нами отчетливо вырисовывается и автопортрет писателя, и его жизненный путь, который он прошел вместе со страной, хотя публицистика Анатолия Софронова далеко не автобиографична. Собственно говоря, средствами публицистики его очерков, заметок, статей готовилась та самая сверхзадача поэта, которую А. Софронов решил в «Поэме времени»: «Соединю историю, свяжу вот эту маленькую с нашей всей гигантской».

История творится в конкретных делах народа. Поэтому главной характеристикой нашей жизни писатель считает дух созидания. Он обусловливает и вечное обновление действительности, и неувядаемую юность души советского человека, ибо, как говорит А. Софронов, «будущее вырастает из сегодняшнего дня, оно в сердце каждого из нас». Оно творится золотыми руками наших тружеников. О них-то и создает А. Софронов взволно-

ванное «Слово о рабочем классе». И, конечно, он вновь с благодарностью пишет о великом значении в своей жизни «Ростсельмаша».

В очерке о творческом пути поэта Мирзо Турсун-заде А. Софронов пишет: «К пятидесяти годам много воспоминаний набирается в памяти. Эти воспоминания бывают и очень яркими, выпуклыми, и такими, что задевают сердце и, сохраняясь, вместе с тем не занимают в сердце много места. Но если тебе человек дорог, если все, что он делает, интересно и тебе, и многим людям, то любой эпизод остается на всю жизнь, во всех подробностях и деталях». Эти слова передают общий настрой воспоминаний А. Софронова о таких известных людях искусства и литературы, как В. Маяковский и А. Довженко, В. Пашенная и Е. Поповкин, Г. Гулям и другие. Но, пожалуй, все лучшее, что есть в сердце А. Софронова — человека и художника, он сумел выразить в литературном портрете Михаила Александровича Шолохова («Бессмертник»).

О Шолохове написано очень много. И, казалось бы, сказать еще что-то новое, особенное о нем очень трудно. А. Софронов опровергает это своим «бессмертником». Опровергает уже самим поэтическим образом цветка, который предстает в названии очерка образом огромной философской наполненности.

Рассказ о личных встречах с великим писателем современности перемежается раздумьями о его бессмертных книгах, рядом со свидетельствами о широком и всенародном признании М. А. Шолохова на Родине приводятся отзывы о его творчестве людей разных стран мира. Очень тонко и бережно передает А. Софронов облик Шолохова-человека. А сколько интересного узнаешь о судьбе бесценных шолоховских рукописей, сколько высказано мыслей о «Поднятой целине», о «Судьбе человека»!

И в слове А. Софронова о Шолохове, в статьях о других мастерах отечественной литературы и искусства нельзя не ощутить дыхания современности, обостренного пульса нашего времени, наконец, того самого наивысшего чувства осознанной великой правоты нашей жизни, которое объединяет советских художников в едином стремлении поведать миру правду созидания коммунистического завтра. Именно это чувство постоянно живет в Анатолии Софронове, наполняет все созданное им. Оно продиктовало ему патетический финал жизнеутверждения в «Поэме времени»:

...горят,
горят,
горят,
не гаснут,
Как зори над планетою,
прекрасные
Огни, зовущие
все годы нас
на битву!

Анатолий НИКУЛЬКОВ

МОЛОДАЯ ЛИТЕРАТУРА СИБИРИ

Про улицу Широкую

Мне приходилось десятки раз возвращаться в Новосибирск на самолете. Но все как-то выпадало, что это были вечерние или ночные рейсы, и в черный круг иллюминатора я видел только разливанное море огней (по площади городской территории Новосибирск занимает второе место в СССР), по огневым пунктирам я узнавал проспекты, по сгусткам света определял заводские районы.

Но однажды я подлетал к Новосибирску ярким солнечным днем и едва ли не впервые охватил взглядом полную его панораму, будто увидел архитектурный макет. И увидел я разливанное избяное море. Театр оперы и балета, научная библиотека, цирк и вокзал, заводские корпуса и громады новых жилмассивов были как острова, то далеко, то близко отстоящие друг от друга.

И пришла мысль, что Новосибирск именно этим своим неожиданным обликом символизирует современную Сибирь. Да, есть Сибирь индустриальная, научная, Сибирь великих строек и поднятой целины, но миллионы квадратных километров занимает Сибирь старых, обжитых, но слабо тронутых переменами маленьких городков и деревенек.

Если сжать Сибирь до размеров европейской части СССР, то сдвинутые вместе города и великие стройки составили бы, пожалуй, сверхурбанистический, сверхиндустриальный край. Но кто попробует ужать Сибирь?! Она такая, какая есть.

А потому на страницах книг «Молодой прозы Сибири» живет и та сторона края, которая больше принадлежит уже прошлому, и та, что из настоящего устремлена в будущее...

Окончание. Начало в № 3.

Из ряда вон выходящую глушь изображает Аскольд Якубовский в повести «Мшава» (это слово означает болото, обманно покрытое толстыми пластами мха).

Автор описывает болота подробно, даже в натуралистических деталях, дающих вкупе цельный, зримый образ. В солнечный день они «светились салатной зеленью прокисших вод... тихо тлели ржавыми наплывами мхов», в хмурые дни «мерцали великим разнообразием серых тонов: зелено-серых, коричневато-серых, кремовато-серых, жемчужно-серых и еще каких-то, неопределимых». В «черных зеркалах» воды «плавает мелкий сор, дохлые комары да раскисшая серая моль».

Описание болот — это мастерское вступление в тему. О чем бы потом ни рассказывал автор, почти физическое ощущение этой трясины не оставляет читателя ни на минуту.

Среди болот геодезисты, составляющие карту не исследованной до того местности, обнаруживают поселок беспоповцев-бегунов, которые укрылись в тайге еще при Александре II. Жуткий быт этого поселка, наглухо отгороженного от мира, незнакомого с радио, кино, газетами, изображен с большой достоверностью.

Столкновение двух комсомольцев-геодезистов с этой «мшавой» завершается трагически. Один из них гибнет от руки вожака беспоповцев...

Альберт Мифтахутдинов описывает в рассказе «Треугольник» болезненное столкновение экзотических традиций с современными нормами быта. Погиб на охоте чукча Рольтио. Его жена Наулье в соответствии с родовым обычаем перешла к старшему брату мужа Омкаю. Первая жена Омкая встретила ее приветливо, и они зажили втроем. Но приехал в стойбище секретарь райкома комсомола Смирнов, возмутился противозаконным двоеженством и велел инструктору райкома Крутикову пресечь безобразие.

Крутиков велел Наулье собираться, чтобы отвезти ее в другую ярангу. И вот обе жены, обнявшись, горько заплакали, искренне страдая от необходимости разлучиться... Крутиков оставил их в покое, зная, что «получит на бюро строгий выговор за либерализм и недооценку момента». Пафос рассказа направлен на то, чтобы не рубить сплеча сложнейшие человеческие отношения, если даже они не укладываются в наши нормы.

Юрий Сбитнев назвал свое произведение «Стрелок из лука» повестью. Но это скорее очерки характеров, чем повесть. В произведении ослаблена сюжетность, оно чисто описательно. Даже по названию видно, что автора привлекает прежде всего экзотика быта эвенков... «Лодки-берестянки... сработанные из корья, дошли до нашего времени, не изменившись, минуя столетье за столетьем... Ни дать ни взять первобытная пирога с острым, загнутым кверху носом, вязанная гибким тальником... Совершенство судостроительной техники для здешних мелководных речек и озер».

Жизнь ниже уровня высоких темпов современной цивилизации, научно-технической революции сохранилась не только в глухих стойбищах, но даже на окраинах больших городов. И тут уже возникают нешуточные проблемы, одинаково волнующие и руководителей, и социологов, и писателей.

Виктор Потанин в своей книге очерков и рассказов «Ради

этой минуты» в принципе правильно ставит вопрос: оторванность от больших дел зависит не от места жительства, а от самого человека.

Автор рассказывает о Никите Фомине, садоводе, от которого пошли «во всех окрестных деревнях яблони», о старом аптекаре Ламанове, который столь необходим каждую минуту всем своим односельчанам. Эти замечательные люди должны служить примером для молодежи, которая, подрастая, слишком часто покидает родное село. И писатель упрекает ее за это: «Но придет время, да уж пришло, когда придется вернуться. И сколько потом ни кайся, сколько ни бей себя в грудь за чужим пьяным столом — душа-то усохла. Повытряс ее по дальним дорогам, в погоне за веселой жизнью».

Исходя из правильного принципа, В. Потанин, однако, слаб и наивен в своей системе доказательств. Почему же любой уход в город — это обязательно погоня за веселой жизнью и чужой пьяный стол? Почему это в городе душа непременно усохнет?

Но и положительный вывод автора не более убедителен, чем критический. О Никите Фомине он говорит: «Слушает яблоня его мысли. Вот придет новое лето, оденется она в белое-белое, такую же рубаху наденет Никита, пойдет по улице гордый, веселый, беловолосый. Наверное, ради этих минут и живет Никита. Ради таких минут и живут все большие люди. Что им слава, что им обильные рубли и подарки, что им хвалебные статьи в газетах — все это однодневное, вещественное, пустое. Но есть вечное, как земля, как внуки».

Автор настолько увлечен противопоставлением духовного бессмертия материальным благам, что даже отличного комбайнера Юрия Чепынина упрекает за «сон души», за то, что у него «в радости» от высоких заработков «теряется не менее важное — чувство ответственности, признательности за эти большие деньги». И снова этот упрек несправедлив, а в лучшем случае бесполезен. Ну кому можно быть «признательным» за свой честный заработок, за собственный самоотверженный труд?! Да ведь совсем наоборот — это общество выражает высокой оплатой труда свою признательность доброму работнику!

Какое же «чувство ответственности», кроме имеющейся ответственности за отличную работу, требует писатель от Юрия? «Например, петь в колхозном хоре, играть в оркестре, спорить о книге, читать доклады на вечерах. Да мало ли что?!»

Ну а если у человека нет ни слуха, ни голоса, если он не имеет ораторского таланта (и без Юрия у нас читается полно скучнейших докладов)?

Нет, никакого действенного решения проблемы сельской молодежи В. Потанин не предложил. Проблема эта глобальная, и заключается она в индустриализации сельского хозяйства и полной перестройке деревенского быта. Партия на XXIII и XXIV съездах, на Пленумах ЦК последних лет как раз это поставила во главу угла. Только новаторской задачей можно увлечь молодежь!

В рассказах В. Потанина еще более обнаженно, чем в очерках, благородное село противопоставлено хищному, алкогольному городу. «Из нашей родни только трое дома остались: я с Гришкой да Зойка. Все в город укатили, к сладкому житью... До смешного доходит. Говорит Колька Васильев: ресторанов в

деревне не строят — стесняются. А я, мол, молодой, люблю поговорить, девочку привести с собой, ликерчику подуть из соломинки... Уехал к соломинкам Колька».

«Сдуло с места и Пашу Бойко. Медицинский в Омске кончил, в деревню приехал, подавай ему больницу с семью коридорами, а у нас один фельдшер положен. Обратно укатил». А ведь Паша правильно сделал, что «обратно укатил»: почему это дипломированный врач должен работать на ставке фельдшера? Логика авторского подхода к проблеме опровергается логикой жизни.

Виктор Лихоносов в книге «Чалдонки» не ставит прямых социологических проблем, но художественным исследованием он, с одной стороны, как бы спорит с прямыми формулами Потанина, а с другой — раскрывает изнутри ту психологию, которой свойственно порой противопоставлять село, с его народными истоками, городу, якобы лишенному корней.

Проза В. Лихоносова легко выделяется густотой письма, психологичностью образов, изображением тонких и сложных душевных состояний.

«Чалдонки» — это грустная повесть о чудесных двадцатитрехлетних девушках Варе и Оне, одиноких, не удовлетворенных душевно. Глухое село Остяцк, где они живут, утопает в грязи, жизнь здесь серая, ритмы ее замедленны. Девушкам одинаково противна грубая, откровенно сексуальная любовь Гошки и навязчивая, нудно-страдальческая любовь Кольки. Они безнадежно тянутся к девятнадцатилетнему студенту Мише, который с товарищами приехал помочь колхозу на уборке. Они ревнуют друг к другу, раскрывая в этой смешной и нелепой ревности свою чистоту и душевность.

В тонкости чувств, красоте любви нуждаются девушки, а их односельчане Гошка и Колька понятия не имеют о возможности таких отношений. Отъезд студентов оборачивается для Вари и Они нешуточной драмой. Всем художественным строем повесть протестует против бедности духовной жизни маленького села, которую не устранят ни Гошка, ни потанинский Юрий, если бы они даже стали петь в хоре или делать доклады.

В повести «На долгую память» В. Лихоносов исследует интересный характер, имеющий определенное распространение в нашем обществе. Герою повести Жене, человеку с высшим образованием, неловко перед «красивыми» городскими людьми за то, что он из «простых», за свою неинтеллигентную родню.

«— Дремучий быт, — скажет позже товарищ его, студент, после того как они вышли из одной избы от пожилой женщины, вспоминавшей свою судьбу. И пока они слушали ее, Жене было вроде бы даже неловко перед скучавшим товарищем, воспитанным на чем-то отрешенно высоком и умном... Он шел к матери, на свою Широкую улицу. Там ему так понятно и просто в старом кругу, среди откровенных голосов, которые ему никогда не забыть. Но иногда будто смущался своей простоты и обычной любви своей, торопился угнаться за высшим, что уже само по себе давало его друзьям какое-то превосходство и что мешало ему порою защищать родную основу древней жизни, а она ведь жила в нем, и он только стеснялся ее обнаружить».

Автор, пожалуй, склонен поддержать воззрения своего героя.

«— Грешники, грешники, — со вздохом говорила бабушка им

как безнадежно потерянным. — Портретов понавесили, а бога в стол засунули. Подождите, он вам не спустит.

— Темные люди старики, — скажет маленький Женя, подталкиваемый чужой, учительской волей».

В. Лихоносов так организовал материал своей повести, что школа выпала из жизни героя, ее почти и нет, кроме упоминания о «чужой» воле учительницы в противовес «своей» воле бабушки. И тут мы замечаем авторский нажим, уклон в сторону жизни «простой», а точнее сказать, общественно пассивной, замкнутой. Ведь в детстве прежде всего через школу возможно приобщение к большому миру.

В. Лихоносов не называет города, на окраине которого происходит действие. Но по названию — Кривощеково, по улице Широкой, по ряду деталей мы без труда узнаем Новосибирск. В Ленинском районе Новосибирска (бывшее Кривощеково) действительно есть улица Широкая. Впрочем, в предисловии сам автор говорит: «Новосибирску я обязан всем и даже тем, что стал писателем».

Но вот что интересно. В Кривощекове родился и учился великий летчик нашего времени трижды Герой Советского Союза А. И. Покрышкин. В том же Кривощекове — и даже именно на улице Широкой — провел юность другой знаменитый летчик, Герой Советского Союза Г. Ф. Байдуков, соратник Валерия Чкалова. Да и писатель Лихоносов вырос на той же улице Широкой. Значит, не так уж и замкнута эта окраина, не так уж и предана «простой» жизни, и есть мощные выходы из нее в огромный, активный мир.

Каковы бы ни были субъективные намерения писателя, но художественное исследование объективно раскрыло психологический комплекс определенного типа, представило нам, говоря словами Писарева, «характеры и образы», не в пример А. Битову и В. Потанину, которые ограничились выражением своих «стремлений и воззрений». В. Лихоносов раскрыл психологию тех людей, которые уже ушли из родных углов, оторвались от деревень и окраин, но еще остро чувствуют, может быть, какую-то замедленность реакции по сравнению с раскованностью мышления и манер традиционной городской интеллигенции. Это состояние не социальное, а психологическое, не мировоззренческое, а поведенческое, но тем не менее накладывающее свой отпечаток на характер и взгляды человека.

В. Лихоносов вывел и исследовал интересный тип в нашем обществе, который уже синтезирует в себе черты «деревенские» и «городские», «простые» и «интеллигентные», но синтезирует еще не гармонически, с некоторой болезненной противоречивостью.

Близок проблематике В. Лихоносова и Валентин Распутин. Его книга «Последний срок» — одна из ярчайших в «Молодой прозе Сибири».

В. Распутин любит острые, драматические ситуации. В повести «Деньги для Марии» у молодой продавщицы, честной и доверчивой женщины, ревизор обнаружил недостачу в тысячу рублей. Менее глубокий писатель легко нашел бы тут проторенную дорожку для детективного сюжета. Но В. Распутин даже не замечает такой поверхностной возможности. Он мельком говорит

о предполагаемых причинах недостачи и тут же переходит к главному — к исследованию характеров.

Муж Марии Кузьма идет по деревне собирать в долг тысячу рублей, чтобы внести в кассу магазина. Учитель дает сотню, но оснащает этот акт скрытыми упреками и рекламой собственной чуткости; грубая и дерзкая девчонка Галька плачет от злости и отчаянья, потому что ее скупая тетка отказала в помощи. Дед Гордей, у которого сроду не было ни гроша за душой, несет пятнадцать рублей, выпрошенных у соседа. Председатель колхоза мобилизует полумесячную зарплату колхозных специалистов.

При всей пестроте моральных качеств отдельных колхозников явственно пробивается главный этический устой деревни: чувство взаимовыручки. В итоге усилий всего села все-таки до тысячи не хватает сотни две или три, и Кузьма едет в город к брату Марии.

В поезде перед Кузьмой проходят некоторые типы горожан. Город тоже разный, как бы делает вывод автор. Но повесть кончается безмолвным вопросом, мы так и не узнаем, чем повернется город к Кузьме — добром или равнодушием. Писатель, можно сказать, не доисследовал проблему...

В повести «Последний срок» умирает старуха Анна. Проститься с матерью съезжаются дети. Вместе не видела их мать уже много лет, и это так воздействует на нее, что смерть временно отступает. Снова мы видим острую психологическую ситуацию, в которой обнаженно проявляются характеры.

В этой повести с еще большей силой сказался талант Распутина. Герои ведут длинные разговоры, монологи порой занимают две-три страницы. Но от них невозможно оторваться, в них нет, я бы сказал, ни одного «написанного» слова, это совершенно живая устная речь, в которой как бы слухом улавливаешь даже интонации. Не так уж трудно найти речевые отличия, допустим, у сестер — у горожанки Люси и колхозницы Варвары. Но писатель улавливает тончайшие оттенки в языке двух старух, давних деревенских подружек — Анны и Миронихи.

В. Распутин проникает в глубинные душевные движения героев. Михаил и Илья маются, не знают, куда приткнуть себя в эти смутные дни: «Всегда была у них работа, а тут вдруг ее не стало, потому что перед бедой, которая заступила на порог, справлять постороннюю работу считалось нехорошо, а от самой беды никакого дела больше не шло».

А вот что переживает Анна, которая чувствует себя виноватой оттого, что долго не умирает и всех задерживает: «Приходилось жить еще день — лишний, ненужный... Ей казалось, что ни на что на свете она не имеет больше права — ни смотреть, ни говорить, ни дышать — все было как ворованное».

Осознание того, что старые нормы сельской жизни неминуемо уходят в прошлое, есть в повести. «Не того мы века, — говорит Анна Миронихе. — Не наш это век». И все-таки В. Распутин делает крен в пользу деревенских жителей в противовес горожанам: в конечном счете именно Михаил, живущий с матерью, при всей своей внешней грубости и неотесанности оказывается наиболее чутким, заботливым и деликатным.

Противопоставление деревенской нравственности городской — идея малоплодотворная. Но, несмотря на субъективную склон-

ность к ней, В. Распутин, как художник-исследователь, шире этой идеи. Он создал психологически сложные образы и поставил важные этические проблемы. Он талантливо ратует за совершенствование человеческих отношений в нашем обществе.

Край братства народов

В рассмотренных выше произведениях русских писателей мы уже встречали образы людей других народностей. В. Чивилихин рассказывал о тофаларах, Ю. Сбитнев посвятил «Стрелка из лука» эвенкам. Но главное слово о своем народе, яркое и самобытное, сказали сами национальные писатели.

Октябрьская революция застала народности Сибири на разной социальной и культурной стадии. Якуты и горноалтайцы уже имели письменность и литературу. Ненцы, эвенки, тувинцы и многие другие получили свою письменность только после революции, и лишь тогда начала развиваться у них литература.

Теперь даже у самых маленьких народностей Сибири и Дальнего Востока есть свои писатели. Восьмитысячную национальность нанайцев с достоинством представляет Петр Киле, несколько лет назад окончивший философский факультет Ленинградского университета. Семитысячный народ манси выдвинул такого превосходного писателя, как Юван Шесталов. Нивхов (прежнее название — гиляки) около 4 тысяч человек, но вот в начале 60-х годов 26-летний Владимир Санги выпустил книгу «Нивхские легенды» и стал основоположником новой литературы. Юкагиров в СССР — всего 450 человек, но на юкагирском языке написан роман Семена Курилова «Ханидо и Халерха».

С. Курилов обращается к дореволюционной истории своей народности. Действие начинается в 1892 году и происходит на Крайнем Севере: «На что уж холоден Якутск, но он далеко на юге».

Чуть ли не впервые в литературе вообще С. Курилов так подробно вводит читателя в мир шаманов, изображая их как суеверных и наивных, но все же идейно-нравственных руководителей своего народа. Есть хороший шаман Токио, психолог, артист, не злоупотребляющий ритуальным обманом. Есть подлая шаманка Тачана, которая прокляла только что родившихся детей, и над ними всю жизнь безвинно висит это проклятие.

Шаг за шагом изображает автор постепенное крушение института шаманства. Юкагиры выходят в более широкий мир, хотя этот мир — всего лишь ярмарка обмена с русскими и американскими купцами. Процесс высвобождения идет нелегко. Недаром Пурама, уже недовольный шаманами, все-таки думает: «Но шаманы научили Пураму рассуждать, глядеть во все стороны, а не в одну».

Куриль, один из передовых юкагиров, назначенный старостой, решает вообще покончить с шаманством, но русский чиновник запрещает это, вместе с тем приказав начать строительство православной церкви. В трактовке автора церковь должна стать определенным этапом в духовном развитии юкагиров по сравнению с беспросветной тьмою шаманства. Тот же Пурама говорит:

«Не хочу знать никаких шаманов! Мужик должен заниматься хозяйством и богу молиться».

Автор никак не доказал прогрессивную роль русской церкви в судьбе малой народности, но такую сомнительную посылку дал в самом конце книги.

С. Курилов, несомненно, владеет сложным жанром романа. Все герои изображены нешаблонно, с ясно выписанными характерами, с индивидуальностью переживаний. Образ нежной, тонко и глубоко чувствующей Пайпэтке в высших своих проявлениях потрясает. Пайпэтке замучена преследованиями Тачаны, равнодушием любимого человека Мельгайвача, она не выдерживает всех несчастий, ни за что обрушившихся на нее, и сходит с ума.

С большой художественной силой изображено ошаманивание Куриля. Он согласился на ошаманивание, чтобы доказать бессилие Тачаны. И вот он вдруг чувствует гипнотическое воздействие всего обряда, начинает галлюцинировать, но все же из последних сил бормочет, что Тачана бессильна, напряжением воли он преодолевает гипноз и разбивает шаманский бубен.

Гораздо более близкое историческое прошлое своего народа изображает горноалтаец Лазарь Кокышев в романе «Арина» — жизнь колхоза «Дьяны дьол» («Новый путь») в годы Великой Отечественной войны. Герои и судьбы здесь близки традиции русских романов, изображавших деревню военных лет. Сама Арина, сохраняя национальные черты в манерах и привычках, в общем уже крестьянка. И горноалтайцы заняты обычным крестьянским делом: сенокосом, уборкой хлеба, овцеводством, уходом за конями.

Арина — привлекательный, живой образ. Молодая застенчивая алтайка по всему складу характера вовсе не приготовлена к активной общественной роли. Но война потребовала от нее, как и от всего народа, сверхвозможной отдачи. И она становится председателем колхоза, не очень умелым, но честным и старательным.

Ее сменяет вернувшийся с фронта Нахай Дьатпанаков. Это, может быть, самый колоритный образ в романе. Человек он шумливый, несдержанный, любит делать приписки и раздувать успехи, к заслуженным на фронте наградам он еще цепляет раздобытый где-то «Знак почетного железнодорожника» и «Медаль материнства», отнятую у жены. Впрочем, он легко поддается одергиванию своего заместителя, ленинградского рабочего Павлова, эвакуированного на Алтай по болезни. Павлова Нахай называет «мой политический политрук». Председатель он работящий и, несмотря на чудачества, действительно сумел поднять колхоз.

Тувинец Алдын-оол Даржаа роман «Удаль молодецкая» тоже посвятил колхозной жизни, но совсем недавнего времени. Роман написан менее опытным пером, чем «Арина», образы очерчены прямолинейней, но в нем, пожалуй, сильнее национальная окраска.

Михаила Печенкина, парторга колхоза, сына первого русского тракториста в Туве, называют «сыном шофера трактора с топорами на колесах». Для языка типичны такие фразы, идущие от велеречивости фольклора: «Откатилась волна его страсти, но не расплескалась, снова стала полниться силой убежденности, азартом правоты». Непривычна для нас и мягкость характери-

стик даже самых отрицательных героев. И чванливый председатель колхоза Дандар, и интриган бригадир Шалган, и Сайлык изображены в неприглядных поступках, но оказываются неплохими людьми, которые хоть и ходят по самой грани плохого, но как-то неумело и неуверенно, и в конце концов под воздействием окружающих не переступают ее. Эта патриархально-родственная мягкость отношений рельефно отразилась в романе, хотя новых типов Алдын-оол Даржаа не открыл. Его герои — это в чем-то смягченные варианты образов, свойственных общесоюзной «деревенской» прозе.

Нивх Владимир Санги назвал свой роман «Ложный гон». Течка у соболей бывает летом, но весна все равно действует на них. «Но это не истинный гон. Это, как говорят охотники, пустой, или «ложный гон», когда, будто взбесившиеся, соболи забывают о всякой осторожности».

Охотник Нехан, жадный подлец, нарушает законы тайги и дружбы, но старик Лучка и юноша Пларгун прекращают его «ложный гон». Нехан обрисован сочно, хотя как тип он не нов. Вероятно, злодеи всех национальностей выглядят в основном одинаково.

Лучка, великий знаток тайги, однако обремененный суевериями, и Пларгун, за время учебы в далекой школе-интернате оторвавшийся от тайги, но вернувшийся сюда, — эти крайности на самом деле составляют единство и выражают современную суть своей народности.

Пларгун туманно представляет себе старые обычаи и поверья, а Лучка раскрывает перед ним самые их истоки, идущие от полного слияния с природой, от чувства кровного родства с ней. Вот Лучка свежует убитого медведя.

«— Ты думаешь, это медведь? Ты думаешь, это просто зверь? — спрашивал старик, с пронзительным прищуром глядя в недоуменные глаза юноши...

— Совсем не так, — ответил старик на свой же вопрос...

— Это не просто зверь, — многозначительно говорит старик, уже не глядя на молодого напарника..»

Пларгун всем существом постигает тревожную многозначительность этих слов: «Сырая шкура взмыла, будто плащ, подхваченный ветром, и упала рядом с обнаженным белым телом. Нет, это лежал не медведь. Тело без толстой лохматой шкуры, лишенное страшных когтей, теперь лежало в умиротворенной, спокойной позе. Оно очень напоминало оголенного человека, которого застали спящим после долгого изнурительного пути».

Пларгун, проведя с Лучкой весь тяжелый сезон зимней охоты, приходит к убеждению, что должен стать охотоведом, защитить тайгу от Нехана. Это очень естественно сложилось у него из всего комплекса раздумий и переживаний.

Роман «Ложный гон» принадлежит тому направлению молодежной прозы, которое исследует становление юноши и определение им своего места в жизни. Но по национальному колориту, по характеру героя это произведение очень своеобразное. Хороша заключительная фраза романа: «Юноша шел шагом дальней дороги»!

Юван Шесталов повесть «Синий ветер каслания» написал на языке манси и сам перевел ее на русский. Свободное владение богатством двух языков, совмещение их очень различных сти-

хий, вероятно, и создает неповторимый поэтический аромат этой повести.

Оленеводы совершают кочевье — каслание — от низовьев Оби до Урала. Описывая это движение во времени и пространстве, автор раскрывает современную жизнь своей народности и ее историю, слияние древнего фольклорного восприятия с современными воззрениями. Так же, как и у Санги, у него обострено чувство родства с природой.

«Я, конечно, не умел еще легким и чутким вздрагиванием тынзяна вовремя подсказывать, в каком направлении двигаться оленям, но уже умел заставить хорей плясать по их спинам и задним ногам. Странное дело, управлять тонко и умело животными мы не умеем, а бить умеет каждый... бить оленя, который и возит человека, и кормит его, и одевает...

Интересно, а не жалко ли бывает Микулю оленей? Не думает ли он, что и им больно? Не успел я подумать, как он меня упрекнул:

— Ты бьешь оленей. Хорей не палка. Это язык оленевода. Оленевод подумает. Передаст мысль хорею. Хорей коснется оленя, и тот уже знает, что хочет человек. Олень все понимает».

В творчестве Ю. Шесталова слиты не только две языковые стихии, но и талант прозаика и поэта. Его стихи органически входят в повествование, придавая ему особую поэтичность.

Фольклорные образы порой взрывают форму стиха и звучат в первозданной свежести:

Если ты в черные зрачки зверей будешь глядеть
Сверкающими зрачками пяток,
И быстрые твои ноги
Будут думать за тебя:
Не спасут тебя духи —
Покидают бегущих боги,
Настигают бегущих звери!

Здесь выражена одна из мужественных черт национального характера. Манси приучены опытом охотников встречать зверя только лицом к лицу, ибо бегущего растерзает зверь. Нельзя трусить, если не хочешь погибнуть, — таков практический опыт северной тайги, ставший нравственным качеством народности.

Очень важная мысль раскрывается в «Синем ветре каслания»: «Странно. В Ленинграде, далеко от родных мест, я вдруг почувствовал красоту языка моего маленького народа. О город каменный, ты помог нам увидеть то, что мы не видели раньше и не чувствовали. Нет, мы не перестали быть северянами. Наоборот, мы стали как-то ярче. Ты нас научил слушать себя, и мы чаще стали спрашивать: «Кто мы?»

Приобщение к социалистической цивилизации не только не стерло национальные черты, не ассимилировало народность, а, наоборот, впервые помогло осознать свое достоинство, свои национальные черты:

«Народы Севера маленькие, как орешки на огромном и величественном кедре. Но у нас есть свое, то, чего нет у других народов: свои легенды, песни, умение с улыбкой жить в суровых условиях нашего Севера. Кто быстрее поймает в тайге соболя, в Оби — осетра, в стаде — оленя? Конечно, северяне!»

Первый писатель манси, Ю. Шесталов сознает свою особую миссию — сохранить, выразить, ввести в мировую культуру дух своего народа и его исторический опыт: «Так много раз, наверно, умирал я, так много раз, наверно, вновь рождался, и женщины несли меня, веря, что взойдет волшебное сияние и я заговорю, раскрою сердце древних, а добрый мир будет слушать древнюю исповедь».

Идейно-художественная задача, сложно сочетающая думы о древности с картинами современного быта, нашла себе вполне органическую форму. В повести очевидно слияние литературы с фольклором, лирики с эпикой, словно литература здесь еще не совсем отпочковалась от фольклора, только зарождается еще внутри него и дает первые сочные побеги.

Повесть нанайца Петра Киле «Идти вечно» начинается так:

«Я оделся и вышел во двор.

Дени окликнула меня из летней кухни.

— Пойду поохочусь, — сказал я по-русски».

Этот абзац, ничем не примечательный на первый взгляд, — словно камертон очень важной идейной линии. Ведь юный нанаец Филипп и его тетя, пожилая нанайка Дени разговаривают друг с другом по-русски. Позже Филипп спросит свою одноклассницу Ленку, на каком языке она думает: по-русски или по-нанайски, но «она никак не могла сообразить».

П. Киле с полемической резкостью защищает свое право писать на русском языке: «Литконсультант советовал мне писать стихи на родном языке, а русские поэты будут меня переводить. Писать на родном языке не имело смысла, потому что из восьми тысяч нанайцев на свете, если кто и читает стихи, читает на русском языке. Переводить Пушкина на нанайский язык нет нужды. Пушкина я люблю в стихии русской речи и отказаться от этого не могу... И кто знает, насколько русский язык стал мне родным? Я понимаю, мне труднее всего, но разве не русская речь во мне говорит стихами?»

П. Киле гораздо более, если можно так выразиться, человек «книжный», чем Санги или Шесталов. Он уже не воспринимает мир с непосредственностью родственного слияния с природой, даже думать о любимой девушке для него «было все равно, что читать книгу, — радость и нетерпение пронизывали меня всего...»

Если Пларгун жаждет стать вновь своим среди природы, от которой оторвала его учеба, если герой Шесталова чувствует неловкость оттого, что не умеет разговаривать с оленями, то для героя Киле «природа — это шерсть медвежьей шкуры и мои страхи, метели. Мир прекрасного — это школа, книги, русская речь. Природа меня закабаляла, культура — освобождала. Я хотел снять с себя природное и перейти весь в мир культуры».

Филипп знает, что еще в 30-е годы была «эпоха коренных перемен в жизни нанай». Но ему этого уже мало, он жаждет нового этапа в развитии нанайской национальности. Он не знал могущества шаманов, не жил в дымных мазанках, не носил грязных лохмотьев, не страдал от болезней и голода. Он хочет вести отсчет судьбы своей народности не от прошлого до настоящего, а от сегодняшнего уровня в будущее.

Так же, как и Шесталов, Киле с обостренной ответственностью воспринимает свою миссию писателя — духовника и летописца

своей народности. Но если Шесталов, в значительной степени изучая истоки, хочет ответить на вопрос «кто мы, откуда мы?», то Киле, наоборот, жаждет исследовать настоящее, чтобы провидеть направление нового движения.

Решая эту задачу, он чувствует, что ему тесно в кругу такой распространенной темы, как детство или становление юноши: «Все пишут об открытии мира ребенком, подростком, отдельным человеком — это, конечно, важно, да, но здесь новизна мира относительна: каждый человек, в сущности, открывает то, что всем известно, а когда целый народ внезапно открывает новый мир, совершенно небывалый, когда делается скачок невидимый, мгновенный, через тысячелетия — здесь нечто грандиозное, великое!»

Такой образ мыслей впервые проявился в национальной литературе Сибири, он, вероятно, предвещает новый этап в самосознании малых народностей.

Повесть «Идти вечно» построена сложно. В ней как бы сосуществуют три круга воспоминаний, совмещенных с сегодняшним восприятием действительности: родное нанайское село, школа-интернат в поселке Новая Руса на Амуре, и Ленинград с его университетом. Эти круги, постоянно пересекаясь, накладываясь друг на друга, великолепно передают движение времени, развитие мысли героя, все полней охватывающей жизнь, выводящей из домика тети Дени на просторы мировой культуры. Это составляет главную силу повести, ее своеобразие, ее высокий интеллектуализм.

Рисуя характеры героев, П. Киле проявляет себя незаурядным психологом, умеет раскрыть сложные состояния души.

«Мне было грустно. У меня есть основания считать, что я знаю, что такое волнение любви и волнение желания. Первое тихо и безгранично — это как вдохновение, ему и не думаешь сопротивляться, ему отдаешься с радостью, с гордостью, весь. Второе имеет границы и связано со множеством неудобств, словно идешь босиком по лугу. Это, конечно, одно и то же человеческое чувство, но сложное, и многое зависит от внешних обстоятельств и от нашей искренности, чтобы одно сошло за другое. С желанием рождается любовь, но желание может погубить любовь».

Герои П. Киле очень личностно ощущают кровную связь со всей жизнью земли.

Это предельно четко выражено в признаниях Филиппа: «Я знаю, я живу в России, я свободен и счастлив, но я не могу забыть и об индейцах в резервациях, о неграх в гетто, и тени их унижения и позора я чувствую на моем лице и сейчас».

П. Киле не воспел так страстно, как Ю. Шесталов, своеобразие родной национальности, но художническое восприятие мира пронизано у него этим поэтическим своеобразием. «Живая еще рыба вздрагивала всем телом, как связанный человек». От взгляда Ули Филипп «молча щурился, как летом над светлой водой». Эти удивительно простые и естественные сравнения, рожденные глубинным строем души, из того же ряда, что и образ освежеванного медведя в романе Санги или темный, «словно прорубь во льду», взгляд любимой девушки в стихотворении Шесталова. И это не национальная ограниченность, которую с такой силой не приемлет Киле, а как раз то неповтори-

мое национальное видение действительности, которое народности Сибири на равных правах вносят в общесоветскую культуру.

«Идти вечно» заканчивается схоже с «Ложным гоном» — здесь тот же шаг дальней дороги. Та дальняя дорога, о которой говорит Санги, раскроет совсем небывалые горизонты, о которых говорит Киле, завершая повесть: «Выберешься из леса на дорогу, она уходит в сторону, замыкаясь сплошной стеной сосен, с одного проселка переходишь на другой, с проселка — на шоссе, и горизонты все раздвигаются, и такое всегда радостное, детское чувство, как будто идешь по земле во времени и пространстве».

От древности до детства

В «Молодой прозе Сибири» некоторые произведения можно объединить по их принадлежности к исторической теме в отличие от огромного большинства произведений, посвященных современности. Из рассмотренных выше книг к ним относятся роман С. Курилова, повествующий о конце XIX века, а также «Серебряные рельсы» В. Чивилихина и «Арина» Л. Кокышева, которые изображают не столь далекую, но уже ушедшую в историю эпоху Великой Отечественной войны.

Собственно исторических произведений, когда писатель воссоздает время, неизвестное ему по личному опыту, когда сначала он должен исследовать материал как историк, прежде чем художнически воплотить его, в «Молодой прозе Сибири» совсем мало. Кроме «Ханидо и Халерхи», можно назвать лишь повесть В. Бахревского «Хождение встречь солнцу» о Семене Дежневе и роман о гражданской войне А. Гурулева «Росстань».

Молодые наши писатели, и не только сибиряки, пока робко касаются исторической темы, которая требует, кроме литературного таланта, еще особой теоретической вооруженности, владения методологией, умения вырабатывать собственные доказательные концепции. Гораздо более разработана во всей нашей литературе тема военного детства, тоже уже уходящая в историю, но пережитая лично писателями, которым теперь под сорок.

На том довольно условном основании, что произведения того или другого рода изображают далекую или близкую, изученную или пережитую, но историю, их можно объединить в одной главе.

В повести Владислава Бахревского «Хождение встречь солнцу» видна способность почувствовать дух очень далекой эпохи, реставрировать ее подробности. Язык повести красочен, хотя налет фольклорной напевности придает ему порой некоторую условность. Вот, например, боярыня Мария Романовна подносит гостям чару, сменяя наряд при каждом подношении: «Шестнадцать человек было, в шестнадцати сменах выходила боярыня, последний наряд лучше первого был. На голове венец малый, с теремом, с маковками, с петухами. Окна в тереме — камень лал, глаза у петухов — изумруд-камень. Ферязь на ней легкая,

из-под ферязи воротник из дивного заморского жемчуга, сапожок красный, на высоком каблуке, золотыми цветами расшит».

Семен Дежнев раскрыт не очень глубоко как характер, но черты исторической личности — воина и дипломата — изображены довольно убедительно.

Конечно, самой высокой мерой литературы является открытие писателем неведомых дотоле сторон жизни. Но неплохо и тогда, когда первое произведение просто открывает нам нового писателя. В. Бахревский пока не сказал значительного слова в жанре исторической литературы, но открыл свою способность быть писателем-историком.

Роман Альберта Гурулева «Росстань» написан в добротной традиции таких произведений, как «Даурия» К. Седых и «Строговы» Г. Маркова. У молодого писателя обнаруживается свой стиль — лаконичный, чуть суховатый, но точный, рождающий зрительное впечатление: «Алеха Крюков выцелил рослого казака напротив своих ворот. Но вначале убил коня. Грохнулся конь о затвердевшую землю; на сажень отлетел, замер на мгновение оглушенный всадник. Алеха затвор успел передернуть. Поднялся казак и завалился навзничь — между лопаток темное пятно».

А. Гурулев написал роман на материале, который всесторонне разработан в советской литературе, и хотя ему удалось создать несколько живых, объемных образов амурских казаков и казачек, все-таки дальше предшествующих книг о гражданской войне он не продвинулся. Некоторое своеобразие есть разве что в изображении первых послевоенных лет.

Куда более щедрое отображение нашла тема военного детства.

В романе «Дикие побеги» Владимир Колыхалов изображает остяцкий поселок Пыжино на Оби, в Нарыме. Коренной сибиряк, он превосходно знает и природу, и людей, и бытовую обстановку во всех неповторимых подробностях. Ну где еще, кроме васюганских и нарымских болот, можно увидеть, как дикие утки из породы нырковых по весне в драке захватывают дупла на деревьях и старые вороньи гнезда! Водоплавающие живут на деревьях потому, что Обь, разливаясь по низине на сотни километров, не оставляет места для гнездовий.

«После паводков по Нарыму вода сплошь засоряет луга, потому-то и называют их здесь особенно: сорàми.

— Куда собрался? — спросит средь лета нарымский житель соседа.

— Да на сорá, паря, траву косить».

Русские и остяки живут и работают в одном колхозе, притерлись друг к другу, многие породнились, и только едва заметные оттенки в повадках, в устройстве быта отличают остяка от русского.

Именно такие подробности, увиденные тонким взглядом художника, сообщают богатый и сочный колорит роману.

Детство у двух друзей — русского Максима и остяка Пантиски — трудное, невеселое, лишенное мальчишеских радостей. В. Колыхалов много места уделяет изображению таких физиологических ощущений, угнетающих психику, как голод, изможденность, физическое перенапряжение. Измученные взрослые неласковы с детьми, этими «дикими побегами»...

Повествование течет по хронологической канве, роман заканчивается вестью о взятии Берлина. Есть завершенность общего исторического этапа, но нет романной завершенности судеб героев, даже того же Максима. Роман не организован сюжетно, от этого становится рыхлым, иногда напоминает цикл новелл, связанных лишь местом действия да именами героев. Простое нанизывание эпизодов на хронологический стержень произошло оттого, что автор не ставит себе никаких других идейно-художественных задач, кроме желания изобразить трудное детство в годы войны.

У героев повести Геннадия Михасенко «Кандаурские мальчишки» детство гораздо светлее, чем у Максима и Пантиски. Писатель изображает Южную Сибирь, обжитую, с благоустроенными селами вблизи больших городов. Если В. Колыхалов не позволяет ни себе, ни героям улыбки, шутки, то у Г. Михасенко как раз много светлого юмора.

Анатолий, не взятый в армию из-за глухоты, говорит пацанам:

«— Вот что, обормоты, вы сегодня часика через два явитесь ко мне на пресс-конференцию. Ясно? Точка. — И ушел.

Мы переглянулись:

— Про чего это он?

— Может, чай пить? — робко предположил Колька.

— Ну вот... За что нас чаем поить?»

Забавна и трогательна эта самокритичная убежденность ребятишек, что они не заслужили чаю. И время мельком отразилось в этом лаконичном диалоге: обычный чай воспринимается как награда!

Анатолий собрал «обормотов» для того, чтобы проинструктировать, как пасти овец; взрослых-то на селе не хватает. Ну а каковы эти новые пастухи, ясно из такой картинки: «Овечий поток легко подхватил нас и вынес во двор... Колька заскочил на какого-то барана, и тот смиренно повез его».

Г. Михасенко, так же как и В. Колыхалов, обладает счастливым даром художнического видения: «Шурка послал вперед бич ленивым движением, на биче вздулась волна и побежала к концу хлыста и там взорвалась с легким треском». «Мне на миг представилось, что у солнца есть тонкие, хрупкие ручки, и оно, с трудом выжимаясь на них, напряженно поднимается, как мальчишка из погреба».

Но и в этой повести нет ни философской концепции, ни психологических открытий, и она не уходит дальше простого желания зафиксировать в образах обстановку своего детства.

В повести А. Усольцева «Смородинный чай» взрослые так же, как у Михасенко, душевно относятся к детям и стараются уберечь их хотя бы от самых непосильных тягот, но все равно война, как и в романе Колыхалова, окрашивает детство трагедией, от которой никто уберечь не в силах.

Доня увидела в киножурнале сраженного пулей солдата и узнала в нем своего отца. Она потребовала прокрутить ленту еще раз. «Папка, — тихо произнесла Доня. — Это папка».

В повести есть прекрасный образ бригадира Ажарнова. Бригадир вынужден использовать ребятишек на взрослой работе, но хоть веселым отношением к ним, хоть шуткой хочет придать видимость игры этому нелегкому труду.

«Всем подъем! О-бщий подъем! — гремел у шалаша Ажарнов. — Проверить сбрую, постромки, вожжи, прицепить волокуши, р-разогреть бычьи моторы. Эй, Черемуха, Варче не забудь залить в картер воды! Кто вперед встанет, тому войлочный потник! Считаю до трех! Раз — потник, два — потник, два с половиной — потник, три — потник. Очень хорошо. Никто не встал... Так... Это чья нога? Нито... А это чья голова?

Через минуту весь муравейник копновозов был разворошен».

Умер Ажарнов от сердечного приступа, получив весть о гибели второго сына в Берлине. И вот реквием по нему ребятишек, где уже чувствуется повзросление:

«Шурик спросил чуть слышно:

— А кто нас сейчас по утрам поднимать будет?

— Сам встанешь, не маленький, — ответил Витька».

Военному детству посвящена и повесть Алексея Решетова «Зернышки спелых яблок». И здесь мы встречаем тот же круг образов: тихо скорбящая вдова Мариша, мелкий вымогатель-печник, дети с трудной судьбой. Разве что следует отметить немало психологических неточностей, которых почти нет в предыдущих произведениях.

Пацаны пугаются нарисованного Петькой на стене утопленника. Сам рисунок не описан, мы вправе считать, что он типа «точка, точка, запятая», — и как тут можно было выявить черты именно «утопленника», остается на совести автора. «Усатая неопрятная мороженщица показалась нам прекрасной феей» — конечно, эта фраза сочинена взрослым писателем, она того же рода натяжка, что и «утопленник». Уж если ребята вообразили прекрасную фею, то никакой «неопрятности» не заметят!

В русской литературе имеются великие произведения о детстве. М. Горький создал типы эпохи — дед, бабушка, Цыганок, — развенчал, взорвал изнутри царство Кашириных, как враждебный человеческой сущности образ жизни. Л. Толстой в «Детстве» совершил такие психологические открытия, которые до сих пор остаются достоянием не только литературы, но психологии и педагогики. Н. Гарин-Михайловский в «Детстве Тёмы» раскрыл трагизм детской души.

В современных произведениях о военном детстве мы встречаем черты эпохи и ее людей, атмосферу трудного быта. Конечно, это художественные свидетельства времени. Но все же невольно вспоминаются слова П. Киле: «Все пишут об открытии мира ребенком, подростком, отдельным человеком — это, конечно, важно, да, но здесь новизна мира относительна: каждый человек, в сущности, открывает то, что всем известно...»

У нас создано много очень значительных произведений и о фронте, и о тыле эпохи Великой Отечественной войны. И в общей массе удельный вес произведений о военном детстве, как явления первооткрывательского, очень невелик. Это все-таки вещи описательные, это личный опыт, схожий порой со среднестатистической типичностью, но не поднятый до типизации, которая всегда есть открытие.

«Молодая проза Сибири» широко охватила жизнь, с большим или меньшим успехом, в самых разных аспектах и проблемах. Менее всего можно уличить ее в областнической, «сибирской»

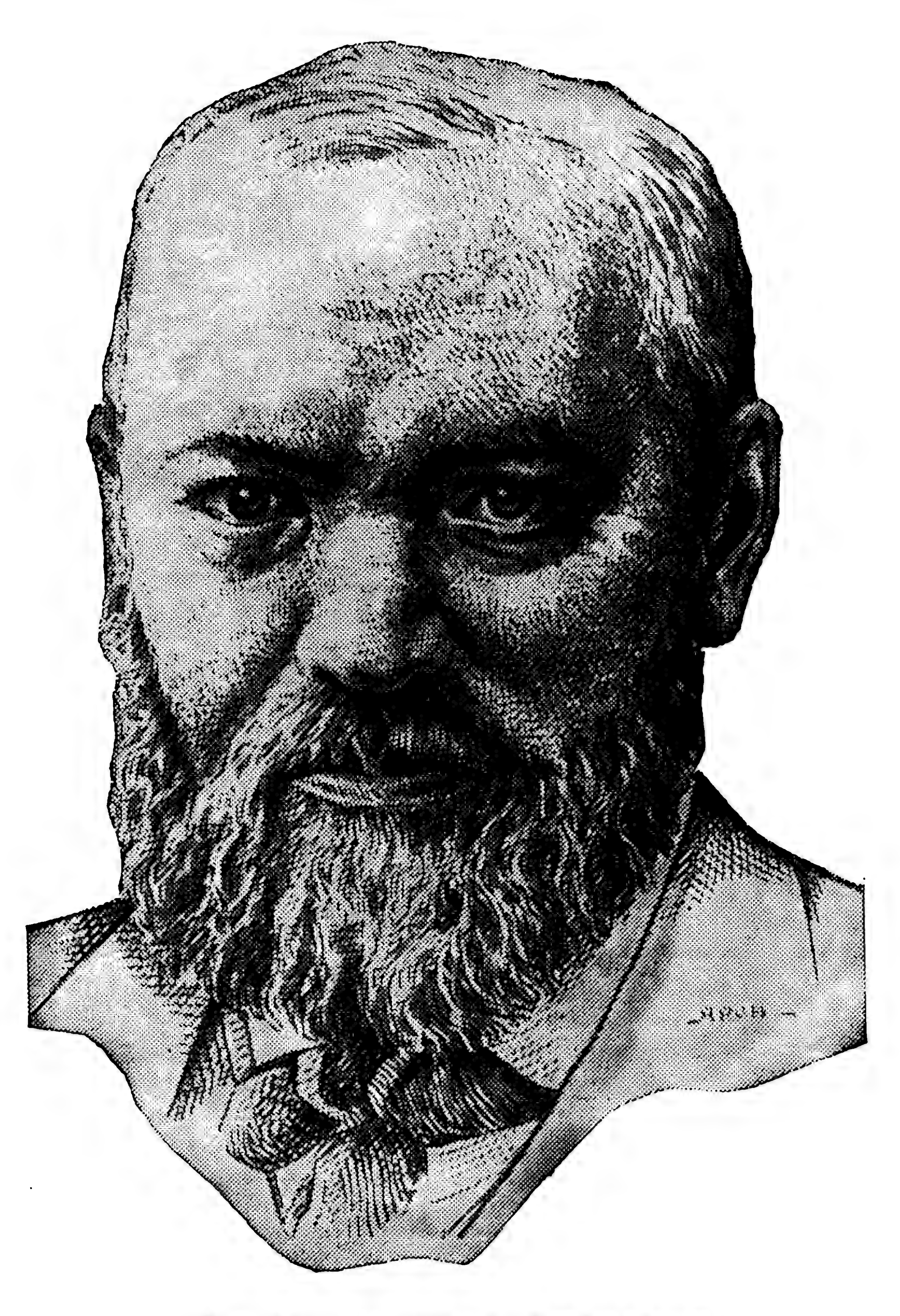
ограниченности. Источник, материал у нее действительно сибирский, но как раз придающий этой прозе особый аромат, колоритность.

«Молодая проза Сибири» по охвату действительности, по многообразию проблем — сколок всей нашей современной литературы, создаваемой молодым поколением советских писателей. В общем ряду средних и хороших книг, интересных, полезных, охотно читаемых выделяются уже и отличные, как, например, «Последний срок» Валентина Распутина или «Идти вечно» Петра Киле....

Любопытно, что как раз эти две прекрасные вещи словно бы спорят друг с другом. В. Распутин с некоторым подозрением смотрит на город и склонен в простой деревенской жизни видеть истинное хранилище народного духа. П. Киле страстно протестует против консервации национального духа, для него истинные ценности — только в мире городской культуры, лишь через нее он видит перспективы дальнейшего национального развития.

Настолько многообразна и противоречива жизнь, так стремительно и сложно ее развитие, что на одной неколебимой идейной основе соседствуют самые разные точки зрения. Это, кстати, еще и еще раз доказывает вопреки нашим идейным противникам, что литература социалистического реализма развивается и выражает себя совершенно свободно и одна точка зрения не подавляет другую. Разные произведения с разных сторон исследуют действительность, вкупе создавая ее объемный, не лишенный противоречий образ.

■



Александр Николаевич **ОСТРОВСКИЙ**

Рисунок Э. ЯРОВА

К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. Н. ОСТРОВСКОГО

Алла ТАРАСОВА,
народная артистка СССР,
Герой Социалистического Труда

ПРИНАДЛЕЖИТ ВЕЧНОСТИ

...Вчера на утреннем спектакле вновь мы играли «Без вины виноватых». В зале были зрители всех возрастов, и большинство прекрасно знали пьесу чуть ли не наизусть, чем начинается она и чем кончится. Но все равно, чувствовалось, переживают ее горячо и глубоко.

— Я так плакала, — рассказала мне одна зрительница.

— И я тоже, — отвечаю я ей.

И не могу иначе, потому что если вживешься в роль, созданную в пьесе Островского, то никогда не сможешь быть равнодушной. Всякий раз удивишься и растрогаешься ее полноте и подлинности.

С героинями Островского можешь идти сквозь десятилетия актерской жизни; будут меняться времена, эти смены обязательно отзовутся в рисунке ролей. Но одно будет неизменно: зритель всегда поймет тебя, всей душой отзовется на чувства, заложенные в классической пьесе.

Казалось бы, мир, обрисованный, скажем, в «Грозе», так отдален от нашего и так не похож на него (конечно, грозная свекровь может случиться и в соседней квартире, но мы говорим не о сюжетных ситуациях, а об укладе в целом), что трудно объяснить его так, чтобы вызвать живое сопереживание. Однако в том-то и дело, что не внешние приметы, пусть самые красочные, составляют сердцевину театра Островского, а глубокое знание жизни человека, самых основных и непреходящих его качеств. Собственный опыт позволяет мне от имени русских женщин поклониться Островскому за доподлинное, совершенное понимание нашей души. Всегда у него — психологическая естественность, полнейшая жизненность всякого слова и каждого поступка.

Иногда актеры и постановщики заявляют, что хо-

тят поспорить с классическим автором. Мне кажется, что это не совсем верно. Легче спорить, чем понять.

Как актрису меня воспитала наша мхатовская система работы над ролью. Если роль тебе поручена, то уже ежедневно, час ли, больше ли, ты должна остаться наедине с собой, вдумываться, вживаться в образ, то есть достигать понимания. И сколько ни работай над Островским, твое понимание становится все шире, обогащается новыми открытиями. Как было бы полезно иным современным драматургам увидеть этот внутренний процесс вживания в роль и вынести укор самим себе: вот в их пьесах такой природности чувств, пластичности переживания почти и не попадается; откровенно сказать, и текст трудно заучивается, в спектакле боишься сбиться, оговориться — слова какие-то необязательные, сама никак не поверишь и других не убедишь, что в подобном реальном случае живой человек выразится и поведет себя именно так.

Наша система... Но ведь в поисках ее Станиславский, как он мне сам рассказывал, обращался к секретам мастерства тех корифеев русской сцены, которые выросли на репертуаре Островского и которым драматург писал роли, дабы, например, развивался талант Ермоловой. Марию Николаевну Ермолову я застала на сцене — она как раз играла Кручинину вместе с Остужевым (Незнамовым) в «Без вины виноватых» — и отчетливо запомнила тот спектакль. Помню и рассказы про то, как волновалась Ермолова при каждом выступлении, даже концертном, как всегда она играла будто первый раз. И так понимаю ее!.. Теперь занимаюсь с самым-самым молодым актерским поколением. Репетируем мы «Последнюю жертву» (потому что, по моему убеждению, не может быть истинной школы, если актер не почувствует себя по-настоящему в ролях Островского). Когда начинает получаться у них живое, свое, радуешься и понимаешь, что традиция у нас не умозрительная, а живая, напрямую смыкающая современный театр с самим Островским.

Я имею в виду не взаимокопирование актеров, играющих одну и ту же роль, нет ничего хуже этого. Любое новое поколение и пополнение приносит на сцену веяния собственного времени. И у нас в Художественном театре приходилось мне вместе с соучениками по студии новым составом заменять исполнителей разных классических пьес. Измененный ансамбль менял и лицо спектакля, казавшегося прежде классическим и единственно возможным, и, освеженный, отражающий жизненные перемены, спектакль вновь обретал долгую жизнь и реалистическую целостность. Притом с драматургом никто не спорил, за какой-то архисовременностью не гнался, просто артисты искали понимания классики — да, своего, согласного своему времени, но обязательно уважительного к драматургу. И те составы, в которых была и я, уступали роли очередному поколению, и правило вновь подтверждалось: Островский, как и другой классик, вечен, вечно жизненны его герои и героини, а наше дело в любой век и в любой год их понять. Поймешь — и зрительный зал откликнется всем сердцем.

Я люблю героинь Островского, с которыми свела меня судьба, и убеждена, что не любить их невозможно. Да, движение эпохи вносило коррективы, что-то выделяло и подчеркивало; скажем, фильм «Без вины виноватые» вышел сразу после войны — и

зрительские письма отовсюду вплоть до самых дальних мест, письма, в которых обнажалась человеческая душа, так часто несли в себе благодарность за то, что фильм укрепил в ком-то надежду вновь найти свою мать...

Да, те или иные человеческие драмы, испытания, отразившиеся в пьесах Островского, так полно знавшего жизнь, могут волновать и вызывать прямой житейский отклик. Однако значение его наследства ни в коем случае нельзя ограничивать этим, есть еще и иной пласт, принадлежащий вечности.

Собственно, что случается с Катериной в «Грозе»? Говоря заурядно, изменила мужу. Что ж, бывает. Можно и смолчать, и уговорить себя, что никто не узнает, а раз шито-крыто, то и печалиться нечего... Но для Катерины здесь катастрофа. Такой уж она человек, такая душа, что пошлость и криводушие не по ней, не может она жить во лжи и обмане, чистота и цельность духовная не позволят. Оттого и разражается катастрофа, гроза. Житейский случай вытесняется нравственным испытанием, даже мысль о всякой пошлой обыденности отметается. И уж забываешь, что за чистотой и цельностью героини стоит чистота и цельность писателя, его личности.

«Гроза» — одна из ранних пьес Островского, «Без вины виноватые» — последняя. Но Катерина и Кручинина едины в своей чистоте и цельности, в том, что всем своим существом отвергают всяческую пошлость. Жили они, правда, в иные времена, и чтоб понять их, нужно прежде серьезно подумать. Но есть и другое соображение: жаль, что некоторые их черты, скромность их и мягкость, оказываются вроде не в чести у некоторых современных молодых женщин. Нет, не всякая новизна радует душу. А то ведь подражание загранице иногда представляет собой копирование худших ее образцов; я достаточно поездила по свету, чтобы утверждать, что дурное модничанье захватывает лишь малую часть тамошней молодежи. У нас и дома предостаточно отличных примеров ясных душ и светлых личностей!

Конечно, время воспитало в советской женщине многие черты характера, незнакомые Островскому, потому что их не было в тогдашней жизни. Но пусть нынешние девушки присмотрятся все-таки к Катерине, прочтут в ее поведении, в ее душе, в ее чувстве ответственности, в ее отношении к жизни полезный совет. Разумеется, «Грозу» для этого надо показывать в красках, созвучных сегодняшнему дню. Это может и должен быть очень остро сделанный и остро звучащий спектакль.

Допустим, религиозные мотивы во внутренней жизни Катерины не пробудят ныне сочувственного отношения, но духовная полнота, сила чувств ее столь же, по-моему, заразительна и сегодня, нельзя ей не сочувствовать. Катерина оступилась, обманулась (Борис ведь просто-напросто удрал, да и вообще высокой любви не заслуживал по своей мелкости), но все это неспособно исказить личность, поменять ее цельность на пошлость и подлость, отнять веру в добро.

Такую же серьезность и бескомпромиссность я видела у Островского, когда работала над ролью Негиной в «Талантах и поклонниках». Теми же высокими нравственными законами мерит свою жизнь Кручинина: полюбить она смогла лишь единожды в жизни, а когда любимый обманул ее, обманул чувство всеохватное и преданное, она не обозлилась на жизнь вообще, на-

оборот — старалась побольше сделать доброго людям, защитить их от жизненных передряг.

От этих героинь Островского, которых мне привелось сыграть, чем-то, может показаться, отличается Юлия Тугина в «Последней жертве». Но когда мы готовили тот давний спектакль, я не хотела осуждать ее в своей трактовке, понимать финал как ее падение, на которое она идет даже будто с некоторым вызовом. Хотелось понять... И стоило приглядеться — открылась натура доверчивая, любящая, в лучшем смысле жертвенная. А что дрогнула в трудную минуту — так и в жизни случается... Главное — себя не разменять... Нет, я не осуждаю Тугину, — вновь безукоризненно жизненная правда Островского помогла понять логику характера, сложное переплетение чувств, тоже не разрушающее цельности. Таков уж этот драматург — поймешь мир его образов, значит, и настоящая правда всегда с тобой. Скажу в подтверждение о следующем факте: «Грозу» режиссер Петров снимал в 1933 году, кинотехника была крайне несовершенна, звуковая — в особенности, вечно что-то не ладилось, то механика отказывала, то шум мешал; оттого вот и пришлось мне перед аппаратом играть сцену покаяния, самую напряженную и обнаженную, с рыданьями и криками, да, представьте себе, одиннадцать раз. Пока остановка и идет возня с техникой, отойду я в сторонку, чтоб не отвлекли и не развеселили, переберу в памяти Катеринины мытарства и радости — и опять ощущаю живой ее характер, верю в нее и... плачу именно неподдельно.

И я убеждена: глубина и истинность чувств высоких и светлых, пронизывающие пьесы Островского, вечно будут открываться людям и вечно будут их волновать и делать лучше. Александр Николаевич Островский знал жизнь, знал людей и сам говорил, что какие-то слова и монологи, поражавшие в тот день, могут после потерять захватывающее свое звучание (кстати, и актерам, своим современникам, он доверял, был покладист, когда предлагались сокращения и поправки в тексте), смена времен повлечет за собой смену акцентов; но главное останется навсегда, не потеряет своей сердечной и поучительной истинности, потому что человеку и народу всегда будут дороги цельность и честность. Конечно же, он не ошибся. Мы благодарно подтверждаем его предвидение.

■

ЖИЗНЕУТВЕРЖДЕНИЕ

В марте 1973 года исполнилось 60 лет со дня рождения известного советского поэта, драматурга и публициста лауреата Ленинской премии Сергея Владимировича Михалкова.

Его добрые, полные светлого юмора и душевной энергии стихи, песни, пьесы знают в нашей стране и за ее пределами дети и взрослые. В самом деле, трудно встретить читателя, какого бы возраста он ни был, который бы не знал этих хрестоматийных стихов:

В доме восемь дробь один
У заставы Ильича
Жил высокий гражданин
По прозванью «Каланча»,

По фамилии Степанов
И по имени Степан,
Из районных великанов
Самый главный великан.

Дядя Степа стал подлинно народным любимцем, ибо он воплотил в себе лучшие черты народного характера. Этот характер проявляется в нем всегда и всюду, где бы он ни был, на каком бы посту ни приходилось нести ему службу.

И это не случайно. Истоки характера героя С. Михалкова — в героических буднях первых пятилеток, в творческом энтузиазме народа, строящего социализм. Тогда входил в литературу и сам поэт. А. Фадеев, С. Маршак, А. Гайдар — вот те литераторы, в кругу которых мужает и крепнет незаурядный самобытный талант молодого поэта советской детворы.

Первый сборник его стихов для детей и юноше-

ства, вышедший в 1936 году в библиотеке «Огонька», был замечен и поддержан добрым словом Ромена Роллана.

Шли годы. С. Михалков, верный своему острому чувству времени, откликается на главные события жизни не только стихами, но и пьесами, и публицистическими статьями.

Они воспитывали в наших ребятах, в наших юношах мужество, волю, черты нового человека социалистического общества. Подлинной классикой детского театра стала пьеса «Красный галстук». Двадцать лет не сходит со сцены пьеса для самых маленьких «Зайка-зазнайка».

Но добрый юморист нисколько не теснит в Сергее Михалкове резкого сатирика, пристрастного в своем обличении международной реакции, жаждущей развязать новую мировую войну, и пережитков прошлого как в отношении к человеку, так и природе. И всюду при этом С. Михалков остается верен основной доминанте своего творчества — утверждать светлое в жизни. В этом жизнеутверждении и скрыто основное свойство его творчества, обеспечивающее лучшим его произведениям завидное долголетие.

Свою литературную деятельность Сергей Владимирович Михалков сочетает с большой государственной и общественной работой. Он депутат Верховного Совета СССР, председатель Правления Союза писателей РСФСР, академик Академии педагогических наук СССР, главный редактор журнала «Фитиль». И на каждом из этих ответственных участках работы проявляет свою жизнеутверждающую сущность писателя-гражданина и коммуниста.

Шестьдесят лет — это итог прожитого. Но это и не предел для новых творческих свершений, которых с нетерпением ждут читатели разных возрастов от любимого своего поэта Сергея Михалкова.

■

ТЕМ, КТО УЧИТСЯ КОММУНИЗМУ

В истории никогда не сходил с повестки дня вопрос: каким будет, с кем пойдет молодое поколение? Во все эпохи ответ на этот вопрос искали не только политики и историки, ему посвящены произведения великих поэтов и писателей, мыслителей всех веков. Пристально изучали его классики научного коммунизма, вожди пролетарского революционного движения.

...В свое время издательство «Молодая гвардия» выпустило сборник «В. И. Ленин о молодежи», куда вошли работы, в которых Ленин говорил о роли и задачах молодежи, об отношении к ней нашей партии и о других принципиальных политических и социальных проблемах в этой области. Сборник оказал большую помощь широкому кругу молодежи и комсомольцев, пропагандистов и историков в их работе над изучением многообразных проблем, связанных с молодежью и молодежным движением. Книга издавалась за это время уже шесть раз (с дополнениями), а потребность в ней нисколько не уменьшается.

К сожалению, долгое время мы не имели такой же книги, собравшей работы К. Маркса и Ф. Энгельса о молодежи, либо касающиеся ее проблем.

Теперь такой сборник появился *. Он дает возможность глубоко и взаимосвязанно осмыслить собранные в одном издании высказывания К. Маркса и Ф. Энгельса о молодежи, их взгляды на социальную сущность молодежных проблем. Материалы сборника — фрагменты из произведений, статьи и письма Маркса и Энгельса — систематизированы по трем основным разделам: «Положение молодежи в капиталистическом обществе, борьба за права молодого поколения», «Роль молодежи в общественно-политической жизни и классовой борьбе», «Воспитание и образование молодежи».

Тематическое расположение работ и соблюдение хронологической последовательности дают возможность проследить эволюцию взглядов Маркса и

*К. Маркс и Ф. Энгельс о молодежи. М., изд-во «Молодая гвардия», 1972.

Энгельса на молодежные проблемы по мере роста и развития капитализма и классовой борьбы.

Каждое произведение основоположников марксизма, представленное в сборнике, — это обвинительный акт прошлому и настоящему капитализма. Во имя наживы, чистогана и прибылей — жесточайшая эксплуатация детского и юношеского труда. Дети, подростки и юноши превращены в живой товар, в придаток машины, обречены на нищенство и вымирание, поставлены в более тяжелое положение, чем даже взрослый человек.

Еще в марте 1839 года Энгельс в своих «Письмах из Вупперталя» писал: «В одном Эльберфельде из 2500 детей школьного возраста 1200 лишены возможности учиться и растут на фабриках — только для того, чтобы фабриканту не приходилось платить взрослому рабочему, которого они заменяют, вдвое против той заработной платы, которую он дает малолетнему. Но у богатых фабрикантов эластичная совесть, и оттого, что захачнет одним ребенком больше или меньше, душа пиетиста еще не попадет в ад, тем более если эта душа каждое воскресенье по два раза бывает в церкви». Сколько горечи и сарказма в этих словах, сколько обличения! Но по мере развития капитализма положение молодежи еще больше ухудшилось. Вот отрывок из «Капитала»: «Поскольку машины делают мускульную силу излишней, они становятся средством применения рабочих без мускульной силы или не достигших полного физического развития, но обладающих более гибкими членами. Поэтому женский и детский труд был первым словом капиталистического применения машин! Этот мощный заменитель труда и рабочих превратился тем самым немедленно в средство увеличивать число наемных рабочих, подчиняя непосредственному господству капитала всех членов рабочей семьи без различия пола и возраста. Принудительный труд на капиталиста не только захватил время детских игр, но овладел и обычным временем свободного труда в домашнем кругу для нужд самой семьи...

Раньше рабочий продавал свою собственную рабочую силу, которой он располагал как формально свободная личность. Теперь он продает жену и детей. Он становится «работорговцем». Что может быть страшнее и чудовищнее положения, на которое обрекает рабочего капитализм!

Маркс и Энгельс не ограничивались лишь констатацией фактов, рисующих ужасное положение молодого поколения, они вели непрерывную, непримиримую борьбу за его права. Так, в «Инструкции делегатам Временного Центрального Совета по отдельным вопросам», составленной Марксом для делегатов Первого конгресса Международного товарищества рабочих, выдвигалось, в частности, требование запретить предпринимателям «применять труд детей и подростков, если он не сочетается с воспитанием». Энгельс в замечаниях на программу Социал-демократической партии Германии писал в декабре 1891 года о необходимости включения в эту программу пункта о 6-часовом рабочем дне для детей до 18-летнего возраста

и о запрещении ночной работы для женщин.

Много лет прошло с тех пор. Человечество прошагало почти уже три четверти нового, XX столетия, а положение пролетарской молодежи в капиталистическом мире остается по-прежнему невыносимым.

Как ни парадоксально, но научно-техническая революция, повсеместный технический прогресс, ускорившие рост и концентрацию производства, не облегчили труда рабочих, не улучшили их положения, а напротив — во много раз усилили эксплуатацию пролетариата. Капитализм обрекает молодежь на бесправие, безработицу и бесперспективность. Только, по данным американских ученых, удельный вес молодых людей в возрасте от 16 до 21 года в общей армии безработных США в четыре раза выше, чем взрослых; каждый четвертый представитель этой возрастной категории без работы. Еще более печально положение «цветной» молодежи. Согласно официальным данным, родившийся сейчас в США негритянский ребенок имеет вдвое меньше шансов закончить среднюю школу, в три раза меньше возможностей стать специалистом и в два раза больше — оказаться безработным, чем появившийся на свет в том же месте и в тот же день белый ребенок. У негра продолжительность жизни будет на семь лет меньше, чем у белого; он сможет зарабатывать лишь половину того, что доступно белому.

И так во всех странах капиталистического мира. В Германии число безработной молодежи в последнее десятилетие составило 13—14 процентов от общего числа безработных, в Англии — 16,4 процента, во Франции в 1968 году не имело работы около 200 тысяч молодых людей и т. д. Но и та молодежь, которая имеет работу, подвергается постоянной дискриминации.

Факты бедственного положения молодого пролетарского поколения показывают, что капитализм XX века ничуть не лучше того, каким он был в прошлом столетии. Только формы эксплуатации и подавления личности стали более изощренными.

История подтверждает — все написанное Марксом и Энгельсом о положении молодежи в капиталистическом обществе продолжает служить могучим идейным оружием в борьбе против капитализма.

Другая часть созвучных нашему времени проблем, которые отражены в сборнике, касается роли молодежи в общественно-политической жизни и классовой борьбе. В этом разделе помещено большое количество работ Маркса и Энгельса, которые позволяют судить, сколь внимательно они изучили развитие революционного движения в России, какое значение придавали русской революционной молодежи, как заботились о ее воспитании, дабы уберечь ее от влияния псевдореволюционных теорий и течений вроде анархизма Бакунина. Вот, например, как отзывался Энгельс в 1872 году о новом поколении молодых русских революционеров: «...Что касается русских вообще, то существует огромная разница между ранее приехавшими в Европу русскими дворянами-аристократами... и теми, кто приезжает теперь, —

выходцами из народа. Среди последних есть люди, которые по своим дарованиям и характеру, безусловно, принадлежат к лучшим людям нашей партии; парни, у которых выдержка, твердость характера и в то же время теоретическое понимание, прямо поразительны...»

О высоком уважении Маркса к русскому революционному движению, к молодым русским борцам за свободу свидетельствует его согласие в 1870 году принять почетную обязанность быть представителем русской секции в Генеральном Совете Интернационала. Свое письмо членам комитета русской секции в Женеве он закончил словами: «Такие труды, как Флеровского и как вашего учителя Чернышевского, делают действительную честь России...»

В последнем разделе сборника читатель найдет размышления и указания Маркса и Энгельса о воспитании и образовании, выборе и определении цели своей жизни, будущей профессии и т. д.

Здесь большой поучительный интерес представляет сочинение, написанное Марксом в семнадцатилетнем возрасте на выпускном экзамене в Трирской гимназии «Размышления юноши при выборе профессии».

«Если мы избрали профессию, в рамках которой мы больше всего можем трудиться для человечества, то мы не согнемся под ее бременем, потому что это — жертва во имя всех; тогда мы испытаем не жалкую, ограниченную, эгоистическую радость, а наше счастье будет принадлежать миллионам, наши дела будут жить тогда тихой, но вечно действенной жизнью, а над нашим прахом прольются горячие слезы благородных людей». Как современно звучат эти зрелые мысли юного Маркса!

Всю жизнь Маркс стремился своими работами воспитывать рабочих и прежде всего рабочую молодежь. Энгельс, критикуя молодых партийных литераторов за пренебрежение к изучению политической экономии и других общественных и конкретных наук, приводил в пример Маркса: «Эти господа воображают, что для рабочих все годится. Если бы они знали, что Маркс считал свои лучшие вещи все еще недостаточно хорошими для рабочих, что он считал преступлением предлагать рабочим что-нибудь не самое лучшее!..»

Подобная щепетильность была присуща и самому Энгельсу. Этим же прекрасным качеством отличался и В. И. Ленин. Они жили и творили для пролетариата.

Каждая строка их произведений дышит духом классовой борьбы. В этой священной борьбе они отводили большую роль пролетарской молодежи, стремились к тому, чтобы вырвать из среды других классов наиболее передовых, прогрессивных молодых людей, сомкнуть их с пролетарской молодежью. Коммунисты всех стран мира продолжают дело своих учителей, ведя постоянную борьбу за молодежь в странах капитала.

История, по выражению основоположников научного коммунизма, — это последовательная смена поколений, каждое из которых использует все, что накоплено предшествующими поколениями, умножая то, что способствует его продвижению вперед. В этом и проявляется в пер-

вую очередь социальный и общественный прогресс.

Вопрос о преемственности поколений, о формах и методах воспитания молодежи приобрел в наши дни особую остроту в связи с попытками защитников империализма затушевать обостряющуюся классовую борьбу пролетариата и буржуазии в капиталистическом обществе, подменить ее надуманной борьбой поколений. Антикоммунисты всех оттенков доискиваются способов разорвать революционную преемственность поколений в странах социализма, и прежде всего в Советском Союзе, поссорить молодежь со старшим поколением. Свои иллюзии враги социализма строят на том, чтобы с помощью антисоветской пропаганды, подслащенной лицемерными сказками о капиталистическом рае («свободном мире»), возбудить в СССР острый идеологический конфликт между «отцами и детьми», оторвать нашу молодежь от ее идеала — марксизма-ленинизма, являющегося основой мировоззрения всех советских людей. Буржуазные проповедники тешатся несбыточными надеждами идейно разоружить советское юношество, ослабить его патриотические чувства, трудовой энтузиазм, жажду учиться коммунизму.

Однако еще основоположники научного коммунизма, изучая и рассматривая проблемы молодежи применительно к капиталистическому обществу, научно показали, что детский и молодежный вопрос следует рассматривать только с классовых позиций, только с точки зрения пролетариата и того положения, какое занимает молодежь в обществе, чьи интересы отражает и за чьи интересы борется. Решение всех проблем рабочего класса, в том числе и судеб молодежи, они связывали с победой социализма.

Ни одно общество не могло дать молодежи такой величественной, грандиозной и такой прекрасной задачи, какую перед ней поставил социализм, — молодым строить коммунизм. «Страна наша, великий наш народ, — говорил Л. И. Брежнев на торжественном пленуме ЦК ВЛКСМ 25 октября 1968 года, — строят коммунизм. Входить в его светлое здание, утверждать между людьми новые отношения, о которых тысячелетиями мечтали лучшие умы человечества, во имя которых отдавали жизнь многие поколения революционеров, — предстоит вам, сегодняшним комсомольцам Советской страны. Но чтобы достойно выполнить эту историческую миссию, нужно к ней хорошо подготовиться, ***нужно учиться коммунизму***». Учиться коммунизму — задача ответственная и многогранная, она включает в себя целый комплекс требований практического, теоретического, морального характера.

Разобщенное же на антагонистические классы капиталистическое общество не может выдвинуть перед молодежью какой-либо общей привлекательной, благородной задачи, поставить великую цель.

Вспомним для сравнения резолюцию XVI съезда ВЛКСМ: «Партия и советский народ неизменно оказывают комсомольцам и молодежи высокое доверие — непосредственно участвовать в управлении делами государства», в создании материально-технической базы коммунизма,

во всех великих делах партии и народа.

Еще и еще раз обращаясь к материалам комсомольских съездов и конференций, мы нигде не найдем пресловутой проблемы «отцов и детей». Естественно, там указывается и на отдельные недостатки, которые встречаются в той или иной области жизни и работы молодого поколения и которые следует устранить, но это ни в коей степени не проявление какого-либо антагонизма или конфликта между молодыми и людьми старшего возраста. Просто таких конфликтов нет в природе социалистического общества. Пора бы это уяснить нашим идеологическим противникам.

Прочитывая написанное Марксом и Энгельсом о проблемах молодежи того времени, убеждаешься, насколько важны и полезны их мысли и приведенные факты на нынешнем этапе всемирной борьбы за социализм, в воспитании человека будущего.

Профессор В. МУШТУКОВ

И МИР ОПЯТЬ ПРЕДСТАНЕТ НОВЫМ

Предисловия к книгам молодых писателей то и дело уведомляют о трудной биографии прозаика или поэта, отмечают его физическую работу — слесарем, грузчиком, мотористом. Однако, закрыв последнюю страницу, читатель обыкновенно иронически вздыхает: «Скажи на милость — никак бы не подумал», потому что деятельность рук и ума часто никак не соединяется, а проза оказывается настолько эфемерной, словно была выращена в лаборатории.

Ивану Корнилову * подобное предуведомление не надобно. Когда автор в рассказе «Сырые запахи реки» пишет, что для матроса-речника «самый распроклятый аврал — это арбузный аврал», и объясняет почему, мы с первых слов видим, что познание дается ему не писательским воображением, но самою спиной, ее усталостью и болью (знание прочное, основательное, рожденное не набегом, но просто постоянной работой). Видя, как герой повести «Одно только лето» обнаруживает на ячменном поле — от скверного сева — строчки семян снаружи, и слушая, как он, срывая голос, кричит на тракториста: «Сейчас же прицепляй бороны и полосуй поперек поля! Крутись-вертись, как черт на углях! И чтоб ни одного зернышка...», мы скоро понимаем — автор знает землю и крестьянское дело тоже не со слов. В рассказе «Знать бы заранее» мы увидим писателя студентом-филологом, а уж газетчик скажется сам собою, даже если об этом не уведомлять ни рассказом, ни предисловием, скажется в прямом, открытом формулировании истин, кото-

* Иван Корнилов. В бесконечном ожидании. Повести. Рассказы. М., изд-во «Современник», 1972.

рые являются в этот час самыми важными.

«Когда уже за тридцать и когда понимаешь, что прошлая жизнь ухлопана на пустяки, легко отрекаешься от многих соблазнов и бережешь минуты для нового, для своего, для истинного дела, вырывая эти минуты у суеты сует, у выходного и у сна. В этом яростном стремлении человек становится эгоистом, он плюет на все, что о нем говорят и думают, он видит перед собой только цель». Или вот в другом месте:. «Коротка, до обидного быстротечна жизнь человека, и надо постараться прожить ее красиво. В моем понимании красиво прожить жизнь — это чем-нибудь, улыбкой ли, добрым словом или хотя бы удачной строкой, приносить радость другим».

Такие «открытые» страницы достаточно часты в биографических рассказах. Когда же автор поступается «я» и оделяет героев своей плотью и жизнью, проза обретает чистые и крепкие формы и радует даже самого избалованного читателя, привыкшего понимать с полуслова, умеющего читать и эскизы, был бы верен рисунок. Тогда-то вступает в силу тот закон плодотворных отношений между писателем и читателем, что можно определить в житейских выражениях — каждый уносит столько, сколько может захватить. Одно и то же верно обозначенное чувство продиктует читателям выводы разной глубины, каждому — по его подготовленности.

Еще слишком сильно удивление прозаика перед многообразием мира, его горькой и радостной сложностью, еще продолжается первое открытие мира. И оттого маленькие открытия автора вдруг делаются и нашими открытиями. Взгляд очищается, свежеет. В рассказе «Нинка Цаплина» герой, отмечая, что время порою проходит сквозь нас, словно не задевая, удивляется: «Не меняемся мы, нет! Как все это интересно. И как в то же время печально». Это ведь открытие.

Вот мальчик слышит в себе землю:

«И как только стала спадать музыка, Васю начало знакомо вязать холодом, и когда он окончательно пришел в себя, то понял: это все только что клокотавшая музыка, улегаясь и стихая, вылилась в один-одинешенький голос — тот единственный на свете голос, как если бы над поспевающими овсами завис чей-то протяжный крик».

Прозаик редко пользуется «чистым» пейзажем. Он у него всюду освещен человеком, соединен с ним неотрывно. Поэтому Корнилов, когда его герою трудно, может укорить природу и сделает это не однажды в книге, словно боится, что она не расслышит его, а докричаться надо обязательно. Пять минут назад радостный герой рассказа «Охота на стрекоз» узнает о горе мальчика, и мир тотчас меняется для него: «Птичье и насекомое ликование не нравилось мне. Оно мне казалось фальшивым. В нем чудилось мне нечто натужное и нервическое, что-то похожее на пир во время чумы». И эти укоры природе от того же свежего, молодого взгляда на мир как на существо единое.

В предисловии к книге Григорий Коновалов писал: «Ставить в особую заслугу Ивану Корнилову то, что в книге рассказывается о жизни лю-

дей труда, как-то неловко, потому что люди эти не составляют исключения из общества». Это правда.

Герои И. Корнилова как раз знакомые: молодой человек, первый год работающий в чужом селе после армии («Одно только лето»), медсестра, влюбленная в физика-атомщика, районный газетчик, студент, шофер. Но самостоятельность взгляда, замечательная доброта и какая-то особенная первичность (словно никогда и не писались до Корнилова книги, словно мы и не знали таких ситуаций и таких героев) придают книге живой смысл. Будто писатель начал сызнова, с первой строки, сам, и в этой изначальности мир открылся совсем новым — крепким, добрым и обнадеживающе цельным. Это простая и для изощренного слуха, может быть, временами наивная проза, но в ней есть главное, важнейшее — обновленное и очищенное слово о молодом современнике и умное, здоровое представление о мире. Для внимательного и терпеливого читателя очень дорог такой негромкий, но подлинный голос.

Вал. КУРБАТОВ

СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД, ЖИВОЙ ГОЛОС

На заглавие повести сначала не обращаешь особого внимания — оно обычно, в нем не заметно какой-либо притязательности — «Седые тальники» *. Тем более что первые строчки обещают заманчивый «таежный» сюжет: «Котьки хватились вечером...» Правда, на десятой странице этот сюжет исчерпывается — мальчика Котьку благополучно нашли. Однако читатель уже в плену точного и убедительного описания жизни охотников. В книге ничего нет экзотического, поражающего наше воображение, просто показано, как люди спокойно и разумно занимаются своим делом: на дворе осень, и в преддверии промыслового сезона они ладят снаряжение, едут на лодках к своим лесным избам, чтобы приготовить там все для долгой и трудной зимовки. А потом в повести попадутся и такие строчки:

«Подул ветер, срывая листья с тальников, и, как бы горячие перебрасывая с ладони на ладонь, играл ими... Тальники-подростки с белесыми стебельками заселили галечные островки. Ведь квелые с виду, тонкие лозинки, а как держатся в наводнение! Перед потоком не могут устоять кедры и ясени, тальники же стелются травой, прижимаются к самой земле; вода и песок до живого тела рвут с них кору. Но едва схлынет бурная вода, и опять поднимаются тальники легко — во весь рост. Зимой им приходится туго. Сквозит, свистит в них пурга, и не за чьи спины укрыться им. Сутулятся тальники, стоят, терпят... Обжили чистую гальку на островах и

* Анатолий Максимов, Седые тальники. Хабаровское книжное издательство, 1972.

словно от стужи да невзгод поседели...»

Эти ненавязчивые строчки на краткий миг перебивают разговор отдыхающих на берегу у костра охотников и именно своей естественностью как бы озаряют житейскую обыденность светом сокровенной авторской мысли. Теперь уже образ стойких тальников, заселивших галечные неуютные островки, будет сопутствовать читателю на протяжении всей повести. Нет, автор и не напомнит о них, но, рассказывая о том, как промышляли зиму в тайге, обходя многокилометровые «путики», как жили-были по своим зимовьям Федор с Башаном, нанаец Иван Иванович с Митькой Крикуном, он ни на минуту не забывает, что такими людьми всегда жива и крепка жизнь человеческая. Эта главная мысль легко прочитывается в повести. Анатолий Максимов не гонится за резкими, драматическими внешне событиями, не создает для героев остроконфликтных ситуаций. Он неторопливо следует за повседневным ходом событий, и свои знания о мире и человеке «добывает», вглядываясь в спокойный, будничный ход жизни. Ведь действительность всегда содержит в себе конфликты. От умения и таланта писателя зависит, как эта жизнь, содержащая в себе драматическое зерно, будет выглядеть на бумаге: или правдивым отражением, которое самому читателю не составит труда оживить чувством реальности, или не менее правдивым в частностях, но искусственно сведенным к драматической ситуации, которая воспринимается как голое назидание.

Отметим еще одно свойство художественной манеры, в которой написаны «Седые тальники»: автор как бы все время стоит за спиной своего героя, видит в основном только то, что вызывает какую-либо реакцию персонажа, а если при этом человек — личность вполне самостоятельная, то она сама по себе становится достойной читательского внимания. Читатель получает возможность видеть жизнь в ее самом непосредственном выражении.

При всей внешней неброскости письма А. Максимов, как художник, отменно точен в слове. Для каждого героя у него находятся своя интонация, свои определения. Это нетрудно заметить даже в такой маленькой сценке — охотники устраиваются на ночлег, и каждый это делает по-своему: «Башан лег вместе с Федей в его спальник и сразу начал насвистывать носом. Митька Крикун тоже залез в свой мешок, как в берлогу, и успокоился. А старый Юкомзан еще долго светил трубкой и причмокивал...»

Так по-разному сказано о каждом из охотников, для каждого нашлось свое слово, и вся картина вроде бы закончена. Однако А. Максимов добавляет про старого нанайца: глядя на звезду через прожженную дырочку палатки, тот подумал так: «Зачем остановилась, иди дальше... У меня свои заботы...»

Этот мимолетный «разговор со звездой» своей лаконичной языческой конкретностью и даже интонацией выделяет образ старого нанайца из всей группы охотников.

Такая точность в слове не от скупости, но от богатства знаний и дела, и быта охотников, от художественной чуткости к самой натуре.

Индивидуальность, едва на-

меченная на первых страницах повести, постоянно углубляется в дальнейшем — незаметным, как бы случайным словом. Огнев в разговоре хлопнет «по острому колену Юкомзана»... Пес, будто понимая печальную минуту хозяина, будет «скучно» ходить за ним... Простодушный Башан, придя в зимовье к соседям, «выхлебал из кружки горячий чай, прилег на нары покурить, да и уснул», а охотовед Огнев тоже сильно устал после долгой дороги, «однако беседовал с нанайцем о таежных житейских мелочах»... Постепенное действие этих точных, к месту сказанных слов делает героев настолько зримыми и живыми, что, когда автор уже и не говорит о том, как именно сказал Митька или Юкомзан, нам не составляет труда услышать живую интонацию их голосов.

«— Да ты как раз пришел, начальник... Видишь это? (Митька показывает внезапно, среди зимы появившемуся у зимовья Огневу распавшийся капкан.— **Ю. Г.**) Я вез его на лодке и на вертолете, а тут выбрасывать надо!..

— Скажи спасибо, что хоть такие ловушки есть, — сердито ответил усталый и голодный охотовед...

— Мне-то что, мне надо соболей ловить!..»

При всей разности характеров охотникам свойственна истинная человечность, искренняя забота друг о друге, хозяйское отношение к природе, к своему многотрудному делу. Жизнь охотников далека от идиллической безмятежности, и проблемы этой жизни не ограничиваются тайгой. «Большая» жизнь — это не только вертолеты, капканы на точечной сварке и транзисторы в зимовье охотника. Главное — это мысли о лучшей организации охотничьего дела, о которой мечтают Огнев и старый Юкомзан.

Сами же охотники свое дело знают прекрасно. В трудную минуту таежной жизни они всегда придут друг другу на помощь. Анатолий Максимов убедительно и ненавязчиво показывает, что именно этим и может жить человек.

Но и среди охотников бывают люди, способные лукавить, хитрить, наживаться за чужой счет. Этот путь ведет человека к неминуемому поражению, к гибели нравственной или физической. Человек, идущий по такому пути в жизни, всегда на грани преступления.

Именно эта мысль художественно верно и убедительно доказана образом охотника Ухватова. Еще в первой главе читатель, безусловно, обратит внимание, как жажда легкой добычи (подстрелить неподалеку от деревни «мирного» медведя — «тут и желчь, и тридцать рубликов, и мясо...») чуть было не обернулась трагедией — по медвежьей тропе шел ночью заблудившийся Котька. По мере того как автор все глубже и шире показывает нам Ухватова, его мораль, по которой он живет и промышляет в лесу, мы видим, насколько опасны и вредны принципы такого человека. Да, они опасны и для него самого, и трагический конец Ухватова (отправился к медвежьей берлоге один, чтобы не делить добычи) стал естественным возмездием, логическим завершением образа.

А. Максимов не склонен украшать жизнь и работу охотников-промысловиков таежной романтикой. Любое украшательство в конечном

счете ведет к упрощению. Сезон в тайге — это испытание людей на силу воли и духовную стойкость. Сезон в тайге — это испытание человека и на одиночество, потому что таково уж охотничье ремесло, самое, может быть, древнее на земле.

Однако герои повести — наши современники, и их интересы и думы выходят далеко за пределы профессиональных забот. И потому в таком понятном читателю напряжении проходят в таежных зимовьях последние дни сезона: в тайге весна, дела завершены, «кончился керосин, и на столике коптит жестяная банка с тряпичным фитилем...». Охотники ждут вертолета, который должен отвезти их к родным семьям, к шумному многолюдству...

Психологическая убедительность героев повести делает их близкими читателю, и нам не составляет труда ясно видеть не только своеобразие охотничьего промысла, но и многие проблемы хозяйственного порядка, к этому промыслу относящиеся.

«Седые тальники» А. Максимова предлагают читателю серьезную тему для размышлений о жизни и труде нашего современника. Повесть имеет на это право и по мысли своей, и по высокому уровню исполнения.

Ю. ГАЛКИН

ПЕВУЧАЯ ДУША

Случается так, что вот посмотришь подряд несколько фильмов, а потом и не сразу скажешь, что́ для тебя в них было главное. То ли эпизоды какие, или детали, или общий, как говорится, настрой. Тем не менее впечатление остается, и оно с течением времени становится частицей уже твоего опыта.

Так произошло и на сей раз, когда я посмотрел программу Киевской студии документальных фильмов. Программа эта показывалась в Доме кино, в Москве.

Нельзя сказать, чтоб тут полностью раскрылось лицо документального кинематографа республики. Но все же материал достаточно богат, чтобы судить о достижениях и возможностях украинских мастеров экрана.

Об этом и будет разговор.

Человек — личность и выразитель интересов массы. Это будет, пожалуй, то равновесие, которого добиваются в своих фильмах все документалисты, тут гармония качеств киногероя, личных и общественных.

Как же соотносятся в структуре кинокартин эти личные и общественные начала?

Развитие документального кинематографа вело к тому, что ныне можно видеть немало фильмов, о которых мы можем сказать: гармония, равновесие там, где личные качества «киночеловека» есть квинтэссенция качеств народа, а все поведение, труд, подвиги, сама его жизнь направлены на служение народу.

Все это, существуя в дей-

ствительности, получает вторую жизнь в произведении искусства, трансформируясь по законам построения фильма, по законам, которыми либо хорошо, либо посредственно владеют киноавторы. Главным же остается вот что: сколь близка реальности та или иная картина, сколь типичен и важен для жизни показанный киногерой.

В фильме «Михаил Исидорович» главный герой — известный хирург М. И. Коломийченко.

Не сразу авторы нас знакомят с ним, прежде слово дано тем, кого оперировал профессор... Слова благодарности и восхищения, слова искренние, убедительные, речи взволнованные, глаза увлажненные...

Фильм так и сделан: одна его «страница» — спасенные М. И. Коломийченко люди, вторая — он сам, третья — студенты, слушающие его напутствие.

Но что интересно, за этими слоями лежит еще невидимый, но, пожалуй, не менее важный слой — то, что называют родником, питающим жизнедеятельность человека, истоком жизни каждого из нас.

Восьмидесятилетний человек, видавший все и вся, вспоминает детство, мать... «Готовлюсь к концу жизни... Меня воспитывала мать, одевала, кормила. Учился я в церковноприходской школе, и мать по утрам определяла, кому из нас идти туда: сапоги одни были на всех...»

Глубокая осень жизни... М. И. Коломийченко вправе подвести итоги, но делает это не он, а люди, его окружающие или бывшие когда-то с ним. Вот это единение одной жизни с жизнями многих и есть главный итог земного пути Михаила Исидоровича.

Сам из народа и жизнь свою отдает народу. И в 80 лет продолжает свое нелегкое дело...

А еще запомнился М. И. Коломийченко уставший, грузно опустившийся на белый больничный табурет и задумавшийся... В этом небольшом эпизоде, которого все же хватило нам, чтобы мы поняли наконец, *кого, какого* человека мы видим на экране, пожалуй, было зерно для более широкого (чисто изобразительно) показа личности профессора. Как раз этот момент в фильме напомнил нам о необходимости равновесного соотношения личного и общественного в человеке, о чем мы говорили выше.

Конечно, показать можно было всю жизнь Михаила Исидоровича, но это не входило в задачу фильма. А вот дать существование личности в протяженности, в процессе самой жизни за месяцы, когда шли съемки, может, и стоило бы. Тогда в фильме не было бы некоторого крена в сторону показа *готовых результатов*.

Тем не менее «Михаил Исидорович» (режиссер В. Самофалова) — фильм добрый, заслуживает и добрых слов. В его пользу говорит также отсутствие режиссерской нарочитости.

В фильме «Мы — советские» режиссер А. Слесаренко активно вмешивается в жизнь персонажей самой картины, и это дает повод думать о границе, совершенно необходимой, разделяющей власть киногероев и автора. Если режиссер В. Самофалова позволила М. И. Коломийченко, своему герою,

быть самостоятельным, то А. Слесаренко с размахом своего творческого темперамента не везде совладал. Но говорить хочется не об этом. Потому что герои фильма «Мы — советские» выбраны настолько удачно и так притягательны их биографии и их искренность, что в конечном счете они вышли победителями.

Мы забываем о некоторой условности финала картины, мы забываем о длиннотах в тех или иных эпизодах, о «постановке» некоторых из них— мы помним только о людях из этой киноленты...

Что прежде всего ценно в фильме А. Слесаренко — причастность каждого его героя к жизни Отечества, к судьбам Родины, народа. И история народа видна, ощутима в жизни каждого. Еще и еще раз убеждаешься: все надежды могут возлагаться только на людей труда, на тех, кто сам себя кормит.

Фильм «Мы — советские» состоит из нескольких новелл. Объединены они тем, что бывшие школьники, совсем молодые ребята и девушки, едут в алтайский совхоз, на земле которого в 20-е годы их земляки основали коммуну. Цель поездки — узнать, как жили их старшие односельчане, что пришлось им одолеть почти за полвека. Руководит ребятами колхозный летописец Шовкопляс. В его толстом журнале много записей о радостных, героических и трагических днях и годах. Маршрут молодых колхозников пролег там, где в разные времена трудились и воевали их предки. Мы увидели Днепрогэс, тихий Дон, степи Казахстана, увидели и бывшую коммуну с Ленинским полем, которое когда-то впервые было вспахано трактором, подаренным коммуне самим В. И. Лениным. Широкая панорама нашего Отечества, нашей земли — и люди, трудящиеся на ней.

Трудовые и ратные подвиги нашего народа — именно тот стержень, на котором крепится фильм «Мы — советские».

Нельзя быть спокойным, когда слышишь воспоминания о переправе через Дон во время эвакуации, когда видишь встречу украинской делегации со своими земляками, основавшими коммуну на Алтае. Старые люди плачут, вспоминая былое, плачут от радости встречи, но в их душах чувствуется спокойствие и уверенность — жизнь будет продолжена: на смену пришло новое, молодое поколение.

И фильм был уже ясен, и конец его чувствовался — приподнятый, торжественный. Но вот началась еще одна новелла...

Мы не ожидали встретиться на экране со сверхчеловеком наших дней, которого документалисты назвали просто: сын России и Украины сын. Герой новеллы настолько поражает, что сразу же после просмотра возникла мысль: да ведь жизненный подвиг генерала Василия Степановича Петрова, лишь он один — это материал для крупного самостоятельного фильма!

Судите сами.

Человек лишился обеих рук, изранено все тело, не слушаются ноги. Произошло это в 1942 году возле Дона. Еле живого, его уже в морге отыскали однополчане. Медик отказывался делать что-либо с почти безжизненным человеком. Но под нажимом приступил к операции, сказав, что все равно раненый не выживет, а если и произойдет чудо, то он всю жизнь будет ле-

жать: поврежден еще и позвоночник...

Чудо произошло. И оно было сотворено самим Петровым. Упорнейшая борьба с непослушным телом, отчаянная борьба за жизнь закончилась победой Василия Степановича. Он снова встал в строй. За форсирование Днепра — звезда Героя Советского Союза, за форсирование Одера — вторая. Дважды Герой Советского Союза генерал-лейтенант артиллерии В. С. Петров и поныне не в запасе. Он преподает в училище, он руководит стрельбами на маневрах, он пишет книги... Надо увидеть лицо этого человека, надо посмотреть ему в глаза, чтобы понять его несокрушимую силу воли и решимость жить во что бы то ни стало...

Во имя чего? Не буду давать ответа. Его жизнь — ответ на все вопросы. Но сказать, что Петров, как и Коломийченко, выходец из крестьян-тружеников, необходимо. И третий фильм, показанный в той программе, «Поет Нина Матвиенко» тоже о человеке самого, что называется, простого происхождения.

Известная исполнительница украинских народных песен Н. Матвиенко родилась в многодетной крестьянской семье. С детства — кругом природа, с детства — здоровый труд, с детства — песни матери. Житомирское село — родина интереснейшей певицы.

Перед авторами фильма (режиссер А. Якимчук) стояла сложная задача — средствами документального кино показать не просто поющего человека, а раскрыть дух песни, душу поющего человека, истоки творческого вдохновения.

Не пойми авторы этого — в лучшем случае получился бы просто киноконцерт, не было бы очень поэтической и очень национальной киноленты.

Национальная определенность этого произведения не в том, что перед нами украинка, а в том, что авторы, дабы раскрыть творческие возможности и силы народа, используют сам язык народа, его, народа, поэтические представления о земле, труде, судьбе.

Обращение к таким истокам творчества принесло заслуженный успех: поэтический ряд кинокартины «Поет Нина Матвиенко» выше похвал. И хотя он иногда разбивается эпизодами искусственными (песня в исполнении хора, картинно расположившегося на берегу реки, или необязательное интервью у руководителя хора), тем не менее в фильме сохранен общий дух, определяемый прекрасным гармоничным соединением природы, земли и голоса поющего на ней человека.

Тут задумываешься: говоря о национальном кинематографе, критика часто ведь опирается лишь на республиканскую принадлежность той или иной студии. А вот соответствию фильмов национальному эстетико-психологическому, историко-культурному складу внимания почти не уделяет. Дело ведь не в том, что показанное событие или герой географически, «административно» были в тех или иных границах. Не фабула как таковая прежде всего обозначает национальность произведения.

Образный язык кинематографа, на котором заговорили народные песни в исполнении Н. Матвиенко, подтвердил еще раз неограниченные возможности киноискусства и напо-

мнил, как сделать, в общем-то, единый, общечеловеческий язык кинематографа языком своего народа, языком действительно национальным. Достижимо ли это? Фильм «Поет Нина Матвиенко» в своей поэтической «половине» дает все основания сказать «да».

Итак, программа документальных фильмов Украины просмотрена, прочувствована, в какой-то мере осмыслена.

...А в конце подумалось: действительно, профессионализм в документальном кинематографе вовсе не в том, чтобы работать, что называется, «чисто» (хотя это тоже важно), а в том, чтобы позиция авторов, так же как и позиция и психология героев, не повисала в воздухе, не была абстрактной, а чтоб она измерялась и проверялась историей и культурой народа. Что же касается огрехов — так ведь урожай определяется количеством зерна собранного...

А. ВЕРБИНСКИЙ

ЛЮДИ БЕЛОЙ СТРАНЫ

О людях Севера эта книга. Журналист Юрий Тепляков вместе с моряками, летчиками, полярниками, шоферами идет по трассам студеных широт, вместе с ними переживает и трудности, которые, кажется, выше человеческих сил, и тоску по белым березам, и радость — теплую, человеческую. Его книга очерков «Расскажу тебе о Севере» * — воспринимается как искренний, правдивый рассказ о людях, чьи яркие черты — мужество, преданность суровому краю, благородное чувство долга и товарищества.

Еще нет-нет да и промелькнет на страницах наших газет или журналов представление о Севере как о крае романтических, захватывающих приключений. Ю. Тепляков избирает свой, не похожий на другие подход к близкой ему теме.

* Ю. Тепляков. Расскажу тебе о Севере. М., Полигиздат, 1972.

«Мне кажется, — пишет автор, — что чуть заметная и на первый взгляд совсем обычная деталь может раскрыть характер значительно ярче и глубже, чем длинный остросюжетный рассказ».

Познать, раскрыть характер северянина, доискаться, почему человек, раз глотнув морозного, перехватывающего дыхание воздуха, навсегда остается в белом плену океана, тундры и тайги, — эти задачи лейтмотивом проходят через все очерки книги.

И в самом деле, почему? Ведь океан не сдается без боя.

...Жестокий шторм — это ветер двадцать девять метров в секунду. А если в два раза больше? Такой ураган поднимал на берегу бочки, в которых по 700 килограммов горючего. Именно такой ураган застал рыбацкое судно «Семипалатинск» у берегов Камчатки (очерк «Ледовая стратегия»).

Уже сейнер «Карага» отстучал свою последнюю радио-

грамму, взывая о помощи. Вот и мачты «Семипалатинска» медленно пошли к волне. Борт черпает воду. Еще маленький толчок — и все. Капитан, как другу, кричит кораблю: «Ну, старина, выдержи! Родной, выдержи!» И корабль выдержал. Уже второй раз сегодня ушел от гибели, но капитан знает: «Еще один такой крен — и конец... Он выжал из себя все».

Тот ли это капитан, с которым автор познакомился вчера? Показался Андрей вначале этаким морским пижоном, точно сошел с картинки, изображающей молодого штурмана с комфортабельного пассажирского лайнера. По всему видно, только и выжидает момент, чтобы улизнуть с этой облезлой рыбацкой посудины.

Да, это был тот самый Андрей. Только теперь в кожаных ушанке и полушубке, лицо в ледяной корке и губы разбиты в кровь. Капитан на своем посту. По его четкой команде матросы, связавшись по пятеро, ломами колют на палубе лед. Упругая волна смывает их к фальшборту, но они поднимаются, и опять в свете прожектора мелькают ломы. Механики воюют за обороты двигателей и в минуты смертельной опасности не покидают машинное отделение, наполненное грохотом дизелей и густым паром. Только бы не потерять остойчивость корабля!

Люди выстояли, люди победили. Пробившийся на SOS танкер «Абагур» взял «Семипалатинск» «на веревочку».

Тепло и уютно в капитанской каюте «Абагура». Хозяин ее приглашает располагаться на отдых. Но Андрей не соглашается.

— Мы уж к себе. Ребята там остались одни.

Еще, наверное, не раз придется заново это пережить в море капитану вместе со своей командой. Но уже и после первой такой вот ураганной ночи они стали одной семьей. Стали братьями по мужеству, стойкости, товариществу. Поэтому ребятам снится опять, как тоскует корабль, как призывно гудит гудок: «Пора, пора, пора!..»

Север не любит слабых духом и телом, не терпит мелочных, изгоняет корыстных. Тот, кто приехал сюда за книжной романтикой или длинным рублем, не продержится долго.

Смешон и жалок парень с кругло-белым, «как тарелка», лицом из поселка Тополиный («Трасса»). Ему и скучно, и неинтересно, и начальство о нем не заботится — «гвоздя нету, чтоб штаны повесить».

А вот в том же очерке люди другого склада — наверное, ровесники круглолицему. С ними встречаемся в автоколонне, впереди у которой — Ледовитый океан, позади — Тихий и тысяча километров пути, снежные бураны, коварные наледи. Но впереди и новые километры. Когда ехали по реке, у одной из «татр» полетела рессора. Мороз так силен, что капли пота, скатываясь с лиц шоферов, на лету превращаются в льдинки. А в рессоре 80 килограммов. Уже три часа лежат ребята на льду под машиной, пять часов, восемь, десять... «Откуда силы, откуда такое упорство? Есть же всему предел», — думает автор.

Что ж, наверное, есть потолок человеческим силам.

Это случилось потом, когда рессору поставили и ехали

пустынной дорогой, а по обе стороны стелилась белая скатерть снега.

«Витькина машина ткнулась в снег и затихла. Мы повернули назад.

Витька ходил вокруг «татры» и гладил седые борта, будто грел о них руки. Он обошел раз, другой, третий, взглянул на нас, но так, словно и не заметил.

— Что с ним? — шепнул я Петру.

— Человек не железный. Устал наш Витюха, вроде как бы отключился. Со мной тоже бывало, когда вот так бело кругом.

Это длилось недолго, — может, минуту, но до сих пор, вспоминая зимник, я вижу не пропасти, не наледи, а вот эти невидящие Витюхины глаза и руки, которые он грел о прокаленные морозами седые борта своей машины.

А потом мы попили чайку, поговорили «за жизнь», и все прошло».

Да, потолок человеческим силам есть. Только здесь, на Севере, он несколькими ступенями выше. Север вскрывает и вызывает к жизни порой нетронутые до сих пор человеческие возможности. Север отбирает из тысяч десятки, обогащает, шлифует и формирует характеры. Не здесь ли корни любви к суровому краю? Раз почувствовав родство душ, люди уже не в силах порвать эти узы, не в силах покинуть землю обетованную.

С каким вожделением северянин готовится к своему долгому отпуску! Но вот провел он три-четыре недели где-нибудь в теплой южной благодати — и уже чувствует какое-то беспокойство, чего-то ему не хватает. А поняв, в чем дело, берет билет на самолет и, глядишь, до срока возвращается домой. Домой — на свой Сахалин, на свою Чукотку, на свой Диксон.

Если когда-нибудь истинный дальневосточник или северянин с завидной решимостью начнет вас убеждать, что вот он только дотянет до лета, а потом бросит все и уедет под Краснодар есть арбузы, не верьте ему. Под Краснодар он съездит в отпуск, но поспешит вернуться, пока летная погода и не надо «загорать» в аэропорту.

Разумеется, было бы большой натяжкой все это объяснять только психологическими факторами. Есть факторы высшего порядка: гражданское мужество, чувство долга перед Родиной. Именно эти чувства обусловливают смысл жизни героев очерка Юрия Теплякова.

Конечно, нельзя сказать, что все характеры обрисованы автором четко и ярко. Некоторые набросаны схематично, проходят фоном и остаются незамеченными. Порой благодаря нескольким бросским штрихам перед нами возникает интересный образ. Ждешь его развития и логического завершения, но автор вдруг расстается с ним на полдороге, оставляя в недоумении читателя. Можно было бы отнести эти и кое-какие другие (их немного) недоделки на издержки жанра, но правильнее, наверное, оставить их на совести автора.

Следуя требованиям очерка как жанра, Ю. Тепляков дает не только художественный образ нашего современника, но и подходит к теме чисто публицистически. Север давно перестал быть «белым пятном» на карте. Но сколько

еще в нем загадок, сколько еще его недра хранят непочатых тайн! Северу нужны люди отважные и бескорыстные. Многие из тех, кто сейчас едет на работу по оргнабору, оказываются случайными людьми. В свое время оправдали себя комсомольские призывы. Большинство молодых энтузиастов, прибывших на Дальний Восток и Север, осели здесь навсегда и стали настоящими хозяевами сурового края. Тех, кто приезжает сюда с комсомольскими путевками, остается в пять раз больше, чем тех, кто приезжает по оргнабору. Такова статистика, приведенная автором.

Книга очерков Ю. Теплякова интересна и с литературной, и с познавательной, и с практической точек зрения. Как знать, быть может, прочитав ее, кто-то соберет рюкзак и закажет билет в студеную и прекрасную белую страну.

В. ПРОКУШЕВ

В. Песков, Отечество, М., изд-во «Молодая гвардия», 1972.

Жизнь ускоряет свой бег, удержаться в этом потоке информации, калейдоскопе фактов суждено очень немногим газетным материалам. Экзамен тут чрезвычайно прост: прочтите статью десятилетней давности и скажите, волнует ли она вас по-прежнему или это только отзвук вчерашних достижений, радостей, тревог. Если волнует, то, значит, этот материал жив.

К ярким образцам нашей газетной журналистики принадлежат очерки корреспондента «Комсомольской правды» Василия Пескова. Талант Пескова имеет две равноценные грани. Союз пера и фотокамеры придает неповторимость его репортажам.

В книге «Отечество» собрано лучшее из того, что было написано автором за последнее десятилетие. Ни одна строка из этой книги не миновала в свое время газетной страницы.

«Никто не возьмется перечислить всего, что стоит за емким словом Отечество. Но все-таки можно сказать: понятие Родины — это память обо всем, что нам дорого в прошлом, это дела и люди нынешних дней, это родная земля со всем, что растет и дышит на ней. Старое, Новое, Вечное — таков символический ключ путешествия», — пишет В. Песков.

Двести страниц книги — семьдесят семь очерков и сотни фотографий. Газетный объем, ограничивающий размер новеллы несколькими страницами, заставляет спрессовывать материал, доводить до предельного лаконизма выражение мысли, чувства. Вес, емкость каждого слова неизбежно вырастают.

Доброй журналистской завистью завидуешь Пескову. Шагает он по земле вроде бы как все. Но именно ему встретились в пути Федор Васильевич Орлов — русский Тарас Бульба из деревни Каробатово, слесарь Федор Куржуков, выбивший на камне солдатский орден Славы на круче у Оки, первая летчица страны Зинаида Петровна Кокорина, Борис Вепринцев, записавший

на пленку голоса птиц. В. Песков чаще других встречает рассвет не дома в постели, а в палатке геолога, у костра охотника, в кабине самолета. Именно талант заставляет автора много путешествовать.

Неистовый репортер и писатель счастливо нашли себя в одном человеке, и поэтому статьи Пескова — это сплав репортажа и очерка. Если он пишет о вулканологе, то можно не сомневаться, что он сам вместе с ними вдыхал серный газ в кратере вулкана.

В журналистику Пескова привело увлечение фотографией. Сейчас он признанный литератор, лауреат Ленинской премии. И все же без фотографий трудно представить себе хоть один материал Пескова. В новой книге мы впервые видим его цветные фото.

...Во всю обложку книги — строй белых берез. Природа занимает в творчестве Пескова очень важное место. Но описание ее — для него не самоцель. Там, где он пишет о красоте природы, звучит гимн красоте человека, там, где он пишет о ней с тревогой, эти слова также обращены к человеку.

С чего начинается Родина? Для каждого, думается, с тех мест, где родился, откуда начинался жизненный путь. Для Пескова — это воронежские леса, луга, поля, реки. А потом — Красная площадь, Днепрогэс, Камчатка. Из своего путешествия он отобрал самое сокровенное. Это первый прилет из космоса Юрия Гагарина, это Брестская крепость и Ростовский кремль, это Ясная Поляна и Останкинская телебашня. Старое, новое, вечное...

«Рассказ одного человека — лишь очень малая доля всего, что можно сказать о Родине. Но ведь даже большие реки питаются ручейками, — пишет автор. — Считайте и эту книжку маленьким родником, из которого можно напиться на путях познания Родины».

А. МИЛОВСКИЙ

Валентин Солоухин, Заповедная тропа. М., изд-во «Советский писатель», 1972.

Шахтеры в стихах Валентина Солоухина горды высоким званием «углеруба», ведь их подземные горизонты простираются там, где

Пласты извечно глубиной
светились,
И глубину ту человек достал.

Эта формула «достать глубину» в «рабочих» стихах Валентина Солоухина расшифровывается без нажима и восклицательных нот, — само слово «шахтер», говорит поэт, несет в себе все слагаемые героического. Тем и трогают его поэтические строки, что о труде поистине подвижническом говорится в них предельно буднично, я бы сказала, до документальности точно.

Вот стихотворение о начале смены:

Вставало солнце,
террикон седой
Тянулся к небу дымными
платками.
Мы воздух пили жадными
глотками,
Чтобы дышалось легче под
землей.

Чисто пейзажных зарисовок в книге немного. Но лирический герой Солоухина, несомненно, наделен острым чув-

ством красоты природы. И естественно воспринимается то, что и там, в шахте, герой думает о бескрайних просторах донецких степей, находя в любви к родной земле, пахнущей «чабрецом, степной полынью, горьким дымом», вдохновенье для своего труда:

Начиналась работа, я к шахте
спешил,
И в кромешной ночи,
у пласта антрацита
Завывала машина
надрывно, сердито,
А я степью дышал,
ковылями бродил.

В стихах Валентина Солоухина часты диалоги, насыщенные колоритной шахтерской лексикой, благодаря чему достигается достоверность характеров. Однако иногда поэт слишком увлекается здесь прозаизмами или диалектными словами, что снижает эмоциональность, разбивает мелодичность, напевность.

Такой просчет тем заметней, что в целом-то книга о советском рабочем раскрыла чистоту его нравственного облика, его любовь к родной земле, которую своим трудом и своей любовью он стремится сделать еще краше.

Алла СТАНЬКОВА

Константин Поздняев, Товарищи мои. Б-ка «Огонек», № 3, М., изд-во «Правда», 1972.

Жили на земле три хороших человека. По-разному сложились их судьбы. И сегодня объединяет их то, что были они настоящими поэтами и весь талант, труд, всю жизнь без остатка отдали своему призванию, а значит, людям и Отечеству. Иван Рогов двадцати девяти лет погиб в бою с фашистами на Смоленщине. Трагически, уже после войны, оборвалась жизнь молодого, но успевшего вписать яркую страницу в историю русской поэзии Алексея Недогонова. Несколько лет назад ушел из жизни замечательный лирик Николай Рыленков.

Их нет в живых, но остались друзья, которые знали их близко, любили и понимали.

Просто и точно назвал К. Поздняев свою небольшую книжку — «Товарищи мои». Ибо это, конечно, как сказано в подзаголовке, и «критические этюды», и «страницы воспоминаний», однако прежде всего — и в том суть, пафос, особенность книжки — акт высокого литературного товарищества.

Три рассказа о писателях, отмеченные глубоким проникновением в личностную и творческую индивидуальность каждого, словно бы сцементированы небольшим лирическим очерком «Милая сердцу Малеевка», где автор говорит о первых всесоюзных курсах комсомольских писателей в подмосковном доме творчества в Малеевке зимой 1934/35 года. Говорит «именно потому, что там, в Малеевке, ...впервые познал истинную дружбу, впервые понял, что такое накал образного слова, впервые осмыслил, как оно, сверкающее самоцветами слово, преобразует все вокруг тебя, как выправляет оно спинной хребет человека и даже зигзагообразный путь человека, если зовет на подвиг и на труд,

проповедует высокие идеалы...».

В приведенных словах — идейное ядро книжки, написанной в том легко читаемом, но на поверку весьма трудном жанре, когда под пером автора в нерасторжимый сплав превращаются аналитический разговор о произведениях, беллетризованный рассказ о живом художнике и собственная биография.

Книжку К. Поздняева интересно прочесть и литераторам, и людям иных профессий, любящим литературу. Но более всего она важна молодым, особенно тем из них, кто делает первые шаги в творчестве. Как естественный вывод возникает в книжке К. Поздняева дружеское напутствие и одновременно предостережение молодым стихотворцам:

«— Дорогие друзья, не слишком ли вы порой бываете беспечны? Не слишком ли часто вы размениваете свой талант на пустяки, на побрякушки? Ваши старшие товарищи по поэзии всегда стремились быть певцами своего времени. Даже тогда, когда они писали о лилиях, хризантемах или тюльпанах (тут автор дает сноску: «См. стихи А. Недогонова «Память», «Зимние цветы», «Жалость», «Лилии». — **И. М.**), они не превращались в поэтов «вне времени и пространства». И в этих стихах, порой интимно-лирических, они были гражданственны... Они быстро взрослели... Только поэтому они и вошли в литературу и оставили заметный в ней след».

Можно было бы продолжить разговор об этой книжке. Можно было бы сослаться на тонкий анализ стихотворения А. Недогонова «Лилии» в доказательство возможности социального решения даже камерной темы. Или обратить внимание читателя на очерк «Зацветает в поле лен» о Н. Рыленкове, где великолепно показано значение культуры в творчестве художника. Или же рассказать о том, сколь велика в становлении таланта роль бескомпромиссной требовательности к себе, на примере очерка об И. Рогове. Но об этом лучше прочесть самому.

И. МОТЯШОВ

И. Краснобрыжий, Аленкин клад. М., изд-во «Московский рабочий», 1971.

Сборник И. Краснобрыжего открывает повесть «Аленкин клад», которая на первый взгляд воспринимается как традиционно - романтическая. Между тем, она очень «земная» по сути своей, а общая романтическая тональность ее обусловлена будничной, трудовой жизнью геологов, которая сплошь и рядом оборачивается подлинным героизмом. Юная Аленка не сделала пока никаких открытий. Да дело и не в этом. Куда труднее, например, оказывается, дежурить в лагере, в то время как твои товарищи идут в маршрут и находят месторождение полезных ископаемых. Куда труднее идти четверо суток по тайге «холостым маршрутом» — на базу, за новой рацией, взамен вдребезги разбитой медведем.

«Вот если бы люди каждый день дарили друг другу

по капле радости, — говорит Аленка, — какой красивой была бы жизнь на земле. Неужели людям это трудно делать?» Именно здесь зримо обнажается крайне важный общественный нерв этого произведения. И не случайно в целостной художественной композиции, какую представляет собой сборник И. Краснобрыжего, повесть «Аленкин клад» играет особую роль: это своеобразное приглашение к взаимной открытости, сердечному общению — ко всему тому, что как нельзя лучше способствует проявлению доброты, главного качества человека, основного мостика в его связях с другими людьми.

Этой мыслью проникнуты и две другие повести И. Краснобрыжего: «Порог» и «Лицом к огню». В трудную минуту, когда на химическом предприятии мог произойти взрыв, объединяются люди вокруг секретаря горкома партии Ивана Алексеевича Гая, среди ночи приехавшего на завод. «У нас под носом клады! — говорит себе Гай. — Куда я смотрел раньше?» И в первую очередь отнюдь не материальные какие-то ценности имел он в виду, а людей, главный клад нашего общества, таких, как старший аппаратчик Гришин, молодой инженер Задольный, лаборантка Аня Подлесная...

Живые портреты наших современников достоверно выписаны И. Краснобрыжим в своеобразно построенной повести «Лицом к огню», которая состоит из цикла этюдов, зарисовок из жизни советского рабочего. Пожалуй, характеры здесь проявлены более рельефно — этому способствовала определенная документальность цикла. Чувствуется, что и доменщик Александр Гуторов, и сталевар Владимир Литвинов, и оператор блюминга Алексей Лобанов не придуманы автором за писательским столом, а были встречены им, увидены в самом кипении жизни и «переселены» на страницы его повести с той доброй мерой типизации, когда образ конкретного человека становится достоянием литературы. Правда, на этом пути не каждому писателю удается полностью изжить в материале, в характере его подачи газетную очерковость, и приметы ее стиля проскальзывают и у И. Краснобрыжего. Но в целом картина трудовых будней советских металлургов получилась у него впечатляющая, она захватывает своим напряженным динамизмом, устремленностью в будущее.

Большой период времени охватывает повесть «Светозаровские миллионы»: своими истоками она уходит к тем дням, когда нарком Серго Орджоникидзе командировал первых советских специалистов за границу для закупки станков. Рабочий парень Виктор Светозаров, ученик слесаря с «Красного пролетария», прошел большой и завидный путь — стал инженером-изобретателем, руководителем лаборатории. Когда-то ему приходилось поневоле учиться и у заграничных мастеров своего дела, а теперь они сами едут к нему из-за кордона...

Интересный по охвату разнообразного жизненного материала и сюжетным коллизиям, сборник повестей свидетельствует о том, что читатель вправе ждать от И. Краснобрыжего новых творческих удач.

Ю. АНТРОПОВ

Ульмас Умарбеков, Зеленая звезда. М., изд-во «Молодая гвардия», 1972.

...Впечатлительный и себялюбивый юноша, глубоко потрясенный несправедливостью учителей Хасанхана и Саддикаки, не удержался и заплакал навзрыд. Но вскоре не слезы, а злость западает в душу Абдуллы. Злость и жажда мщения. И он уже постоянно думает о том, когда «в один прекрасный день такие, как Хасанхан, упадут ниц перед ним».

Молодой узбекский писатель Ульмас Умарбеков в своем первом романе «Зеленая звезда» обстоятельно показывает, как Абдулла вырос моральным уродом; постепенно Абдулла все более изощренно приспосабливается к окружающему, он и шалить-то начинает оглядываясь, живет и любит с оглядкой.

В начале романа, когда Абдулла сталкивается с несправедливостью Хасанхана, он стоит перед вопросом: смириться, покориться или восстать? Этот вопрос постоянно встает перед юными, вырастая в проблему нравственного поведения. Абдулла не пошел по трудному пути, он смирился. И смирился потому, что, слепо осудив родных за неумение жить, уходит от правильного пути, его жизненной основой становится практический расчет, где венцом всему — карьера. А далее мы видим, как от неумения или нежелания бороться за правду Абдулла от осуждения родных идет к тому, что становится виновником гибели Гюльчехры, своей возлюбленной.

Образ ее — один из ведущих в романе «Зеленая звезда». Она олицетворяет новое поколение молодежи, несет людям окрыленность делом. Спроектированное ею новое здание гостиницы словно отражает ее чувства: «Оно похоже на громадную птицу, распростершую широкие крылья». Гюльчехра живет с верой в людей. И, нарушив материнский завет, она верит Абдулле: «Неужели эти глаза могут обмануть?» Счастливая и гордая, она, отдавшись заполнившему ее чувству к Абдулле, не хотела, да и не могла уже представить себе свою жизнь без него. И когда в трудные минуты от любимого не было писем, она, боясь оскорбить его мыслью, что он ее забыл, прямо с почты уходила в поле, куда глаза глядят. И совсем невмоготу ей становится жизнь, когда она узнает, что Абдулла, ее Абдулла, женится ради карьеры на другой.

Автор, к сожалению, несколько скомкал конец романа, словно побоялся во всей силе показать трагедию Гюльчехры.

Вообще, следует сказать, автор недостаточно индивидуализировал образы — несколько однообразны персонажи, будь то отец и мать Абдуллы — Гафурджан-ака и Хаходат-хола, или отец Гюльчехры — Ганишер-ака, или академик Курбанов. В них, пожалуй, слишком мало действенной силы, порою проступает душевная вялость.

Большей индивидуализации требует и язык героев. А то ведь по меньшей мере выглядит странным, когда вступающая в жизнь Гюльчехра и бабушка Абсутай говорят почти одинаково.

И все же автору удалось дать ряд интересных характе-

ров, поставить серьезные нравственные проблемы, важные для формирования современного молодого человека.

Федор УЗУНКОЛЕВ

Ф. Чуев, Соколиная песня крыла. М., изд-во «Московский рабочий», 1970. Минута молчания. М., изд-во «Молодая гвардия», 1971. Отечество. М., изд-во «Советская Россия», 1972.

Давно уже для многих и многих людей небо не просто синева или символ, а рабочее место. Как завод. Как поле. Как море для моряков.

У советской авиации своя большая и прекрасная история. И она породила как своих героев, так и своих певцов — и в прозе и в стихах. Об этом думаешь, читая стихи Феликса Чуева.

Всякий настоящий поэт, как и каждый настоящий человек, начинается с высоких идеалов, с нравственных предписаний для себя, с ответственности. Идеалами для Феликса Чуева были его отец-пилот, равно как Чкалов и другие славные советские летчики. И я бы сказал, что он благодарно продолжает дело своего отца — в песне и в стихах. Для него небо было таким же дорогим и родным с детства, как для крестьянского мальчика — поле, земля. Это детство, эту биографию нельзя придумать или присвоить. Он полюбил сызмала людей нашего неба, их облик, их образы, их широту и рыцарство. О хороших писателях говорят, что у них есть чувство земли. У Феликса Чуева есть чувство неба. И вот год за годом он растет как благодарный сын этого неба, как поэт его.

В стихах о космонавте Комарове есть такие строки в запеве:

Захлебнулись радиостанции.
С неба капсула —
как слеза.
Опустила мать-авиация
голубые свои глаза.

Чтобы найти в стихах такой образ, надо иметь его в своей душе.

Чуев знает нашу авиацию в лицах, конкретно. И поэтому он имеет право обобщать:

У летчиков все звания равны.
На летном поле мало
козыряют.
А в воздухе погоны не
нужны —
У летчиков и маршалы летают!

Гоголь писал: «Все извлеченное из внешнего мира художник сперва заключает в душу, а уж оттуда, из душевного родника, устремляет его одной согласной торжествующей песней». Эти слова хочется повторить и применительно к Феликсу Чуеву, к его песне об авиации.

Чувство благодарности и верности нельзя привить искусственно. Нравственные основы поэта истинны, народны.

...Они так понимающе кивали,
искали мать, ботинками гремя.
Они меня запомнили едва ли,
а завтра умирали за меня.

Это благодарность воинам, защитникам Родины.

А какая нежность в стихах «Орловская порода»:

Я счастлив тем, что я
орловской крови,
что дед мой был
орловским кузнецом,
что я и сам сегодня встал бы
вровень
с орловским соколом — моим
отцом.

И я не знаю, хорошо ли,
плохо —
я прожил жизни деда и отца,
и я взрослей себя на две
эпохи,
и вижу даль с отцовского
крыльца.

Верность всему, что дорого, беспокойство за него и ответственность держат в «постоянной человеческой форме» лирического героя.

Поэту мало быть способным, талантливым — нужно приложение таланта к реальности — и только это может дать плоды... Для того чтобы состоялся поэт, кроме таланта, знаний, характера, еще нужен реальный мир, реальный герой. У Феликса Чуева есть этот реальный мир, реальный герой, знание этого героя изнутри. Есть у него своя земля — в данном случае Небо.

Михаил ЛЬВОВ

Анатолий Ткаченко, Открытые берега. М., «Современник», 1972.

Человек и природа — эта проблема стала одной из самых насущных в мире. Она привлекает к себе внимание писателей разных стран. Наши современные писатели приняли эстафету из рук Пришвина и Леонова. В этом ряду не на последнем месте должно стоять имя Анатолия Ткаченко, в чем нас убеждает его последняя книга.

Да, как бы ни оторвался человек от первозданной природы, он неотъемлемая часть ее; познавая ее законы, он вносит в них разумное, истинно человеческое начало. Таким изображен в рассказе «Владыка» «хозяин» котикового острова Иван Никифорович. «Владыкой» он назвал самого матерого самца в стаде. Однако содержание рассказа убеждает, что название имеет подтекст: истинный владыка природы — человек. Эта мысль не декларируется в рассказе, она возникает у читателя так же естественно, как естественны те законы природы, которые стали предметом авторского наблюдения и изображения. Автор «Открытых берегов» решителен в своих выводах. Вот, в частности, рассказ «Табун». Действие его развертывается в бамбуковых зарослях Южного Сахалина. Героя его — лейтенанта-пограничника — мучает вопрос: как быть с предводительницей табуна диких лошадей красавицей Сказкой? Ведь табун — явное зло для окружающих колхозов: топчет посевы, уничтожает колхозные корма, сманивает к себе колхозных лошадей. Все так, но, когда Сказка убита, ему кажется, что утрачено что-то дорогое — мечта о вольной воле, свободе, красоте. И все-таки, он это понимает, выстрел, покончивший с «лошадиной вольницей», был продиктован необходимостью.

Кажутся противопоставленными друг другу два детских образа из сборника. Юный герой рассказа «Мыс Рамамон» в своем поэтическом восприятии природы почти очеловечивает ее (это пришло к нему от деда, сахалинского

рыбака). А мальчик из рассказа «Рапана» относится к морю, природной стихии чисто потребительски, оно мстит ему — безжалостно выбрасывает на берег.

Хочется отметить интерес А. Ткаченко к людям, которые легче чувствуют себя среди глухой природы, нежели среди достижений современной техники. Героя такого типа мы встретим в рассказах «Пункт Люда», «Саша Таршуков», «Знаменитый Шелута». Сразу же оговоримся, что считаем эти рассказы наименее удавшимися автору. Одна из причин — автор не противопоставил Саше Таршукову или Шелуте героя, в сознании которого достижения современной науки воспринимались бы как явления, не сторонние природе, а неразрывно связанные с ней.

Во многих рассказах писатель обеспокоен безразличным, небрежным отношением некоторых наших современников к памятникам национальной культуры, к своей родословной, к жизни родного края («Пункт Люда», «Девушка Белкина», «Дай молока, мама!»). Эта проблема ощутима и в повести «Тридцать семь и три».

Однако А. Ткаченко никак нельзя упрекнуть в апологетическом отношении ко всякой традиции. Живое тому доказательство — рассказ «Последний из рода Жахаима». В рассказе разоблачаются байско - националистические настроения, которые Мухтарбай, бригадир рыболовецкой артели на Арале, пытается преподносить своим подчиненным под видом национальных традиций.

Как видим, книга А. Ткаченко многопроблемна. И тем не менее композиционная стройность сборника определяется четко прочерченной линией «человек — природа», и это придает ей современное звучание.

Г. АТАНОВ

Л. Гладковская, Всеволод Иванов. Очерк жизни и творчества. М., изд-во «Просвещение», 1971.

Очерк Л. Гладковской состоит из шести глав, которые в целом освещают почти пятидесятилетний творческий путь Вс. Иванова. В первых двух главах («Сибирь», «Партизанские рассказы и повести») Л. Гладковская рассказывает о детских и юношеских годах писателя, отличающихся жадными поисками своего места в жизни. Справедливо исследователь утверждает, что Вс. Иванов нашел себя как художник в первые годы революции. После Великого Октября выходит его сборник рассказов «Рогульки», под впечатлением гражданской войны создается книга рассказов «Седьмой берег» и цикл «Партизанские повести». Если «Рогульки» являются первой пробой пера, то «Седьмой берег» — это уже зрелые рассказы, писавшиеся одновременно с партизанской трилогией — частью в Сибири, частью в Петрограде. Приятно отметить, что автор подробно останавливается на этом полузабытом сборнике, о котором в свое время высоко отзывались Горький, Федин, Есенин, Фурманов.

Вполне закономерно Л. Гладковская уделяет много внимания «Партизанским по-

вестям», в том числе и самой большой из них — «Цветные ветра». Все три повести рассматриваются как единое целое, каждая из повестей — как часть трилогии.

Конечно, книга Вс. Иванова не является романом-эпопеей, но вместе с другими повестями начала 20-х годов она подготовила появление эпопеи. Все это убедительно доказывается в книге Л. Гладковской, причем не декларативно, а конкретным анализом тематики, образов, стиля писателя.

Л. Гладковская умело воссоздает литературную атмосферу, в которой формировался Вс. Иванов в омском кружке Антона Сорокина, в сибирском «Цехе пролетарских писателей», в петроградском «Пролеткульте» и в кружке «Серапионовы братья». Автор очерка верно замечает, что молодой писатель испытал различные влияния, но при этом решающим было влияние М. Горького. Л. Гладковская привлекает ряд новых материалов: забытый рассказ в журнале «Моль», три рецензии Вс. Иванова, опубликованные в журнале «Грядущее», и т. д.

Правильно поступает исследователь, обстоятельно рассматривая в третьей главе книги цикл рассказов «Тайное тайных», в которых видит прежде всего возросшее мастерство Вс. Иванова. Вместе с тем работа писателя над этим циклом подготовила такие замечательные вещи, как «Особняк», «Сервиз», «Б. М. Маников и его работник Гриша», «Мельник».

Переходя к творчеству 30-х годов, Л. Гладковская останавливается на двух романах — «Похождения факира» и «Пархоменко». Как известно, в конце жизни автор создал новую редакцию «Пархоменко» и наконец завершил роман «Похождения факира».

Последняя глава очерка называется «Фантастический цикл», хотя в ней речь идет о творчестве Вс. Иванова военной поры и послевоенных лет. Многочисленные рассказы, повести, очерки, статьи, созданные писателем в период Отечественной войны, еще по-настоящему не изучены и даже не собраны. Что касается «фантастических» повестей и рассказов, то Л. Гладковская охарактеризовала их по-новому. Такие философско-романтические новеллы, как «Эдесская святыня», «Сизиф, сын Эола», «Агасфер», «Волшебная лампа», исследователем отнесены к произведениям гуманистическим, которые решают важные современные проблемы.

Главная черта творчества писателя — романтизм: героический, философский, условно-фантастический. Об этом, думается, и следует говорить, когда речь идет о творческой индивидуальности такого самобытного художника слова, каким является Всеволод Иванов.

Михаил МИНОКИН

Эдуард Балашов, Гонец. М., изд-во «Советский писатель», 1972.

Стихи Э. Балашова — это лирические размышления о подлинных ценностях жизни. Даже наиболее «интимные» стихи поэта, посвященные любимой, другу, не звучат «камерно», «альбомно», но всегда общественно значимы.

«Настоящий» — вот ключевое слово его стихов, главная ценность для него в друге, в человеке, в жизни. Стихи Э. Балашова — «поэзия мгновений», но в этих-то «мгновениях» поэт и стремится уловить, запечатлеть то подлинное, настоящее, чем жив человек; обменяться «болью сердец ранимых» — не значит ли жить «общей жизнью», общими интересами? «Единый свет», «единый хлеб» становятся символами того человеческого единения, когда «душа беседует с душой». Такие стихи, как «Привет тебе, далекий друг», «Уходит друг, и песня умолкает», «Который год мне снится этот сон», и многие другие — это и есть подлинная «беседа душ».

В книге есть ряд стихов, которые можно назвать лирико-философскими раздумьями: «Новый Афон», «Сорокослов», «Гонец», «Космос». Их поэтический мир наполнен «библейскими», историческими, «вселенскими» образами и понятиями. Но поэтическое мироощущение гораздо ярче и определеннее выразилось в непосредственном лирическом чувстве, а не в «философических» и «исторических» обобщениях и сопоставлениях. Почти в любом стихотворении выражено органическое чувство любви к «милой земле». Пока это еще именно чувство, лирические раздумья, но зато в тех проявлениях, в тех чертах и деталях, которые часто ускользают от беглого взгляда.

Лучшим стихам Э. Балашова присуще стремление к гармоничному восприятию мира. «Трава, деревья, люди» стоят у него в одном ценностном ряду. Это не просто «прием», но непосредственное выражение чувства любви к людям, к миру. «Разлад души» никогда не переходит у него в разлад с миром. И в этом стремлении к поэтической гармонии лежит глубоко присущая творчеству Э. Балашова гармония народной поэтики. Не случайно и обращение поэта к чисто народным образам, ритмам, мотивам. У него есть действительно интересные стихи в «народном стиле»: «Свадьба», «Жених на порог», в которых ощущается истинно поэтическое понимание и воспроизведение народного мироощущения. Однако лишь внешне народны такие стихи, как «Сенокос», «Песня».

Большинство неудач Э. Балашова в том, что слово порою превращается у него в самоцель. И тогда уже не поэтическое чувство управляет им, а «самоцельное слово» навязывает ему систему образов, смысл которых порою противоречит авторскому замыслу.

Мне кажется, в стихотворении «Сорокослов» можно увидеть ключ к пониманию многих неудач поэта: когда «душа затворена» и перед глазами «пустые небеса», поэт настраивает себя: «Будь, словолюб, в ударе», тогда-то и появляются стихи, в которых то «брови взлетали со лба старика», то «закат, как синица, море зажег», — а синица, помнится, тем и знаменита, что только грозилась море зажечь, да не смогла... Из того же источника и «мощенные тучами небеса», и луна, которая «шуршит» над головой, и другие подобные образы, не характерные для поэтического видения Э. Балашова.

Видимо, не в поисках «сло-

га неведомых преданий» и не в литературных реминисценциях его истинный путь.

Ю. СЕЛЕЗНЕВ

Юрий Медведев, Капитан звездного океана. М., «Молодая гвардия», 1972.

Трагической и волнующей судьбе выдающегося естествоиспытателя Иоганна Кеплера посвящено достаточно печатных трудов, сугубо научных, научно-популярных, художественных. Джордано Бруно, Галилео Галилей, Тихо Браге, Николай Коперник — подвиг этих борцов науки, «приблизивших небо к земле», вступивших в беспощадную борьбу с мракобесием средневековья, по достоинству оценен благодарными потомками. «Хроники времен имперского астронома Иоганнеса Кеплеруса, в коих вышеозначенный Кеплерус поначалу ученик бродячего фокусника, впоследствии нищенствующий звездочет и наконец и навсегда Кормчий Океана Звезд» — еще один кирпичик в почетном мавзолее великих сынов человечества. Не случайно Карл Маркс ответил на вопрос о своих любимых героях: «Спартак и Кеплер...»

Кеплер написал множество работ — астрономических, богословских, литературных. Но главное его наследство — «звездное небо — сыновьям всей земли». И три кита, три закона Кеплера, которые изучают сегодня во всех школах мира, три штурманские лоции, чтобы находить дорогу в безбрежном океане планет...

Прекрасны слова Кеплера, обращенные больше к потомкам, чем к современникам, сказанные им после открытия своего третьего закона: «Ежели Вы простите мне похвальбу — я порадуюсь, ежели укорите — снесу укор. Но жребий брошен: я написал свою книгу. Прочтется ли она современниками моими или потомками — мне безразлично — она подождет своего читателя. Ведь ожидала же природа тысячи лет созерцателя своих творений...»

В существующей традиции создания художественных «биографий» авторы, как правило, стремятся с дотошностью пунктуальных исследователей, пишущих не книгу, а диссертацию о том или ином ученом, передать все о нем, от рождения до смерти. Книги такие достаточно часто похожи одна на другую, различаясь лишь именами героев да фактами их бытия. Отрадно видеть в новом произведении о Кеплере отсутствие подобного недостатка. При всей той эрудиции, которую проявил автор при написании исторической повести, его книга отличается известной информативной скромностью. Жизнь Иоганна Кеплера дана отдельными мазками: Иоганн — забитый, испуганный мальчишка, открывающий для себя волнующий, загадочный мир непознанного; Иоганн — студент Тюбингенской академии. Пытливым и жадным до знаний, с лихорадочным блеском вечно голодных глаз видим мы его в комической и страшной сцене «развенчания ереси» старшекурсника Иеронима фон Ризенбаха, тайно начитавшегося богопротивных страниц трактата Коперника о вращении небесных сфер; Иоганн — зрелый мыслитель, нищий гордец, которого пре-

следуют и протестанты и католики, которого избирает своею жертвой «черное братство» ордена иезуитов. Наконец, Иоганн — разочарованный в несчастном своем «сером» и «диком» времени, старый, гонимый, но не побежденный, бескомпромиссный воин, великий боец за Истину. «Истинный памятник Кеплеру начертан огненными буквами на звездном небе»,— писал один из его биографов.

Оправдано «отступление от традиций» автора новой книги о Кеплере и в том, что в повести нет скрупулезных таблиц, схем, терминов и выкладок, ибо задача книги в другом: показать юному читателю героизм, подвиг, самопожертвование великих деятелей науки, отстаивающих свои взгляды на мир, на природу, на общество. В конечном счете, воспитать эти черты в будущих Кеплерах, Галилеях, Коперниках! А с этой основной задачей автор справился.

В. САМАРКИН,
кандидат исторических наук

Ю. Прокушев, Сергей Есенин. М., изд-во «Детская литература», 1972.

Книга эта, написанная специально для юного читателя, отличается простотой и ясностью повествования, той доверительностью разговора с младшим, без которой не может быть взаимопонимания; своеобразно ее композиционное построение. В первой ее половине читатель узнает о жизни и творчестве Есенина в целом, а затем, более подробно, в порядке, так сказать, повторения и закрепления прочитанного, знакомится с исследовательскими новеллами о наиболее важных периодах жизни поэта.

Автору книги с самого начала удалось найти ключ к главному, определяющему: истоки любви поэта к Родине заключены в самом факте появления Есенина из глубин народной жизни. Ю. Прокушев раскрывает, как шаг за шагом мужает и крепнет поэзия Есенина, как талант его, помноженный на «жгучую любовь к родному краю», поднимал поэта к вершинам поэзии. Все мы знаем есенинское признание: «Моя лирика жива одной большой любовью, любовью к Родине. Чувство Родины — основное в моем творчестве». В рассматриваемой нами книге глубоко и подробно, с хронологической почти точностью прослеживается художническое возмужание лирики Есенина, когда с первых лет своего творческого пути «всей душой, всем сердцем поэт с народом», исполнен любви к Родине. Метко и правомерно сопоставляется Ю. Прокушевым эта любовь Есенина с лучшими образцами поэзии Кольцова, Некрасова, Блока, с их сокровенными строками о России.

Автор исследования глубоко и основательно рассматривает природу противоречивости во взглядах и творчестве Есенина. Подчеркивая остроту социальных конфликтов, Ю. Прокушев пишет: «И тем досаднее и огорчительнее, что в прошлом противоречия во взглядах и творчестве поэта чаще всего объяснялись лишь индивидуальными чертами характера Есенина, «раздвоенностью» его личности, субъективными мотивами». И далее: «При этом долгое вре-

мя упускалась из виду другая, объективная сторона жизни и творчества поэта. Драматизм поэзии Есенина порожден прежде всего теми историческими условиями, в которых поэт жил и создавал свои произведения».

Автор книги подчеркивает, что поэт с первых же послеоктябрьских дней во многом еще стихийно, но искренне радовался обновляющим ветрам революции. Однако пройдет немало времени, пока он осознает и осмыслит все значение исторических и социальных перемен в жизни народа, а особенно в судьбах русской деревни.

Много и небезуспешно пришлось поработать литературоведу по разоблачению ложных представлений о поэте как о певце лишь крестьянском, как о писателе церковно-мистической закваски. Итоги этой работы мы видим и в рассматриваемой книге.

Наиболее интересна глава «Легенды и действительность». В ней литературовед с присущей ему страстностью и умением вскрывает эфемерные попытки объявить Есенина вне культуры, отринуть его поэзию от большой литературы. Автор книги «Сергей Есенин» подчеркивает, что наряду со злобными нападками Гиппиус, Крученых, Мариенгофа много неверного, наносного появляется, особенно на Западе, еще и сейчас. Тем злободневней исследование, помогающее юному читателю истинно воспринять наследие Есенина и его личность.

Ю. Прокушев нашел для этого новые слова, новые штрихи, способствующие более глубокому раскрытию духовного облика поэта, позволяющие полнее увидеть его характер, почувствовать высокие душевные побуждения, зримее представить его прекрасный, одухотворенный живой мыслью портрет.

Сергей ЛИСИЦКИЙ

Ст. художественный редактор Ю. Киселев

Технический редактор Н. Строева

Сдано в набор 5/II 1973 г. Подп. к печ. 20/III 1973 г. А00655.
Формат 84X108 1/32. Печ. л. 10 (усл. 16,8). Уч.-изд. л. 21,4.
Тираж 468 000 экз. Зак. 208. Цена 60 коп.
Типография изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия».
Москва, А-30, Сущевская, 21.

Рисунки с натуры художника И. Пчелко „У причалов КамАЗа“. *(Очерк о КамАЗе читайте на стр. 233.)*

НА ОБЛОЖКЕ ЖУРНАЛА

- **На первой странице гравюра на дереве художника В. Носкова «В апреле».**
- **На второй странице картина заслуженного художника РСФСР А. Курнакова «Портрет бригадира железобетонщиков Помогаева В. С.».**

Цена 60 коп. Индекс 70544